КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1931

КНИГА
ТРЕТЬЯ

МАРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ЗЕМЛИ и ГОРОДОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

МАРТ

№ 3



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

„Мосполиграф" 13-я типо-
цинкография „Мысль
Печатника", Москва,
Петровка, 17.
Уполн. главлита Б—3354
Тираж 15.000
Заказ № 548

Впрок

(Бедняцкая хроника)

Андрей Платонов

В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, измученный заботой за всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на московском Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного руководящего города.

Кто был этот только что выехавший человек, который в дальнейшем будет свидетелем героических, трогательных и печальных событий? Он не имел чудовищного, в смысле размеров и силы, сердца, и резкого, глубокого разума, способного прорывать колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сущностью.

Путник сам сознавал, что он сделан из телячьего материала мелкого настороженного мужика, вышел из капитализма, и не имел благодаря этому правильному сознанию ни эгоизма, ни самоуважения. Он походил на полевого паука, из которого вынута индивидуальная, хищная душа, когда это ветхое животное несется сквозь пространство лишь ветром, а не волей жизни. И, однако, были моменты времени в существовании этого человека, когда в нем вдруг дрожало сердце, и он со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью, выступал на защиту партии и революции в глухих деревнях республики, где еще жил и косвенно ел бедноту кулак.

У такого странника по колхозной земле было одно драгоценное свойство, ради которого мы выбрали его глаза для наблюдения, именно: он способен был ошибиться, не не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме. Но польза его для социализма была от этого не велика, а ничтожна, потому что сущность такого человека состояла, приблизительно говоря, из сахара, разведенного в моче, тогда как настоящий пролетарский человек должен иметь в своем составе серную кислоту, дабы он мог сжечь всю капиталистическую стерву, занимающую землю.

Если мы в дальнейшем называем путника как самого себя, («я»), то это — для краткости речи, а не из признания, что безвольное созерцание важнее напряжения и борьбы. Наоборот, в наше время—бредущий созерцатель—это, самое меньшее, полугад, поскольку он не прямой участник дела, создающего коммунизм. И далее — даже настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по устройству социализма.

Итак, этот человек поехал в отдаленные черноземные равнины, где у открытых водоемов стоят, обдуваемые ветром, глиносоломенные избы маломущественных бедняков.

Езда в вагоне изменилась. Ранее в окно можно было наблюдать лишь пустынность страны, лишь разрозненность редких деревень, расположенных та

робко и временно, будто они были сиротами в чужой земле и постоянно готовы исчезнуть. Некогда это были лишь постои бредущего народа, не верующего в свою местную судьбу, ожидающего, когда ему повелят стронуться дальше, где еще хуже.

Теперь же по бокам железной дороги строились различные пункты, предприятия, конторы, башни, а ярославские и амовские автомобили усердно возили матерьялы по губительной немощеной земле. Люди стояли на кирпичных кладках и заботливо старались трудиться, уже навсегда осваивая эти порожние убыточные пространства.

На многие сотни километров строящаяся республика не меняла своего беспокойного лица, сияющего свежим тесом на вечернем солнце. Везде можно было видеть железные и кирпичные приспособления для деревенского общественного хозяйства или целые корпуса благодетельных заводов.

— Сколько травы навсегда скроется, — сказал один добровольно живущий старичок, ехавший попутно со мной, — сколько угодий пропадет под кирпичной тяжестью!

— Порядочно, — ответил ему другой человек, имеющий среднее тамбовское лицо, может быть, житель бывшего Шацкого уезда. Он тоже пристально наблюдал всякое строительство в оконное стекло и шептал что-то с усмешкой гада, швыряя между тем какие-то кусочки из своего пищевого мешка в рот. Этот житель старой глухой земли не признавал, наверно, научного социализма, он бы охотно положил пятак в кружку сборщика на построение храма и вместо радио всю жизнь слушал бы благовест. Он верил, судя по покойному счастью на его лице, что древние вещества мира уничтожат революцию, — поэтому он глядел не только на новостроящуюся республику, но также на овраги, на могучие обнажения глины, на встречных нищих, на растущие деревья, на ветер на небе, — на весь мертвый порожняк природы, потому что этого дела слишком много и оно, дескать, не может быть истреблено революцией, как она ни старайся. Ветхое лежачее вещество все равно, мол, задавит советский едкий поток своим навалом и прахом. Имея такое духовное предвидение, тамбовский человек скушал еще немного кое-чего и от внутренней покойной расположенности чувств вздохнул, как будущий праведник.

— Бывало, едет воз с молоком,—произнес попутный старичок, — телега вся скрипит, сам хозяин пешком идет, а на возу его баба разгнездилась. А теперь только холодный инвентарь перебрасывают!

— Тракторы горячие, а жизнь прохладная, — сказал тамбовский по лицу человек.

— Вот то-то и горе, —враз согласился старичок.

— Не горюйте, — посоветовал сверху неизвестный человек, лежавший там на голых досках. — Оставьте горе нам.

— Да как хочешь, я ничего! — испугался старичок.

— Да и я тоже ничего не говорил,— предупредил тамбовский житель.

— Бери молоко, — сказал верхний человек, и опустил в красноармейской фляжке этот напиток. — Пей и не скули!

— Да мы сыты, кушай сам ради бога, —отказался старичок.

— Пей, — говорит, пока я не слез! Я же слышал, ты по молоку скучал.

Старичок в страхе попил молочка и передал фляжку тамбовцу — тот тоже напился.

Вскоре с верхней полки слез сам хозяин молока; он был в стаpом красноармейском обмундировании, доставшемся ему по демобилизации, и обладал молодым нежным лицом, хотя уже утомленным от ума и деятельности. Он сел на край лавки и закурил.

— Люди говорят, на табак скоро нехватка будет, — высказался старичок.— Семашка не велел больше желчное семя разводить, чтобы пролетариат жил чистым воздухом.

— На — закуривай! — дал бывший красноармеец папиросу старику.

— Я, товарищ, не занимаюсь.

— Кури, тебе говорят!

Старичок закурил из уваженья, не желая иметь опасности от встречного

человека. Красноармеец заговорил со мной.

— С ними едешь?

Нет, я один.

— А сам-то кто будешь?

— Электротехник.

— Ну здравствуй,—обрадовался красноармеец и дал мне свою руку.

Я для него был полезный кадр, и сам тоже обрадовался, что я нужный человек.

— А ты утром не соскочишь со мной? Ты бы в нашем колхозе дорог был: у нас там солнце не горит.

— Соскочу, — ответил я.

— Постой, а куда ж ты тогда едешь?

— Да мне ехать некуда, —где понадоблюсь, там и выйду из вагона.

— Это хорошо, это нам полезно. А то все, понимаешь, заняты! Да еще смеются, гады, когда скажешь, что над нашим колхозом солнце не горит! А отчего ты не смеешься?

— А может, мы зажжем ваше солнце? Там увидим — плакать или смеяться.

— Ну, раз ты так говоришь, то зажгем! — радостно воскликнул мой новый товарищ. — Хочешь, я за кипятком сбегаю? Сейчас Рязань будет.

— Мы вместе пойдем.

— Ты бы ярлык носил на картузе, что электротехник. А то я думал — ты подкулачник: у тебя вид скверный.

Утром мы сошли с ним на маленькой станции. Внутри станции был бедный пассажирский зал, от одного вида которого, от скуки и общей невзрачности у всякого человека заболевал живот. По стенам висели роскошные плакаты, изображающие пароходы, самолеты и курьерские поезда; плакаты, призывали к далеким благополучным путешествиям и показывали задумчивых, сытых женщин, любующихся синей волжской водой, а также обильной природой на берегах.

В этом пассажирском зале присутствовал единственный человек, жевавший хлеб из сумки.

— Сидишь? — спросил его дежурный по станции, возвращаясь от ушедшего поезда. Когда ж ты тронешься? Уж третья неделя пошла, как ты приехал.

— Ай я тебе мешаю, что ль? — ответил этот оседлый пассажир. — Чего тебе надо? Пол я тебе мету, окна протираю,— намедни ты заснул, а я депешу принял и вышел, без шапки постоял, пока поезд промчался. Я живу у тебя нормально.

Дежурный больше не обижал пожилого человека.

— Ну живи дальше. Я только боюсь, ты пробудешь здесь еще месяца четыре, а потом потребуешь штата.

— Штат мне не нужен, —отказался пассажир. — С документами скорее пропадешь, а без бумажки я всегда проживу на самую слабую статью, потому что обо мне ничего не известно.

Мой спутник, демобилизованный красноармеец товарищ Кондров, остановился от такого разговора.

— Имей в виду, — сказал он дежурному, — ты работаешь, как стервец; теперь у меня будет забота о тебе.

С этим мы вышли на полевую колесную дорогу. Голая природа весны окружила нас, сопротивляясь ветром в лицо, но нам было это не трудно.

Через несколько часов пешеходной работы мы остановились у входных ворот деревни, устроенных в виде триумфальной дуги, на которых было написано: «С.-х. коллектив «Доброе начало». Сам колхоз расположился по склону большой балки, внизу же ее протекал ручей, работавший круглый год. Избы колхоза были обыкновенно деревенскими, все имущественное оборудование было давним и знакомым, только люди показались мне неизвестными. Они ходили во множественном числе по всем местам деревни, щупали разные предметы, подвинчивали гайки на плугах, дельно ссорились и серьезно размышляли. Общим чувством всего населения колхоза была тревога и забота, и колхозники старались уменьшить свою тревогу перед севом рачительной подготовкой. Каждый считал для пользы дела другого дураком и поэтому проверял гайки на всех плугах только своего собственной рукой. Я слышал краткие собеседования.

— Ты смотрел спицы на сеялках?

Смотрел.

— Ну и что ж?

— Кон шатались, те починил.

Починил? Знаю я, как ты починишь! Надел с утра рубаху-баян и ходит! Дай-ка я сам схожу — сызнова починю.

Тот, на котором была рубаха-баян (о сорока пуговицах, напоминающих кнопки гармонии) ничего не возразил, а лишь вздохнул, что никак не мог угодить на колхозных членов.

— Васьк, ты бы сбегал лошадей посмотреть!

— А чего их глядеть? Я глядел: стоят, овес жрут который день, аж салом подернулись.

— А ты все-таки сбегай их проведать!

— Да чего бегать-то, лысый человек? чего зря колхозные ноги бить?

— Ну — так: поглядишь на их настроенье, прибежишь — скажешь.

— Вот дьявол жадный, — обиделся моложавый Васька. — Ведь я все кулачество по найму прошел, а так сроду не мотался.

— Чудак: у кулака было грабленое, а у нас кровное.

В конце концов Васька пошел все-таки глядеть на настроенье общественных лошадей.

— Граждане, сказал подошедший человек с ведром олеонафта; из этого ведра он мазал все железные движущиеся и неподвижные части по колхозу, страшась, что они погибнут от ржави и трения. — Граждане, вчерашний день Серега опять цыгарки с огнем швырял куда попало. Сообщаю это, а то будет пожар!

—Брешешь, смазчик, — возразил присутствовавший здесь же громадный Серега, — я их заплевывал.

— Заплевывал, да мимо, — спорил смазчик, — а огонь сухим улетал.

— Ну ладно, будет зудеть, — смирился Серега. — Ты сам ходишь оленафтом наземь капаешь, а он ведь на общие средства куплен.

— Граждане, он нагло и по-кулацки врет. Пускай хоть одну каплю где-нибудь сыщет. Что он меня мучает!

— Будя вам, — сказал Кондров, — не пересобачивайте общие заботы. Ты, Серега, кури скромней, а ты — капать капай, — колхозу капли не ужасна, а вот мажь — где нужно, а не где сухо. Зачем ты шины-то на телегах мажешь?

— Ржави боюсь, товарищ Кондров, ответил смазчик. — Я прочитал, что ржавь — это тихий огонь, а товарищ Куйбышев по радио говорил — у нас голод на железо: я и скуплюсь на него.

— Соображай до конца, —об'яснил смазчику Кондров,—олеонафт тоже железными машинами добывается. А раз ты зря его тратишь, то в Баку машины напрасно идут.

— Ну?! — испугался смазчик и сел в удивлении на свое ведро: он думал, что олеонафт это просто себе густая жидкость.

— Петька, сказал малому лысый мужичок, тот, что услал Ваську к лошадям. — Пойди, ради бога, все избы обежи — пускай бабы вьюшки закроют, а то тепло улетучится.

— Да теперь не холодно, — сообщил Серега.

— Все равно: пусть бабы привыкают беречь сгоревшее добро, им эта наука на зиму годится.

Петька безмолвно побежал приказывать бабам про вьюшки.

— Слухай, дядя Семен! Ты чего ж вчера сено от моей кобылы отложил, а к своему мерину подсунул? Ишь ты, средний дьявол какой, — знать, колхоз тебе не по диаметру!

Дядя Семен стоял, помутившись лицом.

— Привык к мерину, — сказал он, — впоследствии войду — он сопит на меня и глазами моргает, а кругом норма скотину нечем поласкать, вот и положил твое сено.

— А ты теперь к человеку привыкай, тогда тебя все меренья уважать будут!..

— Буду привыкать, — грустно пообещал дядя Семен.

— Не то пойти крышку на колодезь сделать? — произнес Серега, стоявший без занятия.

— Пойди, дорогой, пойди. С малолетства с мелкими животными воду пьем. Может, при хорошей воде харчей есть меньше станем.

Отошедши с Кондровым в глубь колхоза, я обнаружил, что вправо от ле-

ревни, на незасеянной высоте склона стоит новая деревянная каланча, метров в десять—двенадцать. Наверху каланчи блестело жестяное устройство, бывшее, судя по форме, рефлектором; причем оно было поставлено так, что должно направлять лучи неизвестного источника света целиком в сторону колхоза.

— Вон наше солнце, которое не горит, — сказал мне Кондров, указав на каланчу. — Ты есть хочешь?

— Хочу. А у вас есть запасы?

— Хватит. Прошлый год осень была большевицкая — все родилось.

Поев разного добра в попутной избе, которой висела электрическая лампочка, мы пошли с Кондровым не на каланчу, а к ручью. На ручье, около кустарной запруды, помещался дубовый амбар с сильным мельничным пошвенным колесом; запруда служила, очевидно, для сбора запаса воды.

— Наливное колесо у вас работало бы полезней! — сказал я.

— Ну что ж, ты только скажи, как нужно сделать, а мы будем его делать,— ответил мне Кондров.

Мне стало печально и тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знание отдаст что угодно; а с другой стороны, его всякая вредительская стерва может легко обмануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в своей голове алгебру и механику.

Кондров отомкнул амбар. Никакой мельницы в амбаре не было, там стояла небольшая динамо-машина, и больше ничего. На валу водяного колеса имелся деревянный шкив, с которого посредством ремня снималась сила на динамо-машину. Обследование установило, что водяное колесо способно было дать через динамо-машину мощность, достаточную, чтобы в колхозе горело двадцать тысяч экономических электрических свечей, или сорок тысяч тех же свечей в полуваттных лампах. При переделке водяного колеса с пошвенного на наливное мощность всей установки можно было повысить по крайней мере на одну треть; динамо-машина же была рассчитана на сорок лошадиных сил, и могла терпеть много нагрузки.

— А наше солнце, понимаешь, не горит! — горестно проговорил надо мною Кондров. — Оно потухло.

Провода из амбара тянулись по ракитам, по плетням, по стенам изб и, ответвляясь на попутный колхоз, отправлялись к солнцу. Мы тоже пошли на солнце. Провода всюду были достаточно исправны, на самом солнце я тоже не мог заметить чего-либо порочного. Особенно меня удовлетворил жестяной рефлектор: его отражающие поверхности имели такую хорошо сосчитанную кривизну, что всю светосилу отправляли ровно на колхоз и на его огородные угодья, ничего не упуская вверх или в бесполезные стороны. Источник света представлял из себя деревянный диск, на котором было укреплено сто стосвечевых полуваттных ламп, т. е. общая светлая мощность солнца равнялась десяти тысячам свечей. Кондров говорил, что этого все же мало, — немедленно нужно добиться света по крайней мере в сорок тысяч свечей; особенно удобен был бы, конечно, прожектор, но его невозможно приобрести.

— Сейчас я схожу, пущу колесо и динамо, и ты увидишь, что наше солнце не горит! — огорченно сказал мне Кондров.

Он сходил и пустил, — и солнце действительно не загорелось. Я стоял на каланче в недоумении. Ток в главных проводах был, колхозники собрались под каланчей и обсуждали доносившийся до меня вопрос.

— Власть у нас вся научная, а солнце не светит!

— Вредительство, пожалуй что!

— Сколько строили, думали — у нас пасмурности не будет, букеты распустятся, а оно стоит холодное!

— Это же горе! Как встанешь, глянешь, что оно не светит, так и загорюешь весь от головы вниз!

— Вон старики наши перестали верить в бога, а как солнце не загорелось, то они опять начали креститься.

— Дедушка Павлик обещал ликвидировать бога, как веру, если огонь вспых-

нет на каланче. Он тогда в электричество как в бога обещал поверить.

— А горело это солнце хоть раз? — спросил я у народа.

— Горело почти что с полчаса! сказал народ и заотвечал дальше, споря сам с собой.

— Больше горело: не бреши!

— Меньше — я обрадоваться не успел!

— Как же меньше, когда у
зы от яркости потекли?!.

— Они у тебя и от лампадки текут.

— Ярко горело? — спросил я.

— Роскошно! — закричали некоторые.

— У нас раздался было научный свет, да жалко, что кончился, — сказал знакомый мне смазчик.

— А нужно вам электрическое солнце? — интересовался я.

— Нам оно впрок: ты прочитай формальность около тебя.

Я оглянулся и увидел бумажную рукопись, прибитую гвоздями к специальной доске. Вот этот смысл на той бумаге:

«Устав для действия электросолнца в колхозе «Доброе начало»:

1. Солнце организуется для покрытия темного и пасмурного дефицита небесного светила того же названья.

2. Колхозное солнце соблюдает свет над колхозом с шести часов утра до шести часов вечера каждый день и круглый год. При наличии стойкого света природы, колхозное солнце выключается; при отсутствии его включается вновь.

3. Целью колхозного солнца является спускание света для жизни, труда и культработы колхозников, полезных животных и огородов, захватываемых лучами света.

4. В ближайшее время простое стекло на солнце надо заменить научным, ультрафиолетовым, который развивает в освещенных людях здоровье и загар. Озаботиться товарищу Кондрову.

5. Колхозное электросолнце в то же время культурная сила, поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки соседних колхозов и деревень дали письменное обязательство — перестать держаться за религию при наличии местного солнца. Электросолнце также имеет то прекрасное значение, что держит на земле постоянно яркий день и не позволяет скучиваться в настроеньях колебанию, невежеству, сомнению, тоске, унылости и прочим предрассудкам, и тянет всякого бедняка и середняка к познанию происхождения всякой силы света на земле

6. Наше электросолнце должно доказать городам, что советская деревня желает их дружелюбно догнать и перегнать в технике, науке и культуре и выявить, что и в городах необходимо устроить районное общественное солнце, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране.

7. Да здравствует еже;
на советской земле!»

Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству новой жизни. Правда, было в таком явлении что-то трогательное и смешное, но это была трогательная неуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ирония гибели. Если бы таких обстоятельств не встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смешон новый человек, как Робинзон для обезьяны; нам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтобы он не покинул умирать нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого — сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого.

Кондров вернулся.

— Ты наверно в Москву ездил за ультра-фиолетовыми лампами? — спросил я его.

— За ними, — ответил он, сказали, что еще не продаются, все только собираются делать их, чешутся чего-то!

— Ты где был, когда начало гореть солнце и потухло?

Здесь же, на солнце.

Жарко было около

— Ужасно!

Я зашел за диск и начал проверять всю проводку, но проверять ее было нечего: вся изоляция на проводах сотлела, все провода покоились на коротком

замыкании, а входные предохранители, конечно, перегорели. Всю эту оснастку делал, оказывается, кузнец из другой деревни, соответственно одной лишь своей сообразительности.

По общему решению с Кондровым, мы сделали полный анализ негорению солнца, а затем сообщили свое мнение присутствовавшим близ нас членам колхоза. Наше мнение было таково: солнце потухло от страшной световой жары, которая испортила провода, стало быть, нужно реже посадить лампы на диске.

— Не нужно! — отверг задний середняк. — Вы не понимаете. Вы поставьте на жесть какие-либо сосуды с водой, вода будет остужать жару, а нам для желудка придется кипяченая вода.

Слово середняка, стоявшего позади, было разумно и приемлемо для дела: если на рефлекторе устроить водяную рубашку, то жесть будет холодить провода, кроме того, каждый час можно получать по ведру кипятку.

— Ну как? — спросил меня Кондров среди общего задумавшегося молчания.

— Так будет верно, — ответил я.

— Крутильно-молотильную бригаду прошу подойти ко мне! — громко произнес Кондров.

Эта бригада была наиболее упорной в любом тяжком, срочном или мало известном труде. Вчера она только что закончила сплошную очистку семян и, проспав двадцать часов, теперь постепенно подошла к Кондрову.

Под солнечной каланчей мы устроили производственное совещание, на котором выяснили все части и материалы для рационализации солнца, а также способ переделки поившенного водобойного колеса на наливное сверху.

После того мне дали освобождение, и я заинтересовался здешней классовой борьбой. За этим я пошел в избу-читальню, зная, что культурная революция у нас часто идет по раскулаченным местам. Так и оказалось: изба-читальня, занимала дом старинного, векового кулака Семена Верещагина, до своей ликвидации единолично и зажиточно хозяйствовавшего на хуторе Перепальном сорок лет (в ожидании того как назваться колхозом «Доброе начало», деревня называлась хутором Перепальным). Верещагин и ему подобный его сосед Ревушкин жили не столько за счет своих трудов, сколько за счет своей особой мудрости.

С самого начала советской власти Верещагин выписывал четыре газеты и читал в них все законы и мероприятия с целью пролезть между ними в какое-либо узкое и полезное место. И так долго и прочно существовал Семен Верещагин, притаясь и мудрствуя. Однако его привела в смущение в последнее время дешевизна скота, а Верещагин исстари занимался негромкими барышами на скупке и перепродаже чужой скотины. Долго искал Верещагин каких-либо законов на этот счет, но газеты говорили лишь что-то косвенное. Тогда Верещагин решил использовать и самую косвенность. Он вспомнил в уме, что его лошадь стоит нынче на базаре рублей тридцать, а застрахована за сто семнадцать. А тут еще колхоз вот-вот грянет, и тогда лошадь станет вовсе как бы не скот и не предмет. Целыми длинными днями сидел Верещагин на лавке и грустно думал, хитря одним желтым глазом.

— Главное, чтобы государство меня не услышало, — соображал он. — Что-то я нигде не читал, чтобы лошадей мучить нельзя было: значит — можно. Как бы только Осоавиахим не встрял: да нет, его дело аэропланы!

И Верещагин сознательно перестал давать пищу лошади. Он ее привязал намертво к стойлу веревками и давал только воду, чтобы животное не кричало и не привлекало бдительного слуха соседей.

Так прошла неделя. Лошадь исчахла и глядела почти-что по-человечьи. А когда приходил к ней Верещагин, то она даже открывала рот, как бы желая произнести томящее ее слово.

И еще прошла неделя или десятидневка. Верещагин — для ускорения кончины лошади — перестал ей давать и воду. Животное поникло головой и беспрерывно хрипело от своей тоски.

— Кончайся, — приказывал коню Верещагин. — А то советская власть

ухватлива. Того и гляди о тебе вспомнит.

А лошадь жила и жила, точно в ней была какая-то идейная устойчивость.

На двадцатый день, когда у коня уже закрылись глаза, но еще билось сердце, Верещагин обнял свою лошадь за шею и по истечении часа задушил ее. Лошадь через два часа остыла.

Верещагин тихо улыбнулся над побежденным государством и пошел в избу — отдохнуть от волнения нервов.

Дней через десять он отправился получить за павшую лошадь страховку, как только сельсовет дал ему справку, что конь погиб от желудочного томления.

За вырученные сто рублей Верещагин купил на базаре три лошади и, как сознательный гражданин, застраховал это поголовье в окружной конторе Госстраха.

Пропустив месяц и не услышав, чтоб государство зашумело на него, Верещагин перестал кормить и новых трех лошадей. Через месяц он теперь будет иметь двести рублей чистого дохода, а там еще, и так далее — до бесконечности избытка.

Прикрутив лошадей веревками к стойлам, Верещагин стал ждать их смерти и своего дохода.

Однако дворовая собака Верещагина тоже не сидела с убытками, — она начала отрывать от омертвелых лошадей задние куски, так что лошади пытались шагать от боли, и таскала мясные куски по чужим дворам, чтобы притать. Собаку крестьяне заметили, и вскоре сельсовет во всем составе, во главе с Кондровым, пришел к Верещагину, чтобы обнаружить у него склад говядины. Склада сельсовет никакого не нашел, а ночью прибежала во двор Верещагиных целая стая чужих собак и, присев, эти дворовые животные стали выть.

На другой день левый бедняцкий сосед Верещагина перелез через плетень и увидел трех изодранных собаками умирающих лошадей.

Верещагин тоже не спал, а думал. Он уже с утра пошел взять справку о трех своих павших лошадях, которых он купил, дескать, лишь для того, чтобы отдать в организующуюся лошадиную колонну, но вышла одна божья воля. Кондров поглядел на Верещагина и сказал:

— Не пройдет, Верещагин, твое мероприятие, мы от собак о всем твоем способе жизни узнали. Иди в чулан пока, а мы будем заседать про твою судьбу: сегодня газета «Беднота» пришла, там написано про тебя и про всех таковых личностей.

— Почта у нас работает никогда, товарищ председатель, — сказал Верещагин. — Я ведь думал, что теперь машины пойдут, а лошадь вредное существо, оттого я и не лечил такую отсталую скотину.

— Ага, ты умней всего государства думал, — произнес тогда Кондров. Ну, ничего, ты теперь опять попадешь под новый закон о сбережении скота.

— Пусть попадаю, — с хитростью смирился Верещагин. — Зато я за полную индустриализацию стоял, а лошадь есть животное-оппортун!

— Вот именно! — воскликнул в то время Кондров. — Оппортун всегда кричит за, когда от него чашку со щами отодвинут! Иди в чулан и жди нашего суждения, пока у меня нервы держатся, враг всего человечества!

Через месяц или два Верещагина и аналогичного Ревушкина бывшие ихние батраки — Серега, смазчик и другие — прогнали пешим ходом в район и там оставили навеки.

Ни один середняк в Перепальном при раскулачивании обижен не был, — наоборот, середняк Евсеев, которому поручили с точностью записать каждую мелочь в кулацких дворах, чтобы занести ее в колхозный доход, сам обидел советскую власть. А именно, когда Евсеев увидел горку каких-то бабьедамских драгоценных предметов в доме Ревушкина, то у Евсеева раздвоилось от жадной радости в глазах, и он взял себе лишнюю половину, по его мнению, лишь вторившую предметы, — таким образом от женского инвентаря ничего не осталось, а государство было обездолено на сумму в сто или двести рублей.

Такое единичное явление в районе обозначили впоследствие разгибом, а

Евсеев прославился как разгибщик — вопреки перегибщику. Здесь я пользуюсь обстоятельствами, чтобы об'явить истинное положение: перегибы при коллективизации не были сплошным явлением, были места свободные от головокружительных ошибок, и там линия партии не прерывалась и не заезжала в кривой уклон. Но, к сожалению, таких мест было не слишком много. В чем же причина такого бесперебойного проведения генеральной линии?

По-моему, в самостоятельно размышляющей голове Кондрова. Многих директив района он просто не выполнял.

— Это писал хвастун, — говорил он, читая особо напорные директивы, вроде «даешь сплошь в десятидневку» и т. п. — Он желает прославиться, как автор какой, я, мол, первый социализм бумажкой достал, сволочь такая!

Другие директивы, наоборот, Кондров исполнял со строгой тщательностью.

— А вот это мерно и революционно! — сообщал он про дельную бумагу. — Всякое слово хрустит в уме, читаешь — и как-будто свежую воду пьешь: только товарищ Сталин может так сообщать! Наверно районные черти просто себе списали эту директиву с центральной, а ту, которую я бросил, сами выдумали, чтобы умнее разума быть!

Действовал Кондров без всякого страха и оглядки, несмотря на постоянно грозящий ему палец из района:

— Гляди, Кондров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту — заводи темп на всю историческую скорость, невер несчастный!

Но Кондров знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении; районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом.

Все же Кондров совершил недостойный его факт: в день получения статьи Сталина о головокружении к Кондрову по текущему делу заехал предрика. Кондров сидел в тот час на срубе колодца и торжествовал от настоящей радости, не зная, что ему сделать сначала — броситься в снег, или сразу приняться за строительство солнца, но надо было обязательно и немедленно утомиться от своего сбывшегося счастья.

— Ты что гудишь? — спросил его неосведомленный предрика. — Сделай мне сводочку...

И тут Кондров обернул «Правдой» кулак и сделал им удар в ухо предрика.

До самого захода небесного солнца я находился в колхозе и, облюбовав все достойное в нем, вышел из него прочь. Колхозное солнце еще не было готово, но я надеялся увидеть его с какого-нибудь придорожного дерева из ночной тьмы.

Отойдя верст за десять, я встретил подходящее дерево и влез на него в ожидании. Половина района была подвержена моему наблюдению в ту начинающуюся весеннюю ночь. В далеких колхозах горели огни. Слышен был работающий где-то триер, и отовсюду раздавался знакомый, как колокольный звон, стерегущий голос собак, работающих на коммунизм с тем же усердием, что и на кулацкий капитализм. Я нашел место, где было расположено «Доброе начало», но там горело всего огня два, и оттуда не доносилось собачьего лая.

Я пропустил долгое время, поместившись на боковой отрасли дерева, и все глядел в окружающую, постепенно молкнущую даль. Множество прохладных звезд светило с неба в земную тьму, в которой неустанно работали люди, чтобы впоследствии задуматься и над судьбой посторонних планет; поэтому колхоз более приемлем для небесной звезды, чем единоличная деревня. Утомившись, я нечаянно задремал и так пробыл неопределенное время, пока не упал от испуга, но не убился. Неизвестный человек отстранился от дерева, давая мне свободное место падать, — от голоса этого человека я и проснулся наверху.

Разговорившись с человеком, я пошел за ним вслед по дороге, ведущей дальше от «Доброго начала». Иногда я оглядывался назад, ожидая света кол-

хозного солнца, но все напрасно. Человек мне сказал, что он борец с неглавной опасностью и идет сквозь округ по командировке.

— Прощай, Кондров! — в последний раз обернулся я на «Доброе начало».

Навстречу нам часто попадались какие-то одинокие и групповые люди, — видно, в колхозное время и пустое поле имеет свою плотность населения.

— А какая опасность неглавная? — спросил я того, с кем шел. — Ты бы лучше с главной боролся!

— Неглавная кормит главную, — ответил мне дорожный друг. — Кроме того я слабосердечен, и мне дали левачество, как подсобный для правых район! Главная опасность — вот та хороша: там пожилые почетные бюрократы, там разные акционерные либералы — тех крушить надо вдосталь, — и для самообразования будет полезно: кто ее знает, может быть, правые уже последние ошибочники, последние вышибленные души кулаков!

Ах, как жалко, что у меня сердце слабое, а то бы мне главную дали: эх, и пожил бы я в такое сокрушающее время! До чего ж приятно и полезно сшибить правых и левых, чтобы у здешнего кулачества не осталось ни души, ни ума!

Я осмотрел говорящего человека. Лета его были еще не старые, зато лицо и тело, видимо, уже истратились в окружных дискуссиях, настолько его туловище глядело измученным существом.

Он дышал неравномерно и редко, все время забывался во внутренних мыслях, и едва ли достаточно ел пищи.

Переваливая за горизонт, мы заметили по бледному свету на земле, что сзади нас взошла луна. Мы оглянулись.

Я увидел среди дальнего мрака слабое круглое светило, все же боровшее сплошную тьму.

— Это солнце зажгл —
сказал я.

— Да, возможно, — безразлично согласился борец с неглавной опасностью. — Для луны — для последователя солнца — это слишком неважный огонь. И последователем надо быть уметь.

Ночевали мы с ним в неопределенной избушке, которую увидели в стороне от тракта.

— Пункт бы здесь устроить какой-нибудь, — сказал мне на утренней заре прохожий товарищ. — Зачем стоит эта хатка пустой, когда основной золотой миллиард, нашу идеологию, не каждый имеет в душе!

— Это правда, — сказал я, — на свете много душевных бедняков.

В течение первой половины дня мы шли дальше. По сырым полям кое-где уже ходили всем составом колхозы и щупали руками землю, определяя ее в севную спелость.

Затем мы дошли до деревни Понизовки, расположенной, действительно, по низу земли. Это об'ясняется недостатком воды или трудностью ее добычи на верхних почвах.

Вообще колхозное и совхозное водоснабжение должно стать большим предметом нашей пятилетки, ибо, как я заметил, степень обработки и освоенности земель обратно пропорциональна водоснабжению.

Это значит, что высокие водораздельные земли, обычно самые ценные по качеству, самые структурные по составу, хуже обрабатываются, и за такими полями бывает меньше ухода.

Оно и понятно, потому что водоразделы лежат далеко от хозяйственной базы, всегда прижатой к естественному открытому водоему или к неглубокой грунтовой воде.

Я видел в зерновых районах не меньше ста громадных сел, и все они согнаны на водопой в низы — в долины речек, в балки и прочие провалы рельефа.

Высокие же, самые тучные земли далеки и пустынны.

Это означает громадные, вероятно, в несколько сот миллионов рублей ежегодно, потери для нашего хозяйства, благодаря недобору урожая с водораздельных почв.

В чем же заключается решение задачи? В том, чтобы селить колхозы и основывать совхозные усадьбы прямо на водоразделах, в центре плодородия

почв. А водоснабжение для них следует устраивать посредством глубоких трубчатых колодцев. Добавочное значение тут будет еще в резком оздоровлении деревни. Та заразная жижка открытых водоемов, которой утоляют свою жажду многие деревенские районы СССР, потеряет тогда свой смысл, как источник водоснабжения. Артезианская же глубокая вода трубчатых колодцев безвредней, вкуснее и чище, чем хлорированная водопроводная.

Сейчас, когда идешь по дальним частям СССР, то видишь как бы пустую незаселенную страну. Это потому, что все поселения спрятались в низовые ущелья; иначе говоря — гидрологические условия определили собой способ заселения нашей земли. Соображая же несколько глубже, можно сказать, что феодально-капиталистические производственные отношения держали деревню у ручьев и болот, оставляя в полном или частичном запустении самые лучшие по плодородию суходолы. Отсюда ясно, что для многих наших южных, юго-восточных и центрально-черноземных районов социализм должен явиться, в числе прочих своих элементов, также и в качестве воды на водоразделах.

Вот отчего деревня, встреченная нами, называлась Понизовкой — именем, которое подходяще и для тысячи других деревень.

Борец с неглавной опасностью пошел непосредственно в сельсовет. И здесь я был свидетелем действий его опытного ума, умевшего всякую бюрократическую сложность обращать в понятную простоту истины.

— Что же вы ничего нам не сообщили? — спросил моего дорожного товарища секретарь сельсовета. — Мы бы вам тарантас послали навстречу!

— Не указывай! — ответил борец. — Береги лошадей для сева, а не для меня.

На стене совета висели многие схемы и плакаты, и в числе их один крупный план, сразу привлекший зоркий ум борца с опасностью. План изображал закрепленные сроки и название боевых кампаний: сортировочной, землеуказательной, раз'яснительной, супряжно-организационной, пробно-посевной, проверочной к готовности, посевной, контрольной, прополочной, уборочной, учетно-урожайной, хлебозаготовительной, транспортно-тарочной и едоцкой.

Глубоко озадачившись, борец сел против пожилого, несколько угрюмого председателя. Ему было интересно, почему сельсовет заботится и о том, чтобы люди ели хлеб, — разве они сами непосильны для этого или настолько отсталы, что откажутся от своевременной пищи?

— А кто его знает? — ответил председатель. — Может, обозлятся на что-нибудь, либо кулаков послушают, и станут не есть! А мы не можем допустить ослабления населения!

Секретарь дал со своего места дополнительное доказательство необходимости жесткого проведения едоцкой кампании.

— Если так считать, — сказал секретарь, — тогда и прополочная кампания не нужна: ведь ходили же раньше бабы сами полоть просо, а почему же мы их сейчас мобилизуем?

— Потому что, молодой человек, вы только приказываете верить, что общественное хозяйство лучше единоличного, а почему лучше — не показываете, — ответил мой дорожный товарищ.

— Нам показывать некогда, социализм не ждет! — возразил секретарь.

— Ну, конечно, — заключил борец. — Вы строить и достраивать ничего не хотите, вам охота поскорее как-нибудь отстроиться и лечь на отдых среди счастья... Вот она — левая бегущая юность! — уже ко мне обратился командированный.

Настроение председателя было иным. Он угрюмо предвидел, что дальше жизнь пойдет еще хуже. По его выходило, что скоро людей придется административно кормить из ложек, будить по утрам и уговаривать прожить очередную обыденку. Секретарь же с ним постоянно ссорился и считал его правым трусом, сам в то же время яростно и директивно натягивая группу бедняков-активистов, не давая им ни понять, ни почувствовать, вперед, бегом через колхоз, на коммуну.

Спустя немного времени, окружной товарищ сильно смеялся такому четкому обстоятельству, когда левый и правый сидят в одной комнате и все время как бы производят один другого из единой кулацкой бездны.

— Едоцкая кампания была ниточкой, на которую я сразу поймал и левацкого карася и правую щуку, — об'яснил мне окружной спутник. — Придется мне в этом селе посидеть и кой-кого обидеть из этих дрессировщиков масс...

— Да ты слишком примиренчески с ними говоришь, — сказал я. — При чем тут юность, нежность, когда левый правит на катастрофу?! Крой безупречно и правых, и левых!

— Это верно, — вдумчиво согласился борец. — Случись что тяжелое, левый ведь побежит к правому — боюсь, скажет, дяденька! А этот дяденька зарычит своим басом и угробит все на свете, кулацкий кум!

Окружной человек еще немного подумал среди тишины кончающегося степного дня.

— Правильно — правильно: у левых дискант, у правых бас, а у настоящей революции баритон, звук гения и точного мотора.

И здесь борец с неглавной опасностью отошел от меня; я же направился из Понизовки дальше по своему маршруту, несмотря на вечернее время.

Итти мне пришлось недолго; два неизвестных инженера ехали с шофером на автомобиле и взяли меня подвезти до ближнего места. С полчаса мы ехали спокойно, потом в моторе что-то жестко и часто забилось, словно в камеры цилиндров попалось металлическое трепещущее существо. Конус, тормоз, — и шофер вышел смотреть повреждение. Отняв гайки, мы общими усилиями попробовали поднять блок цилиндров, но силы у нас оказалось меньше тяжести, а энтузиазма не было. Прохожий человек стоял и судил нас:

— Вы маломочны и беретесь не так. Лучше ступайте на Самодельные хутора — отсюда версты две будет, и того нет. Возьмите оттуда Гришку — он вам один машину зарядит. А так вы замучитесь: вы люди не те.

Мы помолчали из уважения к себе перед прохожим, но затем сообразили, что без этого Григория с хутора и без лошадей нам не обойтись, и темнело уже.

Я пошел на хутор. В лощине существовали четыре закопченных двора, из каждой трубы шел какой-то нефтяной дым и всюду в этом поселении гремели молотки. Хутор был похож не на деревню, а на группу придорожных кузниц; самые же дома, когда я подошел ближе, были вовсе не жилищами, а мастерскими, и там горел огонь труда над металлом. Опустелые поля окружали эту индустрию, видно, что хуторяне не пахали и не сеяли, а занимались железным делом какого-то постоянного машинного мастерства. Вдруг резкая воздушная волна ударила мне в глаза горячим песком, снесенным с почвы, и вслед за этим раздался пушечный удар. От неожиданного страха я присел за лопух и слегка обождал. Голый человек, черный и обгорелый — не на солнце, а близ огня — вышел из хаты-мастерской и поднял позади меня огромный деревянный кляп.

Этот человек оказался необходимым нам Григорием. Он только что испробовал прочность железной трубы, посредством выстрела из нее деревянной пробкой: железная труба лежала в горне, имея воду внутри, и работала как паровой котел — на давление, пока не вышибла кляпа из отверстия.

Григорий пошел со мной и поступил с автомобилем очень просто: он выбрал начинку из двух цилиндров, в виде рассыпавшихся вкладышей, и запустил мотор на двух цилиндрах.

— Ехать можно, — сказал нам Григорий. — Только в двух холостых цилиндрах теперь живот болит, — там газ и масло гоняются непостижимо как.

Мы поехали на его хутор. Хутор этот живет уже лет двести, и всегда в нем было не более четырех дворов. В свое отошедшее в древность время хутор был ремонтной мастерской чумачьих телег, арб и чиновничьих экипажей, а теперь на хуторе поселились бывшие партизаны и демобилизованные красноармейцы, происхождением из шахтеров, московских холодных сапожников и де-

ревенских часовых мастеров, делавших в свое время, за недостатком заказов, девичьи бусы.

— Вы ездили на автомобиле? — спросил Григория один основной пассажир-инженер.

— Кто мне давал его ?!. — с вопросительной обидой произнес Григорий, правивший машиной.

— А как же вы едете так прилично?

— А я же еду и думаю, — об'яснил Григорий. — Машина же сама говорит, что ей симпатично, а я ее слушаю и нововлю.

На этом хуторе мы ночевали, потому что Григорий обещал поделать вкладыши из металла, который никогда не лопнет и не раскрошится.

Мы легли на ночлег в солому близ сарая, в котором хранился уголь и брак продукции. Едва только мы углубились в прохладу сна на свежем воздухе, как нас разбудил гром аплодисментов и длительные овации. Вокруг ничего не существовало, кроме тихой и порожней степи, а в одном строении хутора гремел восторг масс и трезво дребезжало стекло открытого окна. Я встал в раздражении испорченного сна, но со счастьем любопытства.

— Неопределенных возгласов не хватает! — услышал я рассуждение Григория в тишине кончившейся овации. — Люди всегда работают сразу и в ладони и в голос крика! Иначе не бывает. Когда рад, то все члены организма начинают передачу.

Я не понимал и пошел внутрь мастерской. На полу жилья стоял станок, похожий на тот, что точит ножи и всякие лезвия, но с особым значительным ящиком и разными мелкими деталями. Привод станка в действие явно был ножной. Весь этот аплодирующий автомат был изготовлен полевыми мастеровыми для Петропавловского драмкружка, которому нужны были, по ходу одной пьесы, приветствующие массы за сценой.

Здесь пришел другой мастеровой — Павел, по прозванию Прынцып; он принес кусок блестящего металла в руке.

— Это что? — спросил я у Григория.

— Это мы детекторы из него крошим.

И много вам заказывают?

— Тыщи. Наши деревни музыку обожают, а слободы еще более. Я думаю, что дальше в степь радио и не проходит: у нас в округе антенн гуще, чем деревьев, вся волна тут оседает.

Затем мастеровые сели ужинать; их было семь человек, и все они слегка походили друг на друга. Стол находился под кущей закоптевшего единственного дерева — в конце двора; над столом, подвешенная к дереву, горела чугунная люстра из десяти пятисвечных электрических лампочек, а самое электрическое питание лампам подавал аккумулятор с чердака. На столе имелись для аппетита полевые жестяные цветы в банке и две стальные гравюры, изображающие любовь.

После сытного ужина, рассчитанного на утоление мощных туловищ степных мастеровых, состоялось чтение газеты вслух. Читал Григорий, а остальные серьезно слушали и отвечали искренними чувствами.

«Нашей погранохраной задержан польский шпион Злучковский!» — читал Григорий.

— К ногтю! — решали слушатели про того шпиона.

«В Баку открыт новый мощный завод смазочных масел».

— Машинам необходимы жиры. Это первейшая нужда, — одобряли такое дело мастеровые, сочувствуя машинам.

«Камчатская пушная экспедиция Госторга шлет приветствие пролетариату Советского Союза».

И все слушатели молча наклонили головы в ответном приветствии.

«Близ Ашхабада наблюдались слабые толчки почвы. В деревне Исмидие разрушен один дом».

— Зря: люди работают, а посторонняя сила лезет.

Это были очень серьезные люди. Было заметно, что они не слушают происшествия, а чувствуют их, не созерцают, а изучают, и в легкой работе ума отдыхают тяжелым телом.

После ужина Григорий принялся за изделие вкладышей для автомобильного мотора. По его системе вкладыши должны получиться прочнее, чем были, потому что он собирался их делать не

из целого куска бронзы, а из частей.

— Ты видел дома из одного цельного камня? — спросил Григорий у меня.

— Нет, — по справедливости сообщил я.

— Оттого они и стоят по сту лет, оттого и держат бури, жару, дожди и сотрясения! Я тебе вкладыши сварю из крупинок и частей, как кирпичный дом. Будешь ездить сильно. Митрий, порть мне бронзу на мелочь.

Димитрий начал рубить кусок бронзы.

— Брось, — догадался Григорий. — Бронза стоит государству средств и организации. Руби мне ее из старых вкладышей.

И так было поступлено.

Еще не успел сварить и отформовать Григорий вкладыши, как из степной ночи предстал перед мастерской таинственный, озадаченный всадник. То был друг Григория — комсомолец из далекой слободы.

— Гриша, к нам бог вступает, поп и бабы ему иже херуим хором поют, на голове у него свет горит!.. Едем со мной на лошадином заду!

— Заводи машину, — сказал Григорий мне. — Буди шофера!

Шофера я разбудил, а инженеры от усталости ехать не захотели.

Через минуту мы помчались с хутора на паре цилиндров — бороться с пришествием бога в слободу, а позади нас поспевал комсомолец на коне.

Мы приехали быстрее бога: он еще не дошел до слободы, а медленно двигался по горизонту, окруженный старым народом, и над головой его, действительно, светился нимб беловатого огня. Мы дали газ в мотор и, с перебоями в цилиндрах, достигли бога и верующих в него.

Шел старик по земле, одетый в рядно, босой и торжественный. Борода, ясные очи и благодушие пожилого лица служили как бы определенными признаками бога-отца. Вокруг косматых головных волос светилось ровное озарение. Увидев автомобиль, бог-отец выпустил из рук чернохвостого голубя, означавшего духа святаго; голубь не хотел было улетать от кормильца, но Григорий дал воющий сигнал — и птица понеслась боком вдаль. За это мы получили из толпы камень, разбивший стекло в правой фаре.

Григорий тогда встал на шоферское сидение:

— Господа старики и старухи! (В южных слободах любят это почтительно-отжившее обращение). Господь устал от тягости грехов народа и пешего хода по земному пространству. Мы приехали сюда на машине, чтобы заставить дьявола послужить господу... Садись, бог!

— Охотно, голубчик! — согласился близко созерцавший нас бог-отец.

Он был усажен в пасажирское заднее сидение и рядом с ним сел Григорий, а шофер повел машину с такой скоростью, чтобы старики и старухи поспевали сзади бежать.

Ночь продолжалась над нами; глубокая звездная природа существовала вокруг нас, не замечая местного людского происшествия. В слободе заметили приближение того, кто явился во второй раз в мир человечества, и сторож зазвонил в главный колокол с малыми подголосками, произнося на них пасхальную службу.

Шоферское боковое зеркало все время отражало свет заднего бога, и вдруг оно погасло; я не мог обернуться, потому что по указанию шофера качал воздух в бензиновый бак, но зеркало опять заблестело божьим сиянием, и я успокоился.

У входа в храм лежал ниц поп и так же повалены были все те, кто и раньше ходил под богом. В стороне стояла группа комсомольцев, трактористов и молодых слобожан, они бесстрашно улыбались накануне светопреставления. Один крестьянин, уже положительного возраста, подошел ко мне в сомнении:

— Либо, товарищ, правда — бог где-то был, а теперь явился, когда не нужен.

Я не разубеждал его словами, поскольку бог-отец почти фактически был.

Здесь божий свет снова потух. Поп поднял очи:

— Где же свет господень, что я видел во мгновении времени?

— Сейчас, — ответил бог. Но свет вокруг его головы не происходил.

– Давай я зажгу! — предложил Гри-
)ий: — ты будешь копаться — долж-
ть потеряешь.

)н заголил богу рядно, как юбку, по-
рил на его груди, и свет засиял.

– У тебя зажимы на батарее ослаб-
— тихо сообщил Григорий богу.

– Знаю! — согласно сказал гос-
ь. — Туда бы нужно болтики и гаеч-
а разве их обнаружишь где в степи.
lосле посещения храма, мы повезли
а в избу-читальню. Так пожелал Гри-
ий, а бог согласился. У Григория был
ысел: в этой зажиточной слободе по-
никто не верил в радио, а считали
граммофоном, — Григорий вез бога
ехническое доказательство В ıзбе-
льне собралось народу порядочно,
более что прибывал бог.

громкоговорителе же ослаб аккуму-
эр, и про то знал Григорий, а у бога
ла вокруг груди свежая батарея эле-
тов. Григорий поставил бога вблизи
ıкоговорителя и прицепил его про-
ми к аппарату. Радио, получив уси-
ое питание, зазвучало четким басом,
ıато свет вокруг головы бога потух.

· Верите ли вы теперь в радио? —
)сил Григорий собрание, во время
рыва для подготовки оркестра в
кве.

Верим, — ответило собрание. —
ıм господу и в шумную машину.

· А во что не верите? — испытывал
орий.

В граммофон теперь не верим, —
щило собрание.

Вот тебе раз! — раздражился Гри-
ий. — А если мы вам граммофон
аем, тогда поверите?

Послухаем. Слухать будем, а ге-
› обождем.

А если я вас бога сейчас лишу?
)бранне и тому не особенно удиви-
:

- Ну что ж, — ответил за всех не-
щий мужик Евсей, читатель цен-
ьных газет. — Вместо одного бога,
нами десять безбожников ухажор-
)вать будут. Чем, Гришь, меньше ве-
ь, тем оно к тебе внимания и дохо-
больше.

полночь настала пора расходиться.
вышло горе: никто не брал бога ужи-
нать и ночевать в свою хату. Слобожане
требовали, чтобы сельсовет назначил по-
дворную очередь на содержание бога,
а неорганизованно иметь бога не жела-
ли.

— Да возьми хоть ты его, Степан, —
сказал Евсей соседу. — У тебя новая ха-
та порожняя, как-нибудь уляжешься.

— Чего ты? — обиделся Степан. — Я
третьего дня бревна на мост по самооб-
ложению возил.

Бог уже захотел есть и озяб от свежей
ночи, проникавшей в окна избы-читаль-
ни.

Наконец над ним сжалился комсомо-
лец, который приезжал за нами на ху-
тор, и позвал старика в свою хату, где
существовала одна его бедная мать.

Григорий озлобился на такую религию
и увез бога на хутор, как старика. Там
бог поел, выспался и наутро остался
трудиться второстепенным кузнецом. Он
оказался кочегаром-летуном астрахан-
ской электростанции, тронувшимся в
путь в виде бога-отца для проповеди
святой коллективной жизни и для поды-
скания себе почетного счастья в колхо-
зе.

— Я тебя еще раз поймаю — ушибу! — пообещал Григорий. — Живи здесь и работай на производстве. Проповедуй молотком, а не ртом.

Довольный бог остался: все же в нем жила душа кочегара и пролетария, жила и думала; кулак или другой буржуй не сумел бы стать богом — он, невежда, не знает электротехники.

С теми техническими способностями, какие были у Григория Михайловича Скрынко, сидеть ему на хуторе и стрелять из труб деревянными пробками — не к чему и вредно для государства. На утро я сказал Григорию об этом. Он послушал и показал мне на окружные бумаги, в силу которых он назначался директором машинно-тракторной станции из шестидесяти тяжелых тракторов; начальной базой для этой станции предназначался тот самый механический хутор, где жил сейчас Григорий. Машины и оборудование для МТС должны были прибыть в течение одной-двух недель.

Это было прекрасно. Лучшего вождя и друга машин, чем Григорий Михайлович, найти в этой местности нельзя. Кроме того, только в случае внезапной смерти Григория Михайловича посевной план МТС мог бы быть не выполнен, а при его жизни этот план наверняка будет превышен процентов на сто, ибо у него трактора не остановятся никогда и он заставит машину работать даже на одном цилиндре, лишь бы сберечь весеннюю минуту.

— А я недоволен, — сказал мне в последующей беседе Григорий Скрынко.— Вот проверну здесь генеральную линию, покажу всей средноте, что такое колхоз в натуре, что такое весна на тракторном руле, а потом учиться уеду, — больше не могу терпеть!

— Чего вы не можете терпеть?

— Отсталости. Зачем нам нужны трактора в каких-то двенадцать, двадцать или шестьдесят сил. Это капиталистические слабосильные марки! Нам годятся машины в двести сил, чтоб она катилась на шести широких колесах, чтоб на ней не аэроплан трещал, а дышал бы спокойный нефтяной дизель, либо газогенератор. Вот что такое советский трактор, а не фордовская горелка!

— Это, пожалуй, верно. Но как того добиться?

— Стану сам профессором тяги, вот и добьюсь.

Наверное так и случится, что года через три-четыре или пять у нас начнут пропадать фордзоновские царапалки и появятся мощные двухсотсильные пахари конструкции профессора Г. М. Скрынко.

— Что будет дальше на моем пути?— спросил я у Григория.

— Колхоз «Без кулака», — сказал Григорий. — Там председателем мой двоюродный брат, Сенька Кучум, скажи ему, что ты был у меня. — А еще далее у тебя будет 2-е Отрадное, там тоже знают меня, и ты кланяйся кому-нибудь!

Я направился в этот указанный колхоз, но ввиду ночной тьмы не успел достигнуть места назначения и явился туда наутро нового дня.

При входе в колхоз висела вывеска с названием этого общественного сельского хозяйства, а под вывеской план работ на текущий год, изображенный по железу, и классовый состав колхоза:

— 48 бедняков, 11 батраков, 73 середняка, 2 учителя, 1 прочая женщина с детьми-сиротами.

Колхоз «Без кулака» существует с августа 1929 г., причем в 1928 г. при единоличном ведении хозяйства нынешними участниками колхоза засеяно озимыми всего 182 гектара, колхоз же посеял озимых 232 гектара; по яровым колхоз наметил увеличить площадь посева в полтора раза против того, что сеяли нынешние члены, будучи единоличниками. За счет какой же конкретной силы произошло увеличение производительности сложенных бедняцко-середняцких хозяйств?

Не зная этого, я пошел к Семену Кучуму, чтобы спросить. Семен, по прозванию Кучум, удивил меня мрачностью лица и резким голосом, раздающимся из глубины его постоянно скорбящего сердца.

— Я не могу тебе ответить, — сказал он мне, — потому что для нас нет такого вопроса, для нас это понятно без всякого ума.

— У вас, наверно, тракторы есть или вам МТС работала?

— Нет еще ни трактора, ни МТС.

— А что же есть?

— Чего в тебе нет: в нас нет вопроса.

— А отчего же мужики больше сеять начали?

— А для чего ж они колхоз организовали — для бурьяна, что ли?

— Ты обходишь мой вопрос, — я же с добром спрашиваю.

— Не обхожу, — сообщил Кучум. — По-твоему все наше дело должно выйти так: собрались люди в кучу с одним планом и желанием, стали работать, и вдруг ничего у них не вышло. Это же страшно и так быть не может! Так думает безумный или ненавистный.

— И я так думаю иногда.

— Понятно: в тебе нет колхозного чувства и классовой нужды, не все поспевают за революцией. Кто имеет чув-

ство иль хотя бы нашу классовость, у того и ум, а без чувства — остаются одни вопросы и злоба.

Я поник. Это была приблизительная правда. Я остался в колхозе на несколько дней, не особо все же доверяя Семену Кучуму. Больше Кучум уже ни разу не говорил со мной, потому что вообще не произносил слов без нужды, хотя был вежливым и спокойным от какого то равномерного делового уныния, человеком. Дальше я существовал лишь свидетелем некоторых событий.

В этой деревне около четверти населения была в колхозе. Остальные же крестьяне все время мучились душой: входить им или обождать. Работал Кучум непостижимо, я больше никогда не видал такого колхозного организатора.

Однажды подходят к нему четыре бедняка — у всех одно заявление: бери их и зачисляй в колхоз. Бедняки эти были общеизвестными, но в смысле качества — люди не вполне усердные, т. к. давно уже отчаялись найти дорогу к облегчению своей жизни. Это их неусердие, вероятно, и озлобило Кучума, поскольку дорога для жизни бедноты была уже открытой.

— Чего еще! — с грубым недружелюбием сказал им Кучум. — Вы что, очертенели, что ль? Вы думаете в колхозе легко вам будет?

— Да может, Семен Ефимыч, и легче, — ответили бедняки.

— Это вам люди набрехали, — угрюмо об'яснил Кучум. В колхозе же труд, забота, обязанности, дисциплина, — куда вы лезете?

— А как же нам быть-то, Семен Ефимыч?

— Да будьте на своих дворах, охота вам горе добывать!

Бедняки в раздумчивости уходили от Кучума; некоторые же считали шопотом, что Кучум — тайный подкулачник.

Середняки, обычно, приходили в колхоз писаться по одиночке. Они подавали бумагу с молчанием и с морщиной на лбу, в'евшейся в их головы еще с зимы.

— Пиши и нас, Семен Ефимыч, я человек не каменный.

— А какой же ты? — спрашивал Кучум.

— Я трогательный. Я же вижу ваши обстоятельства, а у себя не вижу ничего, — живу неподвижно, как вечный какой!

— Истомиться у нас пожелал, — уныло недоуменно ставит вопрос Кучум. — Другую морщину нажить на лоб хочешь?

— Да хоть бы и так, Семен Ефимыч!

— Хоть бы и так? Нет, ты уже иди назад — нам мучеников не нужно. Помучайся лучше на своей усадьбе — отмучаешься, тогда придешь.

Я решил, что Кучум нарочно не принимал единоличников, чтобы поднять колхоз изолированным способом на высоту благосостояния. Но большинство единоличников крестьян чувствовало другое: они глубоко чтили Кучума.

— Сначала мы тоже думали, что он пьяный или дурной, а потом узнали, что он настоящий, — об'яснил мне многократно непринятый в колхоз бедняк Астапов.

Оказывается, и в прошлом году Кучум тоже создавал колхоз крайне неохотно, с отсрочкой и с оттяжкой, страшно поднимая этой истомой чувство бедноты, положившей уже уйти в колхоз. Такими непонятными действиями Кучум устроил не просто поток бедноты в колхоз, а целый напор, давку у его дверей, ибо сумел организовать какую-то высокую загадочность колхоза и дал в массу чувство недостойности быть его членами. Но в то же время Кучум не хитрил, не казался политиком. Он никогда не обещал ничего хорошего вперед, не давал никаких обязательств и поручательств на светлую жизнь, и первый, среди всех известных мне колхозных активистов, имел мужество угрюмо сказать колхозникам, что их в начале ожидает горе неладов, неумелости, непорядка и нужды; причем нужда эта будет еще горче, чем бывает она на одном дворе, и побороть ее тоже будет трудней, чем одинокому хозяину, но зато, когда колхоз окрепнет, нужда сделается невозможной и безвозвратной

Эту мысль Кучум, однако, не выговаривал, а лишь думал ее молча, — говорил же он другое.

— Но может потом нам будет хорошо? — робко спрашивали его первые колхозники.

— Не знаю, — искренно отвечал Кучум. — Это зависит от вас, а не от меня. Помогать я вам буду, кулака в колхоз не пущу, но кормиться и добиваться лучшего вы должны сами. Вы не думайте, что только советской власти необходим ваш колхоз — советская власть и без хлеба жила — колхоз нужен вам, а не ей.

— Да ну!? — Пугались первые колхозники. — А мы слышали, что колхоз советской власти по душе!

— Ну что ж, что по душе! У советской власти душа же бедняцкая, — стало быть, что вам хорошо, то и ей впрок.

Так еле-еле, под напором нескольких неимущих был устроен колхоз «Без кулака».

И действительно Семен Кучум никого не обманул — тяжело пришлось колхозникам в первое смутное время организационности. А Семен ходил среди всех в такие дни тужести и говорил:

— Ну, кого выписывать прочь? — Но никто не пожелал выписаться.

Только много позже, уже зимой, один человек, хвастающий тем, что он официальный батрак, выписался из колхоза.

— Не могу, — сказал он, — харчи дают без гущи, работай от сна до сна, все помнить велят, лучше я батрацкой льготой буду жить.

— Вали, — ответил ему Кучум. — Кулак ведь не одних большевиков из нашего брата делал, а и вечных рабов еще, вроде тебя. Вали к чортовой матери!

После осеннего сева Кучум, однако, принял в колхоз дворов, кажется, десять, и то с серьезным разговором. Я написал «принял», но это не значит, что Кучум решал все дела колхоза в одиночку, наоборот, он отказывался ото всех дел, кроме прямой работы, вроде пахоты. Но сами колхозники так относились к Кучуму, что ничего не совершали без его слова. Если же он молчал, тогда коллекетивисты чувствовали его настроение и по его настроению делали свои постановления. После сортировки зерна и подготовки к севу Кучум принял еще дворов пять. Такими способами приема Кучум так настроил всю единоличную часть деревни, что большая часть единоличников уже напирала в ворота колхоза. Но Кучум не совершал приема без показательных фактов колхоза, без достижений таких образцов работ, которые служат ясным и простым доказательством выгодности общественного трудового хозяйства. Поэтому он и принял десять дворов только после осеннего сева, произведенного, говорят, так, что единоличники стояли по сторонам колхозного поля и плакали, точно видели что-то трогательное.

После подготовки к севу также состоялся прием новых членов, и после весны, надо думать, Кучум отойдет сердцем и даст вход беднякам и середнякам. Правило Кучума, очевидно, было такое: чем больше колхоз доказывает сам себя (доказывает фактически — на ощупь населению), тем больше он пополняется новыми членами. Кучум не разрешал обманываться людям.

Такая политика, в сущности, лишала возможности бедноту и лучшую часть середняков проявить свою активность. Такая политика, похожая отчасти на безвольный самотек, могла разоружить революционные силы деревни, и в последствии район серьезно и резко указал Кучуму, что хотя сам он, Кучум, человек милый и геройский, но политика его почти кулацкая, и Кучум, обидевшись, всетаки согласился с районом, потому что ума и дисциплины в нем было больше, чем однодворного эгоизма.

Но в это время мне странно было видеть и слышать, как единоличники, не принятые еще в колхоз, любили этот колхоз и заботились о нем. Один средний крестьянин, по уличному прозванию Пупс, хотел, например организовать группу колхозных кандидатов, дабы обеспечить себе первоочередное проникновение в колхоз, но Кучум запретил такое неопределенное дело и разрешил Пупсу создать лишь товарищество общественной обработки земли.

Пупс такое товарищество (ТОЗ) учредил, но остался все же в большой обиде на Кучума и, выпивши, ходил по деревне с песней:

Эх, в колхозе вольно жить,
Вольно жить, не тужить.
Выпьешь бутылку-другую кваску
И побежишь погулять по леску.

Дойдя до правления колхоза, Пупс долго требовал, чтобы к нему вышел Кучум, — он хотел еще раз поглядеть на великого человека.

В разных частях быта и хозяйственной сноровки единоличников сказывалось влияние колхоза. Каждый личный хозяин норовил суетиться на своем дворе по звонкам колхоза, раздававшимся на всю деревню. Ему было теперь неудобно лежать дома на лавке, зная, что в колхозе трудятся. Особенно же доставалось женской части единоличников. Насмотревшись порядков в колхозе, мужики ходили теперь по своим домашним угодьям с презрением:

— Марфуш! А Марфуш! — терпя свое сердце, обращался супруг к жене, а жена его доила корову. — Ты бы хвостяную конечность к коровьей ножке привязала: чего ж тебя хвостом животное по морде бьет! Ты бы хоть раз на колхозные дворы сходила, поглядела бы, как там членки доют!

Другой хозяин всю ночь спал с открытым окном избы, потому что в колхозе люди спали с воздушным сообщением. Третий человек выписывал сразу две газеты на одного себя, поскольку в колхозе приходилось по газете на каждую взрослую душу.

И еще я заметил, что колхозные девицы были самыми модными барышнями среди юношей единоличных дворов. Они им казались вкусней и сознательней, и гораздо изящней, точно социалистические парижанки среди феодального строя.

Единоличные девки, глядя на молодых колхозниц, единодушно бросили белиться, перестав тереться щеками о белые стены, ибо ни одна колхозница не украшала свое лицо красками.

Таково было великое томление единоличников по колхозу, устроенному Кучумом без большого восторга. Мало того, я наблюдал людей, прибывших из окрестных деревень и, видимо, надеявшихся, что можно будет скустоваться своей деревней с колхозом Кучума.

— Действуйте себе на горе, если вам жизнь не дорога, — сообщал Кучум таким гостям, — а жаловаться потом ко мне не приходите.

— Ишь ты какой! — обижались пришельцы. — У тебя стало быть и колхоз, и весь свет жизни, а мы сиди под собственным плетнем и жуй житное с солью.

— Я же вам говорю, чтоб вы организовались, раз вы беды не боитесь!

— А у вас-то в колхозе аль беда какая?

Беды в колхозе, пожалуй, не было, но и покоя жизни тоже никто не знал. Но все же единоличники верили, что в колхозе с каждым днем прибавляется по одной капле лучшей жизни, а у них эта влага стоит в срезек, на одном уровне.

Кучум посчитал, что о союзе с окрестными колхозами он будет говорит во время самой нужды в этом союзе, например, во время появления МТС, при землеустройстве, при организации борьбы с несознательными полезными вредителями и в других больших хозяйственных случаях.

Мне было очень интересно, как сумел этот мрачный вождь бедняцкого движения к хлебу и свету организовать труд в колхозе и распределение продуктов.

В этом деле он оказался скупым рыцарем. Весь состав колхоза он разбил на две половины: люди до 20 лет (юноши и девушки) и люди старше 20 лет.

При этом молодое поколение (до 20 лет) разбивалось еще на ряд групп: младенчество, детство, отрочество, рабочая молодежь в 15—20 лет. Для всей этой молодежной части колхоза снабжение было установлено как в коммуне, без всякой разницы и поправки на общественную трудовую полезность (принималась во внимание только возрастная разница; например: младенец и уже работающий юноша в 17 лет и т. п.). Для членов старше 20 лет натуральное и денежное снабжение происходило сдельным способом. В хозяйственном плане колхоза было записано

и утверждено следующее: «весь доход колхоза «Без кулака», за отчислением от него амортизации, налога, расходов по скоту, страховки и пр., делится на число душ-едоков; души-едоки до 20 лет получают свою долю дохода полностью, а более старшие лишь половину своей доли, и из расчета этой половины душевого дохода составляется сдельный расценок каждого члена старше 20 лет. Другая половина душевого дохода старшего члена за минувший хозгод делится так: четверть ее идет на усиление пищи и одежды молодого поколения, т. е. не свыше 20 лет, две четверти на хозяйственное развитие коллектива и последняя четверть в запасный, неприкосновенный фонд, а также на помощь индустриализации государства».

Ясно, что Кучум имел на свежее поколение великую надежду и впряг всех взрослых людей, уже испорченных бывшим империализмом, работать на это живое будущее.

Кучум знал, что нынешнее юношество уже будет жить в коммуне и не станет нуждаться в сдельщине. Впрочем, молодежь не нуждалась в сдельщине и сейчас: я узнал, что колхозники в возрасте 15—20 лет работали с предельным напряжением сил и не имели надобности в каком-либо подгоняющем принуждении, — им было необходимо лишь обучение. Эта картина трудового усердия молодежи стала обычной в нашей стране, потому что советская юность не знает причин для избежания труда, разве что лишь когда переутомится или влюбится.

Рабочие планы составлялись в этом колхозе на каждые 10 дней. Согласно такому общему декадному плану, всякому члену колхоза выдавался на руки личный план-талон, в котором обозначались об'ем работ, число часов для ее исполнения и расценок. Такие индивидуальные планы-талоны указывали обязанности каждого члена в течение одного, двух, а иногда и трех дней.

Весь плановый и операционный штат колхоза состоял из Кучума и его помощника, бывшего батрака Силайлова; но и эти двое также получали личные планы-талоны на обычную работу, общей же плановой и руководящей деятельностью они занимались по вечерам или рано утром.

Из новых учреждений в колхозе был детский сад с яслями и Дом коллективиста, работавший под заботой двух учителей-колхозников, — причем эти учителя были освобождены от всякой сельскохозяйственной работы и снабжались так, как если бы им было меньше 20 лет. Последнее обстоятельство указывало на глубокий расчетливый такт Кучума; в остальном же он был скупец и безжалостный хозяин. Это его свойство сказалось и в плане колхоза и во внешнем виде колхозников — одевались они плохо и имели худой изработанный вид.

Зато молодая часть колхоза была совсем другая — не только пригожа и сыта на лицо, но и одета вполне прилично: не даром колхозные девушки были пригожанками для всех единоличных девок. В эту сторону Кучум уже ничего не жалел и лично ездил в город закупать мануфактурный материал для молодежи, беря для консультации парня и девицу.

В мою бытность в этом колхозе Кучум совершил одно замечательно правильное начинание: он от имени колхоза вызвал на соревнование весь местный состав единоличников, желавших быть колхозниками. Предметом соревнования были все обычные статьи весеннего сева: семзерно, площадь засева на лошадь-человека, срок и т. д. Призом же соревнования было следующее: если единоличники выиграют у колхоза или хотя бы близко сравняются с ним, то всех соревнующихся единоличников Кучум принимает в колхоз; если проиграют — пусть с приемом подождут до осени.

Единоличники вызов Кучума приняли.

«Мы ему, чорту, покажем, кто мы такие!» — ожесточаясь для неимоверного труда, говорили некоторые единоличники.

— Попробуем. Может и сладим.

— С ним попробуешь! Он, гляди, вот-вот и спать перестанет.

— Это бы ничего. Плохо то, что и другие все запляшут скоро под его шаг.

— На лицо-то он вялый, а как почнет вать и метать, как только почва его осит!

— Ну, ведь и мы из костяного матеиала сделаны!

— Замучил он нас. Если бы он бабой был, то мы бы думали, что он присушку знает, а раз он мужик, то непонятно. При нем, говорят, и дети в яслях не плачут.

— А что ж они делают?

— Кто ее знает! Наверно сознавать начинают.

— Вот крест-то нам господь послал! От него, как от бабы, и отвязаться нельзя.

— Даже странно! — почти научно выразился какой-то единоличный малый.

Мне неизвестно, чем закончилось это редкое соревнование. Если даже колхоз и не выиграл, что при Кучуме недопустимо, то выиграло государство, ибо в той деревне засеяны, наверно, не только все порожние земли, но даже и овражные косогоры, ибо ярость мужиков была велика, да и у кучумовцев она не маленькая, хотя и другого качества.

Теперь задумаемся над тем: правильна ли работа Кучума во всех частях, нет ли в его работе скрытой установки на самотек, на этого врага бедноты и средних мужиков? Колхозы, конечно, есть судьба всемирного трудящегося крестьянства, но если авангард того же крестьянства и пролетариата не разбудит сознания в массах, не создаст тяги в колхозы, то судьба эта опоздает, а замедленное движение всегда чревато риском и падением.

Да, в работе Кучума есть и была бессознательная установка на самотек, на политику прижатых тормозов, но я считаю, что напирающая беднота украдет вскоре у Кучума эту установку, и тогда, потерпев самотек, он приобретет полный дар вождя.

В день своего отхода из колхоза я увидел, наконец, как уныло-равнодушный Кучум был краткое время бешеным. К нему явился снятый с должности председатель колхозного куста, расположенного отсюда километров за двадцать. Он с Кучумом был хорошо знаком и почти что приходится ему другом, что замечалось по искренности отношения и легкой радости на обоих лицах. Прибывший кустовой председатель начал жаловаться на неправильности: его прогнали за перегибы, за то, что он раскулачил будто бы сорок человек середняков и закрыл церковь без либерального подхода к массам; но ведь те середняки завтра могли бы стать кулаками, и он лишь пресек их растущую тенденцию. А что касается церкви, то народ, сам не сознавая, давно потерял надежду в наличие бога, и он только фиксировал этот факт путем запрещения религии, — за что же, спрашивается, его ликвидировали как председателя?

Здесь бывший председатель сообщил следующее свое мнение: собаке рубят хвост для того, чтоб она поумнела, потому что на другом конце хвоста находится голова. Тут он явно намекал на то, что, дескать, райисполком — голова, а он — хвост, точно Рик и вправду приказывал ему в течение недели учредить коммунизм. Даже мне было глубоко грустно слушать такую от'явленную негодяйскую речь.

Чем больше слушал Кучум эти слова своего друга, тем все значительней серело его лицо. Затем он стал бордовый, равнодушные его глаза осветились мгновенной энергией, и слегка приподнявшись, Кучум молча совершил резкий, хрустящий удар в грудь противосидящего друга. Друг без дыхания повалился навзничь. Но Кучум не чувствовал еще удовлетворения. Он вышел изза стола, поднял упавшего за куртку и дал ему свежий, сокрушающий удар в скуло, — так что бывший председатель прошиб затылком оконную раму и вывалился из помещения на улицу, осыпанный мелочью стекла. После этого акта Кучум вновь приобрел унылое выражение своего лица, я же почувствовал значение партии для сердца этих угрюмых непобедимых людей, способных годами томить в себе безмолвную любовь и расходовать ее только в изможлающий, счастливый труд социализма.

— До свидания! — сказал я Кучуму.

— Прощай, — товарищески мягко произнес он, зная, что, куда бы я ни делся, я все же всюду останусь в строительстве социализма, и какой-нибудь прок от меня будет.

Наевшись в колхозе мяса, я пошел из общего хозяйства по прямому направлению и часов через шесть дошел до большого селения, под названием Гущевка. Я стал в крайней избе на ночлег, и долго лежал на лавке без сна, а в полночь в это же место пришел ночевать товарищ Упоев, главарь района сплошной коллективизации, не имевший постоянного местопребывания.

К утру я уже коренным образом познакомился с товарищем Упоевым и узнал мужественную, необоримую жизнь этого простого человека.

Раньше любая кулацкая сила постоянно говорила бедняку Упоеву: «Ты отсталый, ты человек напрасный на этом свете, ты псих, — большевиком ты состоять не годишься: большевики люди проворные».

Но Упоев не верил ни кулаку, ни событию, — он был неудержим в своей активности и ежедневно тратил тело для революции.

Семья Упоева постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Упоева, потому что все свои силы и желания он направлял на заботу о бедных массах. И когда ему сказали:

—Упоев, обратись на свой двор, пожалей свою жену — она тоже была когда-то изящной середнячкой, — то Упоев глянул на говорящих своим активно-мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал, указывая на весь бедный окружающий его мир:

— Вот мои жены, отцы, дети и матери, — нет у меня никого, кроме неимущих масс! Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революционности! Вперед — в социализм!

И все зажиточные, наблюдая энергичное бешенство Упоева, молчали вокруг этого полуголого, еле живого от своей едкой идеи человека.

По ночам же Упоев лежал где-нибудь в траве, рядом с прохожим бедняком, и плакал, орошая слезами терпеливую землю: он плакал, потому что нет еще нигде полного, героического социализма, когда каждый несчастный и угнетенный очутится на высоте всего мира. Однажды в полночь Упоев заметил в своем сновидении Ленина и утром, не оборачиваясь, пошел, как был, на Москву.

В Москве он явился в Кремль и постучал рукой в какую-то дверь. Ему открыл красноармеец и спросил: «Чего надо?»

— О Ленине тоскую, — отвечал Упоев, — хочу свою политику рассказать.

Постепенно Упоева допустили к Владимиру Ильичу.

Маленький человек сидел за столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин. — Говорите мне, как умеете, я буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Упоев, увидев Ленина, заскрипел зубами от радости и, не сдержавшись, закапал слезами вниз. Он готов был размолоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали на бумаге.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Упоев, стараясь быть мужественным и железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь зажиточный гад опять хочет бушевать, а по дорогам снова об'явились люди, которые не только что имущества, а и пачпорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!..

Ленин поднял свое лицо на Упоева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемся.

— Поезжай в деревню, — произнес Владимир Ильич на прощанье, — мы те-

бя снарядим — дадим одежду и пищу на дорогу, а ты об'единяй бедноту и пиши мне письма: как у тебя выходит.

— Ладно, Владимир Ильич, — через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм!

— Живи, товарищ, — сказал Ленин еще один раз. — Будем тратить свою жизнь для счастья работающих и погибающих: ведь целые десятки и сотни миллионов умерли напрасно!

Упоев взял руку Владимира Ильича, рука была горячая, и тягость трудовой жизни желтела на задумавшемся лице Ленина.

— Ты гляди, Владимир Ильич, — сказал Упоев, — не скончайся нечаянно. Тебе-то станет все равно, а как же нам-то.

Ленин засмеялся — и это радостное давление жизни уничтожило с лица Ленина все смертные пятна мысли и утомления.

— Ты, Владимир Ильич, главное не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай.

По возвращении в деревню Упоев стал действовать хладнокровнее. Когда же в нем начинало бушевать излишнее революционное чувство, то Упоев бил себя по животу и кричал:

«Исчезни, стихия!»

Однако не всегда Упоев мог помнить про то, что он отсталый, и что ему надо думать: в одну душную ночь он сжег кулацкий хутор, чтобы кулаки чувствовали — чья власть.

Упоева тогда арестовали за классовое самоуправство, и он безмолвно сел в тюрьму.

В тюрьме он сидел целую зиму, и среди зимы увидел сон, что Ленин мертв, и проснулся в слезах.

Действительно, тюремный надзиратель стоял в дверях и говорил, что Ленин мертв, и плакал слезами на свечку в руке.

Когда под утро народ утих, Упоев сказал самому себе:

— Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, буду жить! — и повесился на поясном ремне, прицепив его к оконному кольцу. Но неспавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав об'яснения Упоева, веско возразил:

— Ты, действительно, сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых, а если и ты кончишься, то, спрашивается, для кого ж он старался!?

— Тебе хорошо говорить, — сказал Упоев. — А я лично видел Ленина и не могу теперь почувствовать, зачем я остался на свете!

Бродяга оглядел Упоева нравоучительным взглядом:

— Дурак: как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то умнее всех, и если он умер, то нас без призору не покинул!

— Пожалуй, что и верно, — согласился Упоев и стал обсыхать лицом.

И теперь, когда прошли годы с тех пор, когда Упоев стоит во главе района сплошной коллективизации и сметает кулака со всей революционной суши, — он вполне чувствует и понимает, что Ленин, действительно, позаботился и его сиротой не оставил.

И каждый год, зимой, Упоев думает о том бродяге, который вытащил его в тюрьме из петли, который понимал Ленина, никогда не видя его, лучше Упоева.

В общем же Упоев был почти что счастлив, если не считать выговора от Окрзу, который он получил за посев крапивы на десяти гектарах. И то он был не виноват, — так как прочел в газете лозунг: «Даешь крапиву на фронт социалистического строительства!» — и начал размножать этот предмет для отправки его за границу целыми эшелонами.

Упоев радостно думал, что вопрос стоит о крапивочной порке капиталистов руками заграничных, маловооруженных товарищей.

Бродя в последующие дни по усадьбам и угодьям колхоза, я убедился, что мнение о зажиме колхозной массы со стороны колхозных руководителей неверно.

От Упоева колхозники чувствовали не зажим, а отжим, который заключался в том, что Упоев немедленно отжимал прочь всякого нерачительного или лени-

вого работника и лично совершал всю работу на его глазах.

Мне пришлось наблюдать, как он согнал рулевого с трактора, потому что тот жег керосин с черным дымом, и сам сел править, а рулевой шел сзади пешком и смотрел, как надо работать. Так же внезапно и показательно Упоев внизывался в среду сортировщиков зерна и порочил их невнимательный труд посредством показа своего уменья. Он даже нарочно садился обедать среди отсталых девок и показывал им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее получилась польза и не было бы желудочного завала. Девки, действительно, из страха или сознания, — не могу сказать точно, от чего, — перестали глотать говядину целыми кусками. Раньше же у них постоянно бурчало в желудке от несварения. Подобным же способом показа образца Упоев приучил всех колхозников хорошо умываться по утрам, — для чего вначале ему пришлось мыться на трибуне посреди деревни, а колхозники стояли кругом и изучали его правильные приемы.

С этой же трибуны Упоев всенародно чистил зубы и показывал три глубоких вздоха, которые надо делать на утренней заре каждому сознательному человеку.

Не имея квартиры, ночуя в той избе, какая ему только предстанет в ночной темноте, Упоев считал своей горницей все колхозное село и, томимый великим душевным чувством, выходил иногда на деревянную трибуну и говорил доклады на закате солнца. Эти его речи содержали больше волненья, чем слов, и призывали к прекрасной обоюдной жизни на тучной земле. Он поднимал к себе на трибуну какую-нибудь пригожую девушку, гладил ее волосы, целовал в губы, плакал и бушевал грудным чувством.

— Товарищи! Вечно идет время на свете — из нас уж душа вон выходит, а в детях зато волосы растут. Вы поглядите своими глазами кругом, насколько с летами расцветает советская власть и хорошеет молодое поколение! Это ж ужасно прелестно, от этого сердце день и ночь стучит в мою кость и я скорблю, что уходит план моей жизни, что он выполняется на все сто процентов, и скоро я скроюсь в землю под ноги будущего всего человечества... Кто сказал, что я тужу о своей жизни?

— Ты сам сказал, — говорила Упоеву рядом стоящая девушка.

— Ага, я сказал! Так позор мне, позор такой нелепой сволочи! Бояться гибнуть — это буржуазный дух, это индивидуальная роскошь... Скажите мне громко, зачем я нужен, о чем мне горевать, когда уже присутствует большевицкая юность и новый шикарный человек стал на учет революции?! Вы гляньте, как солнце заходит над нашими полями, — это ж всемирная слава колхозному движению! Пусть теперь глядит на нас любая звезда ночи — нам не стыдно существовать, мы задаром организуем все бедное человечество, мы трудимся навстречу далеким планетам, а не живем, как гады! Скажи и ты что-нибудь или спой сразу песню! — обращался к девушке Упоев.

Девушка стеснялась.

— Скажи хоть приблизительно! — упрашивал ее Упоев в волнении.

— Что же я тебе скажу, когда мне и так хорошо! — сообщала девица.

— Дядя Упоев, дай я тебе куплет спою! — предложил один юноша из рядов колхоза.

— Ну, спой, сукин сын! — согласился Упоев.

Парень тронул на гармонике мотив и спел задушевным тоном:

Эх, любят девки, как одна,
Любят Ваньку — пер..на!

— Раскулачу за хулиганство, стервец! — выслушав хороший голос, воскликнул Упоев, и бросился было с трибуны к гармонисту. Но его остановили активисты:

— Брось, Упоев, у него голос хороший, а у нас культработа слаба!

Позже Упоев спрашивал у меня о происхождении человека: его в избе-читальне тоже однажды спросили об этом, а он точно не знал, и сказал только, что наверно в самом начале человечества был актив, который и организовал лю-

дей из животных. Но слушатели спросили и про актив — откуда же он взялся?

Я ответил, что, по-моему, вначале тоже был вождевой актив, но в точности не мог об'яснить всей картины происхождения человека из обезьяны.

— Отчего обезьяна-то стала человеком, или ей плохо было? — допытывался Упоев. — Отчего она вдруг поумнела?

Здесь я вспомнил про Кучума, и про того, кого он расшиб на месте.

— Самый главный стержень у животного и человека, товарищ Упоев, это позвоночный столб с жидкостью внутри. Один конец позвоночника — это голова, а другой — хвост.

Понимаю, — размышлял Упоев. — Позвоночник в человеке вроде бревна, в нем упор жизни.

— Может быть какие-нибудь звери отгрызли обезьянам хвосты, и сила, какая в хвост шла, вдарилась в другой конец — в голову, и обезьяны поумнели!

- А — может быть! — радостно удивился Упоев. — Стало быть, нам тоже звери-кулаки и подкулачники должны что-нибудь от'есть, чтоб мы поумнели.

— Они уже отгрызли, — сказал я.

— Как так отгрызли? — Что ж мне больно не было?

— А перегибщик линии — это тебе не подкулачник?

Он, стерва.

— А он больно сделал коллективизации, или не больно?

— Факт — больно, гада такая!

На том мы и расстались, чтобы спать. Но после полуночи Упоев постучал мне в голову, и я проснулся.

— Слушай, ты ведь мне ложь набрехал! — произнес Упоев. — Я лег спать и одумался: это ведь не кулаки нам хвост отгрызли, а мы им классовую голову оторвали! Ты кто? Покажь документы!

Документов я с собой не носил. Однако Упоев простил мне это обстоятельство и экстренно проводил ночью за черту колхоза.

— Я полное собрание сочинений Владимира Ильича ежедневно читаю, я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду, — чего ты мне голову морочишь?

— Я слышал, что один перегибщик так говорил, — слабо ответил я.

— Перегибщик иль головокруженец есть подкулачник: кого же ты слушаешь? Эх, гадина! Пойдем назад ночевать.

Я отказался. Упоев посмотрел на меня странно беззащитными глазами, какие бывают у мучающихся и сомневающихся людей.

— По-твоему, наверное, тоже Ленин умер, а один дух его живет? — Вдруг спросил он.

Я не мог уследить за тайной его мысли и за поворотами настроения.

— И дух и дело,—сказал я.—А что?

— А то, что ошибка. Дух и дело для жизни масс — это верно, а для дружелюбного чувства нам нужно иметь конкретную личность среди земли.

Я шол молча ничего не понимая.. Упоев вздохнул и дополнительно сообщил:

— Нам нужен живой — и такой же, как Ленин... Засею землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник. Вернусь, на всю жизнь покоен буду.

Мы попрощались.

— Вертайся, чорт с тобой! — попросил меня Упоев. Из предрассудка я не согласился и ушел во тьму. Шаги Упоева смолкли на обратном пути. Я пошел неуверенно, не зная, куда мне итти и где осталась позади железная дорога. Глушь глубокой страны окружала меня, я уже забыл, в какой области и районе я нахожусь, я почти потерялся в несметном пространстве.

Но Упоев бы и здесь никогда не утратил стойкости души, потому что у него есть на свете центральная дорога и любимые им люди идут впереди его, чтобы он не заблудился.

Все более уважая Упоева, я шел постепенно вперед своим средним шагом и вскоре встретил степной рассвет утра. Дороги подо мной не было; я спустился в сухую балку и пошел по ее дну к устью, зная, что чем ближе вода к поверхности, тем скорее найдешь деревню.

Так и было. Я заметил дым ранней печки и через краткое время вошел на глинистую, природную улицу неизвестного селения. С востока, как из отвер-

стия, дуло холодом и сонливой сыростью зари. Мне захотелось отдохнуть; я свернул в междуусадебный проезд, нашел тихое место в одном плетневом закоулке и улегся для сна.

Проснулся я уже при высоком солнцестоянии, — наверно, в полдень. Невдалеке от меня, среди улицы, топтался народ, и посреди его сидел человек без шапки, верхом на коне. Я подошел к общему месту и спросил у ближнего человека: кто этот измученный на сильной лошади?

— Это воинствующий безбожник — только сейчас прибыл. Он давно нашу местность обслуживает, — об'яснил мне сельский гражданин.

Действительно, товарища Щекотулова, активно отрицавшего бога и небо, знали здесь довольно подробно. Он уже года два как ездил по деревням верхом на коне и сокрушал бога в умах и сердцах отсталых верующих масс.

Действовал товарищ Щекотулов убежденно и просто. Приезжает он в любую деревню, останавливается среди людного кооперативного места и восклицает:

— Граждане, кто не верит в бога, тот пускай остается дома, а кто верит — выходи и становись передо мной организованной масой!

Верующие с испугу выходили и становились перед глазами товарища Щекотулова.

— Бога нет! — громко произносил Щекотулов, выждав народ.

— А кто ж главный? — вопрошал какой-нибудь темный пожилой мужик.

— Главный у нас — класс! — об'яснял Щекотулов, и говорил дальше. — Чтоб ни одного хотя бы слабоверующего человека больше у вас не было! Верующий в гада-бога есть расстройщик социалистического строительства, он портит, безумный член, настроение масс, идущих вперед темпом! Немедленно прекратите религию, повысьте уровень ума и двиньте бывшую церковь в орудие культурной революции! Устройте в церкви радио, и пусть оно загремит взрывами классовой победы и счастьем достижений!..

Передние женщины, видевшие возбуждение товарища Щекотулова, начинали утирать глаза от сочувствия кричащему проповеднику.

— Вот, — обращался товарищ Щекотулов. — Сознательные женщины плачут передо мной, стало быть, они сознают, что бога нет.

— Нету, милый, — говорили женщины. — Где же ему быть, когда ты явился.

— Вот именно, — соглашался товарищ Щекотулов. — Если бы он даже и явился, то я б его уничтожил ради бедноты и середнячества.

— Вот он и скрылся, милый, — горевали бабы. — А как ты уедешь, то он и явится.

— Откуда явится? — удивлялся Щекотулов. — Тогда я его покараулю.

— Чего ж тебе караулить: бога нету, — с хитростью сообщали бабы.

— Ага! — сказал Щекотулов. — Я так и знал, что убедил вас. Теперь я поеду дальше.

И товарищ Щекотулов, довольный своей победой над отсталостью, ехал проповедывать отсутствие бога дальше. А женщины и все верующие оставались в деревне и начинали верить в бога против товарища Щекотулова.

В другой деревне товарищ Щекотулов поступал так же: собирал народ и говорил:

— Бога нет!

— Ну-к что ж! — отвечали ему верующие. — Нет и нет, стало быть, тебе нечего воевать против него, раз Инсуса Христа нет.

Щекотулов становился своим втупик.

— В природе-то нет, — об'яснял Щекотулов, — но в вашем теле он есть.

— Тогда залезь в наше тело!

— Вы, граждане, обладаете идиотизмом деревенской жизни. Вас еще Маркс Карл предвидел.

— Так как же нам делать?

— Думайте что-нибудь научное!

— А про что думать-то?

— Думайте, как, например, земля сама по себе сотворилась.

— У нас ум слаб: нас Карл Маркс предвидел, что мы — идиотизм!

— А раз вы думать не можете, — заключил Щекотулов, — то лучше в меня верьте, лишь бы не в бога.

— Нет, товарищ оратор, ты хуже бога! Бог хотя невидим, и за то ему спасибо, а ты тут — от тебя покоя не будет.

Последний резон был произнесен при мне. Он заставил Щекотулова обомлеть на одно мгновение, — видимо, мысль его несколько устала. Но он живо опомнился и мужественно закричал на всех:

— Это контрреволюция! Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген!

— Стоп, товарищ, сильно шуметь! — сказал с места невидимый мне человек.

И я услышал голос, говорящий о Щекотулове как о помощнике религии и кулацком сподручном. Человек говорил, что религия — тончайшее дело, ее ликвидировать можно только посредством силы коллективного хозяйства и с помощью высшей и героической социальной культуры. Такие же, как Щекотулов, лишь пугают народ и еще больше обращают его лицо к православию, — Щекотуловым не место в рядах районных культработников.

Вторым выступил я, потому что почувствовал ярость против Щекотулова и революционную совесть перед массами; я тщательно старался об'яснить религию, как средство доведения народа капиталистами до потери сознания, а также рассказал, насколько мог, правильные способы ликвидации этого безумия; при этом я опорочил Щекотулова, борющегося с безумием темными средствами, потому что Щекотулов есть тот левый прыгун, с которым партия сейчас воюет.

Щекотулов, дав мне закончить, быстро повернул лошадь и решительно поскакал вон из деревни, имея такой вид, будто он поехал вести на нас войска.

— Ишь, гадюка: в колхозы он, небось, ездить перестал! — сказал кто-то ему вслед. — Там враз бы ему в разум иголку через ухо вдели! Маркс-Энгельс какой!

Деревня, где я теперь присутствовал, называлась 2-м Отрадным, 1-е же находилось еще где-нибудь. 2-е Отрадное до сих пор еще не было колхозом и даже ТОЗа в нем не существовало, точно здесь жили какие-то особо искренние единоличники или непоколебимые подкулачники. Со вниманием, как за границей, я шел по этой многодворной деревне, желая понять по наглядным фактам и источникам уцелевший здесь капитализм.

На завалинке одной полуистлевшей избы сидел пожилой крестьянин и, видимо, горевал.

— О чем ты скучаешь? — спросил я его.

— Да все об колхозе! — сказал крестьянин.

— А чего же о нем скучать-то?

— Да как же не горевать, когда у всех есть, а у нас нету! Все уж давно организованы, а мы живем как анчутки! Нам так убыточно!

— А тебе очень в колхоз охота?

— Страсть! — искренно ответил крестьянин. Либо он обманывал меня, либо я был дурак новой жизни. Я постоял в неизвестности и отошел посмотреть на местный капитализм. Он заключался в дворах, непримиримо желавших стать поместьями, и в слабых по виду людях, — только устно тосковавших по колхозу, а на самом деле, может быть, мечтавших о ночной чуме для всех своих соседей, дабы наутро каждому стать единственным хозяином всего выморочного имущества. Но с другой стороны, на завалинках сидели горюны о колхозном строительстве, а самого колхоза не было. Стало быть, здесь существовала какая-то серьезная загадка. Поэтому я ходил и исследовал, будучи весь начеку.

Вечером я попал в избу-читальню, узнав за весь день лишь одно, что все хотят в колхоз, а колхоз не учреждается. В избе-читальне стояло пять столов, за которыми заседали пять комиссий по организации колхоза. На стенах висели названия комиссий: «уставная», «классово-отборочная», «инвентарная», «ликвидационно-кулацкая» и наконец — «раз'яснительно-добровольческая».

Послушав непрерывную работу этих комиссий, я понял, что такого большого количества глупых людей, собранных в одном месте, быть не может. Стало быть, в комиссиях сидели подкулацкие деятели, желавшие умертвить колхозное жи-

вое начало в бесконечных, якобы подготовительных, бюрократических хлопотах. Я поговорил с председателем «раз'яснительно-добровольческой» комиссии — мне хотелось узнать, в чем заключается его работа.

— Боимся, чтобы принуждения не было: развиваем добровольчество! — сообщил председатель.

— Развили уже, или не удается? — спросил я.

— Как вам сказать? — Конечно, знамя массовой раз'яснительной работы мы держим высоко, — но кто его знает, а вдруг единоличники еще не убедились! Перегнуть ведь теперь никак нельзя, приходится держать курс на святое чувство убедительности.

Мне показалось, что председатель несколько скрытный человек.

— Давно работают ваши комиссии?

— Да уж четвертый месяц. Зимой-то мы не управились сорганизоваться, а теперь ведем массовую кампанию.

Окружающие комиссии что-то тихо писали, а мужики заунывно ожидали колхоза на завалинках. Один из таких ожидальцев пришел потом к председателю комиссии для дачи сведений. Его спросили:

— Чувствуешь желание коллективизации?

— Еще бы! — ответил крестьянин.

— А отчего же ты чувствуешь?

— От безлошадности. Ты ведь, — обратился он к председателю, — мне исполу пашешь, а вон лошадная бригада исполу и пашет, и сеет, и зерно на двор везет. Только та лошадиная колонна на колхозы работает, а на нас не управляется.

— Так это же твое рваческое настроение, а не колхозное чувство! — даже удивился председатель. — Ты, значит, еще не убежден в колхозе!

— Да как тут понять! — выразился безлошадный. — Колхоза мы почти что и не чувствуем, — чувствуем, что нашему брату жить там барыш!

— Барыш — рвачество, а не сознание, — ответил председатель. — Придется нам еще шире повести раз'яснительную кампанию!..

— Веди ее бессрочно, — сказал безлошадный, — тебе ведь колхоз — убыток...

Председатель терпеливо промолчал.

Легко было догадаться, что здешние зажиточные и подкулачники стали чиновниками и глубоко эксплоатировали принцип добровольности, откладывая организацию колхоза в далекое время какой-то высшей и всеобщей убежденности. Неизвестно, насколько здесь имелось потворство со стороны района, только вся кулацкая норма населения деревни (около 5%) сидела в комиссиях, а бедняки и средние, видя в окружающих колхозах развитие усердного труда и жизненного довольства, считали свое единоличие убытком, упущением и даже грехом, кто еще остаточно верил в бога. Но зажиточные, ставшие бюрократическим активом села, так официально-косноязычно приучили народ думать и говорить, что иная фраза бедняка, выражающая искреннее чувство, звучала почти иронически. Слушая, можно было подумать, что деревня населена издевающимися подкулачниками, а на самом деле это были бедняки, завтрашние строители новой великой истории, говорящие свои мысли на чужом двусмысленном, кулацко-бюрократическом языке. Бедняцкие бабы выходили под вечер из ворот и, пригорюнившись, начинали голосить по колхозу. Для них отсутствие колхоза означало переплату лошадным за пахоту, побирушничество за хлебом до новины по зажиточным дворам, дальнейшая жизнь без ситца и всяких обнов и скудное сиротство в голой избе, — тогда как колхозные бабы уже теперь гуляют по волости в новых платках и хвалятся, что говядину порциями едят. Одной завистью, одним обычным житейским чувством бедняцкие бабы вполне точно понимали, где лежит их высшая жизнь.

Но внутри самой ихней деревни сидел кулацкий змей, а единоличные бедначки ходили в гунях, никогда не пробуя колхозного мяса.

Удивительно еще то, что колхозные комиссии ни разу не собирали во 2-ом Отрадном бедняцко-середняцкого пленума, откладывая такое дело вплоть до не-

…моверной проработки всей гущи оргвопросов, которые ежедневно выдумывали сами же члены-подкулачники.

Посоветовавшись с некоторыми энергичными бедняками, я написал письмо тов. Г. М. Скрынко на Самодельный хутор, поскольку он был наиболее разумным активистом прилегающего района.

«Тов. Григорий! Во 2-м Отрадном колхозное строительство подпольно захвачено зажиточно-подкулацкими людьми, женская беднота заявляет свое страдание непосредственно песнями на улицах. А твой район и возглавляемая тобой МТС почти что рядом. Советую тебе наехать прежде в районную власть и, узнав — нет ли там корней каких-либо, расцветших целыми ветвями во 2-м Отрадном, — прибыть сюда для ликвидации бюрократического очага».

Один бедняк взялся свезти письмо тов. Г. М. Скрынко, я же, убежденный, что Скрынко явится во 2-е Отрадное и ликвидирует бюрократическое кулачество, пошел дальше из этого места.

Погода разведрилась, в природе стало довольно хорошо, и я шел с спокойной за колхозы душою. Озимые поколения хлебов широко росли вокруг, и ветер делал бредущие волны по их задумчивой зеленой гуще, — это лучшее зрелище на всей земле. Мне захотелось уйти сегодня подальше, минуя малые колхозы, дабы найти вдали что-нибудь более выдающееся.

Вечером солнце застало меня вблизи какого-то парка: от проезжей дороги внутрь парка вела очищенная аллея, а у начала аллеи находилась арка с надписью:

—С.-х. артель имени Награжденных героев, учрежденная в 1823 г.». Здесь наверно общественное производство достигло высокого совершенства. Люди, может быть, уже работали с такой же согласованной легкостью, как дышали сердцем. С этой ясной надеждой я свернул со своего пути и вступил на землю коммуны. Пройдя парк, я увидел громадную и вместе с тем уютную усадьбу артели героев. Десятки новых и отремонтированных хозяйственных помещений в плановом разумном порядке были расположены по усадьбе; три больших жилых дома находились несколько в стороне от служб, вероятно для лучших санитарно-гигиенических условий. Если раньше эта усадьба была приютом помещику, то теперь не осталось от прошлого никакого следа. Не желая быть ни гостем ни нахлебником, я пошел в контору артели и, сказав, что я колодезный и черепичный мастер, был вскоре принят на должность временного техника по ремонту водоснабжения и по организации правильного водопользования. В тот же час мне была отведена отдельная комната, предоставлена постель, и меня, как служебное лицо, зачислили на паек. С давно исчезнувшим сознанием своей общественной полезности, я лег в кровать и предался отдыху авансом за будущий труд по водоснабжению.

Поздно вечером я посетил клуб артели, интересуясь ее членским составом. В клубе шла пьеса «На командных высотах», содержащая изложение умиления пролетариата от собственной власти, т. е. чувство, совершенно чуждое пролетариату. Но эта правая благонамеренность у нас идет, как массовое искусство, потому что первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второстепенные усердствуют в искусстве.

Члены артели героев, устроенной по образцу якобы коммуны, имели спокойный чистоплотный вид и глядели на героев действия пьесы как на самих себя, отчего еще более успокаивались и удовлетворялись. Четыре девочки-дочки стояли по углам сцены и держали десятилинейные лампы; одеты девочки были в белые платья, на головах их лежали густые прически, и весь их вид напоминал старинных гимназисток.

Кроме нормальной сытости лиц, ничего в тот вечер я заметить в артельщиках не успел.

Проработав же несколько дней на ремонте трубчатого колодца, я узнал достаточно многое и неутешительное для себя. Своими глазами я, пожалуй, не сумел бы все разглядеть, но со мной на колодце работали два члена артели, и они мне об'яснили некоторые обстоятельства про тех, кто тщетно хотел бы упо-

добиться действительным героям жизни.

Эти два члена, оказывается, были в артели недавно и ненавидели почти всех других артельщиков; причиной такого безумного явления было следующее: рик и сельские партячейки вели политику на пополнение артели «Награжденных героев» бедняками-активистами; правление же артели не хотело принимать никаких новых членов, ибо для правления хороши были только старые, сжившиеся между собой люди. Но кто же были эти старые члены артели, ее основатели? Может быть, тайные кулаки?

— Что ты?! — удивились два человека, поставленные со мной на ремонт колодца. — Это сплошное геройство гражданской войны! Их партия на все зубы пробовала, ничего не выходит› вполне наши люди!

— А отчего ж они никого в свою артель пускать не хотят?

Бедняки несколько подумали.

— Видишь ты, в семнадцатом году и они бедняками были, — стало быть, не было у них ничего, кроме своего класса, а теперь накопили бугор имущества, а класс оставили в покое...

Однако невозможно было, чтобы все герои битв с белогвардейцами стали хозяйственными рачителями и врагами окрестной бедноты: куда же могла исчезнуть их основная беззаветная натура? И я узнал, что, действительно, иные основатели артели уже давно умерли от болезней и плохо залеченных ран, другие же бросили артель и ушли безвозвратно в города, третьи же остались в артели навеки. Эти третьи были героями не от классовых органических свойств, а от каких-то мгновенных условий фронта, т. е. — не помня себя, а теперь они эксплоатировали свои нечаянные подвиги со всей ухваткой буржуазной мелочи.

Председатель артели тов. Мчалов пришел на нашу работу в конце четвертого дня. Я увидел полнотелого пожилого человека с горюющей заботой на лице, но со старым красноармейским шлемом на голове.

— Озимые-то, говорят, все в черноземной области померзли, — сказал он мне. — Чего только кушать будем в будущем операционном году?.. И сейчас тоже — нужен бы дождь под овсы, а его нет и нет!...

— Ты бы лучше кулацкий картуз надел на голову, — сказал я ему. — А красноармейский убор лучше бы снял! Кто тебе врет и кого ты слушаешь!..

— Да кажется мне так, а люди сообщают, — произнес председатель. — Ведь сердце-то болит!.. Слушай, ты как колодезь исправишь, так уходи, а то за тебя в соцстрах придется платить, прозодежду покупать, ты ведь не член, от тебя заботы не оберешься, а воды мы и без тебя напьемся!..

Обедать мне полагалось в общей столовой, обед был плохой, и я голодал, не понимая, почему члены артели так упитаны в теле; потом все те же оппозиционно настроенные бедняки-новочленцы показали мне, что артельщики обедают еще вторично по своим комнатам. Обед же в столовой совершался как можно беднее, дабы постоянно торчащим на усадьбе артели окрестным беднякам не казалось, что в артели сладко едят.

Чем больше я жил в этой артели, тем больше убеждался, что ее идеология — ханженство, несмотря на значительное общее достояние, несмотря на крупные производственные успехи. Артельщики-герои, особенно перед посторонними мужиками, постоянно ныли о плохом урожае прошлого года и о том, что жизнь в артели убыточна, и придется, видно, скоро на дворы разделяться и уходить в старину.

Все это было, конечно, лицемерие. Годовой доход на каждого члена артели по крайней мере вдвое превышал таковой же доход на местную душу середняка-единоличника, а доля основного капитала, падающая на каждого артельщика, приближалась к тысяче рублей.

Но откуда же это ханженство, эта хитрая скрытая борьба с партией и бедняками за сохранение только для себя своего удела?

Сама артель находилась островком, среди довольно пространного, если не моря, то озера единоличников. Бедняц-

кий актив ближайших деревень, а также советско-партийные организации давно имели желание сделать эту артель центром, источником опыта общественно-классового хозяйства для большого колхоза-комбината. Но артель, состоявшая из бывших героев, геройски сопротивлялась, — разрушать же высокое в производственном смысле хозяйство ни активисты-бедняки, ни партийцы не хотели. Наоборот, все их попытки поставить артель во главе колхозного движения основывались на добровольном соглашении с правлением артели. Но согашение это не удавалось. Больше того, за последние 4 года артель приняла в новые члены только 10 человек бедняков, и то под большим давлением всех организаций. Причем двое из этих 10 обжились в артели, прониклись ее скопческим духом делячества, трое вышли назад, променяв сундуки артели на воздух большевицкого ветра, пятеро же же составляли в артели настоящую большевицкую оппозицию сектантскому правлению; с двоими из них я и был знаком. Понятно, эти пятеро не имели решающего значения в артели, их даже при первом случае могли вычистить из членства. Но они-то, по-моему, и есть действительный зародыш будущего, большевицкого правления артели, которое и должно сменить бывших героев, а нынешних ханжей и сладкоежек.

Во всем районе, где находилась артель имени Награжденных героев, в колхозах было лишь процентов двадцать бедняков и середняков; больших колхозных массивов не существовало еще вовсе, и все маленькие точечные колхозы, как и артель, варились в своем деляческом соку. Отсутствие массовости колхозного движения, святое ханженское соблюдение принципа добровольности (по существу же развитие пассивности в лучших людях бедноты), какая-то безветренность всей обстановки и создала, вместо колхозной нарастающей реки, лужицы-колхозики и целое болото такой артели.

Доделав порученную мне колодезную работу, я получил десять рублей и должен был уходить. Но оставлять такую роскошно-производственную артель новорастущим феодалам было весьма жалко. Ведь артель в прошлом, средне благоприятном году дала урожая пшеницы почти по две тонны с гектара, одних фруктов было отпущено кооперации на двадцать пять тысяч рублей. Было ясно, что это хозяйственное место может об'единить, поставить на ноги и двинуть вперед несколько сот бедняцких хозяйств. Так зачем же тут содержать несколько десятков неподвижно жиреющих «героев»?

Интересно еще сообщить, что в артели было всего два трактора. Все работы совершались вековыми старинными способами; хорошие же результаты об'яснялись крайним трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков; в этих качествах им нельзя отказать, и эти качества должны остаться и тогда, когда эта ханженско-деляческая артель станет большевицкой. Что же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрениями, приложить к ее угодьям, вместо сухого рачительства — ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома и, главное, сделать артель действительно трудовым товариществом крестьян-бедняков?

Двое оппозиционно настроенных членов артели и я долго обсуждали болезненные предметы артели, не видя, как найти способ их уничтожения.

Один член в конце беседы спросил меня.

— А что у нас сильнее и лучше всего?

Я ему сказал, что это диктатура пролетариата.

— Пойду в Окрисполком, пойду в окружной комитет партии, попрошу сменить наше правление артели посредством диктатуры пролетариата, — сказал товарищ. — Везде коммуны и старые артели ведут колхозы, а у нас она мертвая пробка.

— Наверное наша артельная коммуна — это не коммунизм, — произнес другой артельщик.

— Наша артель вроде кулацкого товарищества на трудовых паях и на государственном имуществе. — сообщил я некоторое определение.

— А ведь учредители — герои гражданской войны! — с жалостью сказал один из присутствующих членов.

— Но время побеждает героев и делает из них одну смехотворность!

Это сказал я, но коммунары тут же меня опровергли.

— Ты ложь говоришь: есть такие герои, которые никогда не опаздывают против времени, они его ведут позади себя!

Ввиду очевидности я, конечно, согласился. После этого мы собрали одному артельщику общие средства, и он пошел призывать сюда в помощь пролетарскую диктатуру.

Человек ушел и через два дня вернулся. Во 2-ом Отрадном, оказывается, уже сидела какая-то комиссия из областного города, которая установила существенную связь между правлением артели пожилых героев и пятью колхозными комиссиями 2-го Отрадного.

Таким образом было установлено еще до прибытия тов. Скрынко, что артель «Награжденных героев» была лишь агентурой подкулацкой стихии, действовавшей во 2-м Отрадном, и — обратно, артель была крепостью зажиточных групп единоличников. Связь эта, в сущности, была известна давно: она выражалась в брачных узах между членами артели и подкулачницами и наоборот. То, что было связано по классу, то затем было укреплено плотью.

Ввиду этого тайной деревенской буржуазии приходил конец, и я с удовлетворением отправился отсюда в очередную даль, какая была мне видна из усадьбы артели.

Под религиозный праздник пасхи я вошел в небольшой колхоз «Сильный поток» и был здесь свидетелем конца жизни Филата-батрака, историю которого я постараюсь сейчас неприкосновенно изложить.

Филата приняли в колхоз самым последним, когда уже все середняки успели записаться.

— Ты всегда управишься войти в членство, — говорили Филату руководящие лица. — Ты же человек в классовом размере абсолютный!

И Филат ждал, не зная, чему ему радоваться, поскольку он еще не член колхоза. Со скучным выражением лица он ходил по колхозу и устранял прочь всякие неполадки. Была ли открыта дверь в избу, покачнулся ли плетень, иль просто петух ходил отдельно от кур, — Филат притворял дверь, устанавливал плетень и подгонял к курам петуха.

Во время ветра Филат выходил на тот край колхозной деревни, куда направлялся ветер, и глядел, чтобы ветер не выдул из деревни чего-либо полезного. А если что полезное ветер уносил, то Филат подхватывал ту полезную вещь и возвращал ее обратно в обобществленный фонд.

И так жил Филат в усиленных заботах о колхозном добре и порядке, не будучи членом артельного хозяйства.

К Филату давно все привыкли, и он был необходим в колхозе. Когда у кого рожала баба, — звали Филата вести хозяйство и смотреть за малыми детьми; кроме того, Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы.

Такого человека правление колхоза решило принять на первый день пасхи, дабы вместо воскресенья Христа устроить воскресенье бедняка в колхозе.

Накануне пасхи Филата одели в роскошную чистоплотную одежду, взяв ее из колхозного кооператива, а старую одежду Филата повесили в особый амбар, который назывался «музеем бедняка и батрака, жившего в эпоху кулачества как класса».

Избу-читальню загодя украсили флагом и лозунгом, а утром на пасхальный день Филата вывели на крыльцо, около которого стояла, собравшись, вся колхозная масса. Филат, увидев солнце на небе и организованный народ внизу, обрадовался всеми силами своего тела и захотел жить в будущем еще более преданно и трудоспособно, чем он жил дотоле.

— Вот, — сказал активный председатель всему колхозу, — вот вам новый член нашего колхоза — товарищ Филат. Не колокол звучит над унылыми хата-

ми, не поп поет загробные песни, не кулак наконец сало жует, а наоборот, Филат стоит, улыбается, трудящееся солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище! Но отчего же непонятна наша радость? Оттого, что Филат был самый гонимый, самый молчаливый и самый мало кушавший человек на свете! Он никогда не говорил слов, а всегда двигался в труде, — и вот теперь он воскрес, последний бедняк, посредством организации колхоза!.. Скажи же, Филат, нам что-нибудь, — теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа...

Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе.

— Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, чтоб было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать то счастье — пусть уж лучше другим достается...

Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза.

— Что ты, Филат?! — закричал весь колхоз. — Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь! Проповедуй нам труд и усердие, последний человек!

— Могу, — тихо сказал Филат, — только сердце мое привыкло к горю и обману, а вы мне даете счастье, — грудь не выдержит.

— Ничего: обтерпишься! — крикнули колхозники. — Глянь на солнце, дайте ему воздуху...

Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустился на траву и стал умирать от излишнего биения сердца.

Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно.

И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника.

— Значит есть Исус Христос, раз он покарал Филата-батрака!

Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть 37 лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть, хотя бы на последнюю минуту.

— Врешь, тайный гад! Вот он я, живой, — ты видишь — солнце горит над рожью и надо мной! Меня кулаки тридцать лет томили — и вот меня уже нет.

Вслед за тем Филат шагнул два шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором.

— Прощай, Филат! — сказал за всех председатель. — Велик твой труд, безвестный знаменитый человек.

И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтоб они сохли, а не плакали.

Невдалеке от колхоза «Сильный поток» я встретил железнодорожную насыпь и, пройдя вдоль ее, достиг станции и поехал поездом.

В течение одних суток я уехал настолько далеко, что сошел с поезда уже в Острогожском округе, на родине ценнейшей во всем СССР михновской овцы. Однако Острогожский округ не имеет возможности всерьез и планово заняться разведением последней, ввиду того, что сухих здоровых для овец пастбищ в округе нет, а сырые подлунные и заболоченные пастбища страшно заражены всевозможными инфекциями и в особенности почечной двуусткой овец.

Селения Острогожского района — Ольшаны, Гумны, Писаревка, Осиповка, Гнилое, Средне-Воскресенское, Рыбенское, Луки, Александровка — и других районов совершенно отказались от разведения и выращивания овец, так как последние, поголовно пораженные фациолезом, гибнут тысячами на заболоченных пастбищах.

Далеко не полный учет говорит о гибели в течение двух последних лет до 40 000 пораженных почечно-глистной болезнью овец — на общую сумму, за округлением 500 000 рублей.

Все препараты, применяемые при медикаментном методе лечения, не достигают желаемых результатов, и население и ветперсонал убедились в совершенной бесцельности всякого лечения при наличии заболоченных пастбищ, так как овцы каждую минуту, с каждым стеблем болотной травы получают все новую и новую порцию глистов.

С ветеринарно-санитарной точки зрения опасно и экономически невыгодно отдать заболоченные места микробам-бактериям и глистам для их пышной жизни и лишить скот здоровых кормов, которыми так беден Острогожский округ.

Исходя из вышесказанного, Окрветотдел в своих докладах и планах считает мелиорацию — осушение болот и заболоченных пастбищ — единственным средством избавить овцеводство от постоянной угрозы гибели и находит существенно необходимым немедленную организацию работ по осушке заболоченных пастбищ, в первую очередь по течению реки Тихой Сосны с ее притоками, как прорезывающую весь округ, пойма которой (массив поймы 30 000 гектаров) после осушения станет экономической базой округа, а также будет разрешена проблема разведения Михновской овцы во всем округе.

Но когда-то во всем Острогожском округе были девственные пастбища, хотя это было не только до появления здесь овцы, но и до человека, — еще прежде оседания первых поселений людей по берегам Тихой Сосны, — ибо именно к тому начальному времени относится зарождение оврагов в меловых отложениях, в связи с хозяйственной деятельностью человека. Овраги же, выходя своими устьями в пойму реки, выносили в нее почвенный материал и тем создавали затухание речного потока, начиная долгую эпоху заболачивания.

Если посмотреть на всю площадь Острогожского округа, то можно увидеть великое народно-хозяйственное бедствие от быстрого роста болот.

Но со смертью рек не только дохнут овцы и падает животноводство, — начинает умирать и человек. Злокачественная хроническая малярия сильно распространена среди жителей долины Тихой Сосны.

И было бы, конечно, малодушием, установив такое грозное бедствие, не попытаться вступить с природой в сражение для отвоевания у нее громадных бросовых площадей, чтобы дать скоту питательный, безболезненный корм, а трудящимся людям продукцию и здоровье.

Эта борьба с природой за десятки тысяч гектаров заболоченных площадей началась в 1925 году. Проект регулировочно-осушительных работ по реке Тихая Сосна охватывает пойменный массив протяжением в 40 километров и на площади в 83 квадратных километра. Примерно треть всего об'ема работ уже выполнена; сами работы с 1927 года механизированы, т. е. чистит и углубляет реку не человек, стоящий с лопатой в воде, а пловучий экскаватор, — причем эта затерянная в болотах машина может служить некоторой общей гордостью советской землечерпательной техники, ибо машина оригинальной конструкции и впервые сделана в Советском союзе (ни до войны, ни после в России подобные машины не делались, их покупали обычно в Америке). Но советские инженеры применяют для борьбы с болотами не только машины, а и взрывную технику, разрушая слежавшиеся наносы и карчу, душащие реку, динамитом.

Насколько население заинтересовано в успехе работ, видно из того, что участие населения в затратах, преимущественно натуральным трудом, составляет 52% исполнительной сметы. Но эти данные относятся к эпохе мелиоративных товариществ, т. е. ко времени простейших целевых об'единений крестьянства; теперь же, когда в долине Тихой Сосны есть мощные колхозы, надо ожидать гораздо более высокого темпа осушительных работ и еще более энергичного участия в них населения.

Придолинное крестьянство еще в 1924 году, когда я был на Тихой Сосне, уже знало, что вести пойменное хозяйство, тем более создать из болота луга одним напряжением единоличного хозяйства, нельзя, — и в 1925 году, к моменту начала работ, все заинтересованное обедневшее крестьянство об'единилось в мелиоративные товарищества, т. е. в зачаточную форму производственного кооператива.

Таковы богатые факты на этой бедной долине, где и посейчас идет тяже-

лая борьба за создание девственной, погибшей родины Михновской овцы.

Выбравшись из этой дружно трудящейся долины на суходолы, я вошел в колхозную деревню «Утро человечества», прельщенный как хорошим названием, так и добавочным лозунгом на вывеске колхоза, взятым из метрической системы:

«Всем угнетенным народам — на долгие времена». Ясно, что это относилось к колхозной организации жизни и труда.

У заставы колхоза стоял некий, старый уже, человек, с милым, но грозным лицом, и смотрел на меня.

— Ты кто? — спросил он.

Я ему приблизительно ответил, так как вопрос, в сущности, не очень прост.

— А ты не кадр?

— Кадр.

Где служишь?

— В уме.

— Ну, входи, пожалуйста, — это хорошее учреждение. Пойдем я тебя яичницей покормлю. А я, знаешь, кто?

— Кто?

— Да председатель всей бузы новой жизни, товарищ Пашка. Здравствуй!

— Здравствуй!

Раньше я боялся, гожусь ли я в новую жизнь, а теперь видел, что чем жизнь новее, тем люди ко мне проще и родней.

Веселая жена Пашки живо и прилежно сделала нам яичницу, а мы стали ее есть. Во время пищи я загляделся на супругу Пашки — она была красива до прелести, хотя в общем уже пожилая; но не в этом заключалась ее привилегия, а в том, что она веселая и уверенная в своей жизни и, кроме того, мудрая и передовая, как я узнал впоследствии.

Мне уже приходилось встречать ряд колхозниц, подобных этой женщине, и я обращал свое внимание на их повеселевший нрав. Отчего это получилось, трудно сформулировать, поскольку на колхозницах лежит сейчас больше забот и тревог, чем на единоличницах; однако же единоличницы в большинстве своем лишь традиционно-унылые, беспросветные бабы.

— Так, стало быть, ты кадр! — поев, высказался Пашка (отчества его я еще не знал) и тронул меня в грудь.

— Кадр, — подтвердил я.

— Ну, а вдруг ты ложный! — догадливо испугался Пашка. — Ответь мне на общий вопрос: сколько нужно кирпичей, чтоб построить научную избушку-читальню?

Второй поверочный вопрос Пашк был из другой области:

Говорят, что мир бесконечен и звездам нет счета! Неверно, товарищ! — Это буржуазная идеология: буржуям выгодно, чтоб мир был такой широкий, дабы гадам не тесно жилось, и было куда бежать от пролетариата. А по-моему, мир имеет конец и звездам есть окончательный счет.

Я подтвердил, что Пашка говорит вполне справедливо: вселенная не может быть неопределенно бесконечной.

— А отчего электричество железо любит, а стекло не уважает?..

— Есть ли в веществе какие законы или там одни только тенденции? Вот говорят, что можно сделать две палки, равные друг другу! Чушь!! Я четыре недели стругал две линейки, и все же на полволоска они никак не сходились! Где же законы равенства? Одни только тенденции и более нет ничего!

По возможности, я отвечал на все его вопросы.

— Ну, достаточно! — определил часа через два Пашка. — Оставайся у нас колхозным техником — решай великую задачу, чтоб нам догнать, перегнать и не умориться. Можешь? А мы хотим сделать тут такой колхоз, чтоб он был, как автомобиль-форд, годен по организационной форме и мужику-африканцу и бедняку-индейцу. Ясно тебе?

— Ясно-то ясно, только это не нужно: африканский мужик и сам не дурак.

— Он-то нет, а ты-то дурак! Ведь СССР самая передняя по революции держава! Отчего же нам не делать для всего отсталого света социальные заготовки?! А уж по нашим заготовкам пускай потом всемирная беднота пригоняет себе жизнь в меру и впрок!..

Пожив и потрудившись в «Утре человечества», я узнал про товарища Пашку все подробности его истекшей жизни. Эти подробности обозначали Пашку, как великого человека, выросшего из мелкого дурака, — пусть даже некоторые его действия покажутся неловкими и смешными: ведь мы имеем перед собой только начало будущего человека.

Всем своим воспитанием и просвещением он был обязан исключительно своей жене, которая его довела до ума и активности. Вот как дело было.

В старину, до революции, Павла Егоровича никто не звал полностью, хотя он жил уже в полном возрасте, — все его называли Пашкой, потому что он был глуп, как грунт или малолетний. В то прошедшее время он скупал в земельных обществах овраги и старые колодцы, — ему хотелось иметь хоть какое-нибудь имущество, чтобы сознавать свой смысл жизни в государстве. На приобретение истинных домов и форменной скотины у Пашки не хватало средств, — поэтому ему приходилось считать своими усадьбами овраги. Такие места ему доставались дешево: однажды за полведра водки он скупил в волости все болота и песчаные угодья.

— Бери — владей, — выпив и утерев рты, сказали волостные мужики. — Какая-нибудь мелочь вырастет. Хозяином себя будешь считать.

После того Пашка проводил свою жизнь в оврагах и на поверхности заросших мокрых пучин. Там ему было уютно, кругом его простиралась собственность, и он мог видеть насекомых, всецело принадлежавших ему.

В другой раз Пашка приобрел фруктовое дерево. Шел он мимо помещичьего сада и видит — ползет по дереву черный червь. Пашка испугался, что тот червь с'ест сначала одно дерево, а потом и весь благоухающий сад. А когда начнут пропадать сады, то государство ослабнет, а затем нагрянет какая-нибудь босая команда и отнимет у Пашки овраги и мочежинные владения.

Тогда Пашка пришел к помещику:

— Стефан Еремеевич! У тебя там на дереве черный червь явился: он тебе все фруктовые стволы сгложет — ты гляди!

— Ты говоришь, черный червь! — с задумчивым умом произносил Стефан Еремеевич. —Что это: флора или фауна? Черный червь! Так что же мне делать с ним? А вот что: Пашка, ты возьми то дерево, вырви его с корнем и тащи вон с поместья, а дома то дерево сожгешь. Но не смей червей ронять, смотри себе в след и подбирай червей в шапку!

Пашка из'ял из сада вредное дерево и перенес его к себе в овраг, где и вонзил в глину, желая, чтобы вырос собственный сад.

Но дерево умерло, и наступила революция. Неимущие стали мучить Пашку, как врага народа. Из оврага его сразу выгнали, чтобы он там не был.

И отправился тогда Пашка вдоль страны, дабы найти себе неизвестное место. По дороге он содрал с себя одежду, изранил тело и специально не ел: он уже заметил, будучи отсталым хищником, что для значения в советском государстве надо стать худшим на вид человеком.

И действительно, его уважали сельсоветы:

— Вот, — говорили сельсоветы на Пашку, — идет наш сподвижник, угнетенный человек. Где ты, товарищ, существовал?

— В овраге, — отвечал Пашка.

Предсельсовета смотрел на Пашку со слезами на глазах.

— Поешь молочка с хлебцем, мы тебя в актив привлечем: нам весьма нужны подобные люди.

Пашка напивался, наедался и оставался.

В одной деревне его оставили заведывать кооперативом. Пашка увидел товары и пожалел их продавать: население все может поесть и уничтожить, а что толку? Имущество всегда нужно поберечь: людей хватает, а материализма мало.

Из кооператива Пашку удалили. А он почел себя от этого происшествия недостаточно бедным, чтобы быть достойным советского государства, и обратился в нищего. Больше всего он боялся остаться без звания гражданина, без смысла жизни в сердце.

Однако Пашку привлекли к суду, как бродягу и непроизводительного труженика, тратящего бесплатно пролетарскую еду. На суде Пашка сказал, что он ищет самого низшего места в жизни, дабы революция его признала своей необходимостью. Теперь он хочет умереть, чтобы избавить государство от своего присутствия и тем облегчить его положение, тем более, что беднее мертвеца нет на свете пролетария.

Рабочий судья выслушал Пашку и сказал ему:

— Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество...

Здесь Пашка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы загодя скончаться. Но за него вступилась дамочка, помощница судьи:

— Так нельзя пугать бессознательного. Следует его сначала пожалеть, а уж потом учить. Вставай на ноги, товарищ Пашка, мы тебя отдадим в мужья одной сознательной бабочке, она тебя с жалостью будет учить быть товарищем и светлым гражданином, потому что ты рожден капиталистическим мраком.

С тех пор Пашку отдали бабе в мужья, и он, из страха перед ней, стал жить сознательным тружеником, благодаря свою судьбу и советскую власть, в руках которой эта судьба находится.

Начиная с того светлого судебного момента и доныне Пашка все время лез в гору, и дошел до поста председателя колхоза, — настолько в нем увеличилось количества ума, благодаря воздействию сознательной супруги.

И в районе Пашку тоже высоко ценили, как низовую пружину, жмущую бедные и средние массы вперед; он же сам все более тосковал, что не знает всей научности на свете, и собирался поехать учиться после пятилетки.

Я прожил в колхозе «Утро человечества» очень долго; я был свидетелем ярового сева на 140% от плана и участником трех строительств — прудовой плотины, семенного амбара и силосной башни.

После каждого очередного успеха, Пашка выступал на собрании колхоза и провозглашал приблизительно одну и ту же тему:

— Я — товарищ Пашка — со всеми вами, бедняками и товарищами, добьюсь того, чтобы в СССР никогда не смолкал рев гудков индустриализации, как над британским империализмом никогда не заходит солнце. И дальше того: мы добьемся, чтобы дым наших заводов застил солнце над Британией!.. Мы должны в будущем году взять какой-нибудь героический завод, дабы полностью снабжать его из нашего колхоза пшеничным зерном, — пусть наш рабочий товарищ оставит черный кислый хлеб и кушает наш первый первач! Это говорю я — товарищ Пашка!..

Дожив близ Пашки до начала осени, полюбив его до глубокой дружбы, ибо он был живым доказательством, что глупость есть лишь преходящее социальное условие, я все же в один светлый день подал ему руку на прощанье и поехал в уральские степи.

— Езжай куда хочешь, — сказал мне Павел Егорович. — Все мы кипим в одном классовом котле, и сок твоей жизни дойдет до меня.

Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно.

Вход с Арбата

Роман

В. Дмитриев и Я. Новак

(*Окончание*)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

«Я, Николай Степанович Мартынов, обращаю свое заявление в завком по следующему делу. Работаю я, как то известно, на кожзаводе еще со времени, как был он в принадлежности братьям Курочко. И на работе без всякого перерыва с 1890 года. То есть, ни мало, ни много, в скорости сорок лет. А отдан был на завод с двенадцатого года от роду.

Моя работа известная. У людей на виду. И за все время имел прогулы редкие. Хоть греха не таю. Подвержен. Каковую, однако, соблюдаю, не позволяя себе долгосрочного и просто вредного для производства пьяного дела. А до последнего если коснуться, то нет прогулов. И в праздничные дни неестествоборствую[1]. И довожу до минимального предела.

Моя жизнь есть справедливо на благо трудящим. И так же выработка, каковая не позволяет вызвать нарекание.

Но сын мой Павел не понимает уважения. Хоть, прямо говорю, в дому Павел не дает огорчения, а даже радость. Как он есть другой нормы. Человек. Не пьющий, как то было в моей первой части жизни. Каковая происходила в его возрасте. И я тогда, будучи в его годы, жил худше. И по теперешнему смыслу — позорно. Надо иметь внимание к тому, что время ело наше сердце, как какой-либо паук. К тому времени надо иметь проклятие. И понимание.

Но говорю еще. В дому Павел тих. Плохого слова не говорит. Но я имею наихудшую обиду. И для того обращаюсь к вам. Как вы мои товарищи. Например, Иван Ларионович Гусев — председатель. С которым было вместе беды. Несознательный класс (жрать нечего) таскали кожи на рынок. Я высказывал сопротивление. Припомни Гусев — мне сказал Петрович, я его не оскорбляю, но это действительная быль — при тебе сказал. «Ты Мартынов — купленная шкура». И не один. А еще Андрей Стефанович Гурари — секретарь завкома, разве не подтвердишь воспоминанье. Что 1917 года Мартынов ходил с тобой. Для подписки «Правды». Сам отдал пожертвованье. И был однажды бит за эту, а не за другую причину, по морде.

Но как всем известно, что сын Павел вызвал на соревнование.

Я о том веду речь. Как я то понимаю.

И за что меня вызвали?

Не есть ли то обида? Сорок лет стою на коже. И уж теперь забыли, как было раньше. А раньше проходящие нос зажимали, проходя мимо завода. Такая в воздухе имелась вонь. До гнуса. Почище золоторотцев.

Уж когда войдешь, то как в яму, и шибает. Бьет до беспамятства. И двенадцать часов в эксплоататорский кар-

---

[1] Письмо Н. С. Мартынова авторы освободили от орфографических ошибок; что же касается данного слова, то, понимая его смысл, авторы не нашли слова, способного заменить его без ущерба для смысла.

ман братьев Курочко (которых погнали метлалкой).

И того товарищ Гурари плохо помнит. А Иван Ларионович Гусев знает меня не хуже. Нынче же время иное. Завод по слову техники. Каковой я всегда подвержен.

Но сын Павел, тогда не родившись, а имея два года рабочего стажа, не постыдился меня вызывать. Что, как я понимаю, подтянуть. А мне это обида. Чтобы тягаться с молокососом...».

На этом заявление Николая Степановича не оканчивалось, оттого, что писал он с трудом, а каждое слово вызывало воспоминание.

2

Три дня тому назад Мартынова вызвал на соревнование сын. Павел сказал об этом отцу сам. Николай Степанович молча оборотился тогда, как будто искал кого-либо за спиной, и молча пошел прочь. На улице еще пуще, еще злее проникала его обида. Он думал, что поговорит дома с Павлом по душам, и это слегка облегчало его. Дома, дождавшись Павла (тот приходил поздно), Николай Степанович стал напротив него и очень строго сказал:

— Павел! — Он обождал недолго и повторил: — Павел! Будем говорить. Ты моей жизни не знаешь? Так?

— Отчего же, — сказал Павел.

— А оттого, — отвечал Николай Степанович, — что ты есть парень, а я мастер. Сорок лет на деле!

Николай Степанович раздражался. Оказывалось, нужно ругать сына всячески. «Стоп машина!» — сказал он себе.

Павел, видимо, ожидал, что скажет отец дальше. Он стоял, расставив ноги, точно ему нужно было упереться ногами в пол покрепче.

— Я, брат, знаю, — настойчиво сказал Николай Степанович, — эту механику наизусть. Старый воробей!

— Ну воробей, — согласился Павел и улыбнулся.

— А смехи здесь ни к чему. К чему же здесь смехи? Ты скажи мне, чего я тебе дался?

— Садись, отец, я об'ясню, — сказал Павел, — я расскажу тебе все до точки.

— А на что мне твоя точка?! — закричал Николай Степанович и отошел от сына, держа руку на левой стороне груди. «Стоп машина!» — сказал себе Николай Степанович, унимая и свою злость и неровное биение сердца.

На том разговор их кончился. Николай Степанович перестал говорить с сыном вовсе. Два вечера сряду он писал заявление. Всякий раз, как он садился за стол, обида его становилась грустной. И обижали Николая Степановича и бумага, и перо, и кляксы, и сгустки чернила, которые то и дело налеплялись на перо, отвратительно сползали на край чернильницы — жидкие и малоподвижные черви.

Он писал недолго, а больше сидел, припоминая многие случаи, что составили в конце концов всю его жизнь. И отчего-то ему вспоминались лишь грустные случаи — всякие обиды и огорчения — и вся его жизнь состояла как будто лишь из огорчений. Он уже почти позабывал о Павле, о том, как его обидел сын своей непочтительной выходкой.

Но ночью сон не шел. Ночь была пустынной. Слышно было, как свистит во сне Павел. В комнате стоял сумрак, ночной влажный сумрак, и негромкий сонный свист Павла пробирался в тишину, ползал по ней из стороны в сторону.

«Сна вот нету»,—обиженно думал Николай Степанович, и глаза его смыкались, свист затихал, совсем сходил на нет. Николай Степанович Мартынов спал.

3

Николай Степанович отодвинул от себя заявление. Перед тем он вздыхал, бродил по комнате и негромко грозил Павлу.

— Ах ты, боже мой, — проговорил он, — родил чорта!

Он понимал, что заявление надо писать скорее. Сегодня к нему подошел на заводском дворе секретарь завкома Гурари и сказал:

— Подрываешь, товарищ Мартынов.

Николай Степанович отошел от товарища Гурари, опять-таки молча, потому, что по своему характеру не мог никогда сразу ответить. Ответ появлялся в голове, а на языке — лишь спустя, когда со

беседника и след простывал. И ответ этот был обстоятельным и толковым. И случись сейчас быть собеседнику подле, уж Николай Степанович рассказал бы все в точности, с подобающим красноречием. — Запоздалое уменье еще более обижало Николая Степановича, и он сердился и вспоминал давнишнего своего приятеля Михаила Андреева, носатого человека с длинными пальцами. Андреев щелкал пальцами громче всех людей и на заводе и, пожалуй, на всем свете, но кроме того говорить мог без устали.

— Я словом не одолжаюсь, — говорил Андреев, — я слово с полу возьму, а другое с потолка и соприставлю.

— Ладно, — отвечали ему.

— Не ладь, без тебя прилажено.

Андреев давно умер. Но, закрыв глаза, можно было представить Андреева, стоящего перед зеркалом и трогающего свой нос.

— Экой у меня длинный нос вырос,— с огорчением бормотал Андреев. — И знаешь, Степаныч, то был нос ничего, до пятнадцати лет нормальный, а потом пошел расти.

Николаю Степановичу при воспоминании об этом становилось смешно. Он даже забывал ненадолго о сыне, о товарище Гурари и об обиде. Единственным средством, что на более долгий срок облегчало Николая Степановича, был воображаемый время от времени разговор.

— Я словом, товарищ Гурари, не одолжаюсь. Одно с полу, другое с потолка. Я вам, товарищ Гурари, категорически об'ясняю. Сорок лет на коже. А он парень. Ему усы растить.

— Ладно, — отвечал Гурари.

— Не ладьте, прилажено, — радуясь своей находчивости говорил Мартынов, — но вот вам мое заявление. Которое есть ответ. Которое прошу со вниманием обсуждать. К тому же мое семя — Павел. И то мне подлинная обида.

Николаю Степановичу в самом деле становилось обидно. Он сминался, увядал, клонил голову на бок и покачивал склоненной головой.

— Побить я его по морде не могу.

Это Николай Степанович подумал сейчас. Он сидел задумавшись. Он был стар, сед, малого роста. Огорчительные мысли являлись одна за другой, не удручая его, а, наоборот, утешая. И не однажды он подумывал о том, что не грех сейчас выпить половинку водки. Но он вообще боялся показаться Павлу пьяным, а сейчас это было бы вовсе безобразно и невозможно.

Николай Степанович вставал, ходил, садился, и все это в неприятном предчувствии какого-то скандала, который он не сможет и не захочет предотвратить. Чувства его становились подвижными и горячими. Все походило на готовность ринуться на Павла, ударить его или закричать.

Неожиданные представления волновали его в одиночестве, но они как бы текли, и их течение было даже приятным. Он мог быть сейчас победителем и поверженным — и в первом случае удовлетворение было бы от гордости и превосходства, а во втором — от сочувствия, от утешения, всегда сопутствующего человеческому страданию. И в представлениях он был то победителем судьбы и Павла, то поверженным. Но тягостным было ни то, ни се, «чорт его знает, как все обернется». Надо было ждать. И ожидание и было самым ужасным, утомительным и даже злым.

«Я опишу, — думал Николай Степанович, — все будет чисто!».

4

— Здорово, отец—сказал Павел, входя.

Николай Степанович сложил заявление надвое и ничего не ответил, но встал. «Я тебе скажу», — подумал он и протянул руку вперед.

— Ко мне ребята придут, — сказал Павел. — Мы тебе не помешаем? У нас тут совещаньице...

— А я твоих ребят мешалкой, — со злобой сказал Николай Степанович, — я их отсюда прочь.

— Здесь, отец, половина площади моей, — тихо проговорил Павел.

Волнение придало значительности его словам.

Николай Степанович оглядел все вокруг и совсем тихо, точно говорил он это себе, сказал:

— Мелом разгородить? Давай сюда жену — поделим.

— Ерунду порешь, отец.

— Ерунду?

— Да!

— Ну... — сказал Николай Степанович.

И не вдруг, а исподволь, медля обтекло его бессилье, — вот такое, когда человеку трудно пошевельнуться, свет бьет в глаза, пространство лишено воздуха, и легкое вращенье, подобное тому, какое пошатывает человека, только что слезшего с карусельного коня, — подвигает землю справа налево. Так стоял Николай Степанович посреди своей комнаты. Волненье давило его снаружи. И он способен был сейчас, отдышавшись, лишь негромко пожаловаться, не больше того. Это мгновение (Николай Степанович стоял так мгновение) расширилось и разрядилось. Оно было нескончаемым и отдавало той приятностью почти невыразимой и радужной, что облекает наши несчастья облегчающим светом и самой лучшей тишиной.

Николай Степанович стоял напротив сына своего Павла, и тот сказал ему:

— Не сердись, отец!

Он не сразу разобрал, что сказал ему сын, но по звуку его голоса понял, что сын вызывает его мириться.

— Ты садись, отец, — сказал Павел и взял его за руку.

— Я сам в силе, — ответил Николай Степанович, отнимая руку.

— Если б ты был враг, — сказал Павел, немного погодя: он смотрел отцу в глаза, — я бы с тобой не стал говорить. Нет! Я бы тебя опрокинул.

— Опрокидывали, — ответил Николай Степанович.

— Я б тебя опрокинул, — повторил Павел. — Такое бы дело получилось. Но ты не враг.

— Дуракам я враг, — тихо сказал Николай Степанович.

— Нам ты не враг. Ты, как бы сказать, отстал от жизни.

Николай Степанович слушал сына невнимательно. Его беспокоила мысль: «Нужно ли слушать Павла, не оскорбительно ли?». Он заметил на столе письмо, и ему вдруг стало очень приятно, вот Павел разговаривает, думает, что очень умный, а отец тля. Отстал от жизни. А вот оно письмо — заявление. «Я тебе, друг, отвечу. Я тебе дам точку». Он все старался вставить в разговор свое слово. Сказать «эге», что ли. Но Павел не давал ему ни сказать ничего, даже «эге», ни передохнуть.

— Ты не приходишь, когда собираются все. От гордости, думаешь? От глупости. Ты старого представления...

— А ты старое видал? — поспешно перебил его Николай Степанович, — много ты видал старого?

— Тебя вот вижу, — отвечал Павел, — но дело не в том, однако. Дело — в другом. Ты обиделся, что я тебя вызвал. И я спервоначалу даже не понял, отчего ты обиделся.

— Теперь понял?

— Теперь понял. И обида у тебя имеется...

— Обида мне могла быть, — слегка торжественно сказал Николай Степанович, — от ровни. Усы вырасти!

— Я бы мог с тобой бросить говорить... — Волненье уже преобладало в голосе Павла: краска выступила на его лице. — Я бы мог бросить говорить с тобой, — повторил он, — но ты дослушай меня до конца.

Он замолк. Полминуты стояло меж ними молчание.

— Ты думаешь, — сказал Павел, — я спроста тебя вызвал? Если ты увильнешь, то это будет тебе позор. У нас, и тебе то известно, имеются бригады. Я в такой бригаде состою.

— Промеж себя, — перебил его Николай Степанович, — вы хоть головы порасшибайте.

— Постой. Но я тебя вызвал. Ты квалифицированный мастер. У тебя опыт. Ты работаешь как бы во-всю. То есть я не скажу, что ты манкируешь, там, шатай-валяй, и прочее. Но надо работать пуще. Надо сказать — я не все вырабатываю.

— По норме я все вырабатываю, — сказал Николай Степанович, — меня тем не подколешь...

— А надо работать больше. Сколько можешь и сколько не можешь...

Темно!

— Светло. Мне, как на ладони. Ты не на хозяина...

— Это — музыка, — сказал Николай Степанович. Слово показалось ему очень подходящим. Он даже обрадовался, — такое это было ловкое слово... «музыка». — Это вальс! Это ты чужих верхушек нахватался.

— Музыка?..— переспросил его Павел, и рассердился. — Я тебя оттого вызвал, что, по-твоему, это музыка. Не понял? Ты помысли. Головой.

Он как бы подталкивал старика. Он говорил с горячностью, с какой говорят в нас молодость и страсть, освещенные ясностью, прекрасной ясностью, что делает наши поступки и мысли легчайшими.

Он взглянул на отца. Отец на него.

— Музыка, — сказал Николай Степанович, — ты с мое поживи. Ты меняколешь. А я тебе докажу.

Ему даже хотелось сейчас подвинуть к себе заявление и, раскрыв, отодвинуть так, чтобы Павел невзначай прочел бы хоть начало.

«Старый воробей, — подумал Николай Степанович: — меня так не заведешь...».

— Мы поглядим, — сказал он сыну. — Ты думаешь, у меня речи нету. А у меня есть кое-что...

— Не знаю, есть у тебя что-либо, но дело остается делом. Я, отец, серьезно говорю.

— Да и я без смеха... — Николай Степанович услыхал стук в дверь и добавил: — Это — твои. Пришли на совещание.

5

Вошли трое — Сема Андреев, Николай Дробышев, Миша Гольдин. Они вошли гуськом, в том порядке, в каком мы их назвали. Сема Андреев ростом был меньше других, но был подвижней товарищей, нрава более общительного. Он был сыном Михаила Андреева, о котором нынче вспоминал Николай Степанович. Дробышев был молчалив, или по крайней мере казался молчаливым, и наконец Гольдин был необычайно черен, необычайно высок, и необычайно широки и густы были брови Гольдина, и они срастались, образуя над переносицей и глазами черную, как голландская сажа, и столь же жирную, почти прямую, линию, придававшую Гольдину вид всегда нахмуренный и даже подозревающий.

Все трое были в возрасте Павлуши, то есть переступали или только что переступили за двадцать лет.

Николай Степанович захотел пошутить с ними, сказать что-либо веселое. Он так и подумал: «Шутку им пошутить, что ли». Он посмотрел на всех поочередно. «Шутку сказать!» — еще раз подумал Николай Степанович.

Он не слушал того, о чем говорили ребята. Ему было слегка неловко. И эта неловкость была длительной и слишком занимала его. От неловкости же он потрогал заявление и свернул его наискось, как ребята свертывают из четвертушки бумаги голубя. «Это, брат, прочтут, — подумал он с удовольствием, — и позовут Павлушу и скажут: «Зачем, молодой товарищ, против отца возражаете. Вам до вашего отца надо доходить. Это, товарищ, практика. Да! Вы промежду себя хоть головы расшибайте. От вас пользы — вот. А от практических товарищей — вот. Вон сколько! Промежду себя сколько влезет».

И уже очень довольный и собой и своими мыслями, Николай Степанович расположился на стуле поудобнее и стал слушать, о чем говорят ребята.

— Дробышева надо взять, — говорил Гольдин, — и сказать надо ему. Ты какой парень, Дробышев? Для чего ты пошел в бригаду? Для какой цели пошел в бригаду? Чтоб волынить, пошел в бригаду?

— Ты проверь, — сказал Дробышев.

— Я прямо ставлю вопрос, — упрямо отвечал ему Гольдин.

— Ставь, — сказал Дробышев.

Голос его дрожал. Дрожь эту уловил Николай Степанович, — ему стало жалко Дробышева и немного смешно, что Гольдин говорит о Дробышеве как об отсутствующем.

«Ему, поди, стыдно, — подумал Николай Степанович, — просто ужас. И меня, поди, стыдно».

Он захотел встать и уйти.

— Я дам об'яснение, — сказал Дробышев.

— Об'яснение мы послушаем, — весело сказал Андреев, — но я, ребята, заранее хочу рассказать...

— Расскажешь, — перебил его Павел, — в свое время.

Дробышев встал со стула, прошелся по комнате молча и, засунув руку за пояс, решительно сказал:

— Я раз имел опоздание. Не отпираюсь.

— Ты бы отпирался, — сказал Андреев, — как раз.

Николай Степанович сидел не более чем в пяти шагах от ребят. Те говорили полным голосом. Он всех их видел, все слышал. Он как бы ощущал и свое присутствие: вот его руки, вот пальцами он трогает свои усы, складку на щеках.

Чувство это было печальным. Николай Степанович был ущемлен. Он победит, конечно, Павла. Вот оно заявление. Но предстоящая победа не веселила его, она даже перестала занимать его.

— Здесь у нас ладно, — донеслось до него.

— Не ладь — прилажено, — пробормотал Николай Степанович, и эта фраза показалась ему несправедливой: она появилась неожиданно извне и была постыдной.

«Стоп машина», — сказал себе Николай Степанович.

Он сидел удобно. Дремота одолевала его. Спать хочется, что ли? Он плохо спал эти три ночи. Он закрыл и открыл глаза. Зеленое пятно сорвалось с его век и стало пропадать на потолке, расширяясь.

— Здесь все ладно, — сказал Павел, — но нельзя допускать распущенности.

Гольдин привстал с места.

— И сказать надо ему, Дробышеву. Раз ты наш парень, хочешь итти в бригаду? Да?

— Я уже говорил, — сказал Дробышев, — и еще хочу дать одно об'яснение... Здесь моя вина налицо... Моя вина!

— Твоя. Не наша, — опять очень весело сказал Андреев.

Павел поморщился.

— «Скажите ему, пускай он помолчит», — чуть не сказал Николай Степанович, но сдержался. Николай Степанович вздрогнул, и, дрогнув, отпрянула от него дремота.

«Он им скажет», — подумал он вдруг. И эта мысль походила на самозащиту. Николай Степанович готов был обороняться. Все, что говорили ребята Дробышеву, обращалось против него. Вот Павел говорит: «Ты, Дробышев, должен помнить, что здесь один человек мало значения имеет, — здесь дело идет в масштабе...» Вот наконец Андреев рассказал, как в одной бригаде — он такую знает — все ребята бились и нашелся такой Дробышев. Ну, вроде. Копия! И прогул произвел. Вот тебе ударник! Боевик! За что ребятам стыд.

«Чего же здесь похожего? — подумал он. Он защищался. — Я-то изложу. Промежду собой они могут. И кабы меня какой мастер вызвал. Я б пошел. Я б не отказывался. Кабы мастер...». Это уже походило на оправдание. «Если бы да кабы — во рту выросли грибы...».

Николай Степанович встал.

«Пойду я от них, — подумал он, — пускай свое разговаривают. — Он взглянул на Дробышева. — Ему, поди, стыдно постороннего. Ихние дела».

Причин, чтобы уйти, являлось много. Их было так много, что Николай Степанович понимал, что он убегает и что он просто боится остаться в комнате. Ему самому стыдно.

«Меня это дело не касается», — подумал он и повертел головой из стороны в сторону.

Он пошел к двери торопясь, как будто вспомнил. Он спешил покинуть эту комнату, хотя уже понимал, что это настоящее бегство.

6

В коридоре никого не было. Метрах в десяти одна от другой источали матовый свет белые, кубической формы лампы. Где-то, может быть не в этом этаже, звучали открываясь и закрываясь двери, и звучанье это было унылым. Они, то с силой захлопывались, то поскрипывали едва-едва.

В коридоре пахло жареным растительным маслом. Когда Николай Степанович шел по коридору, он слышал за

дверью бульканье лопающихся на сковороде пузырьков масла...

«Пироги, либо котлеты», — без удовольствия подумал Николай Степанович.

Он дошел до пролета и, облокотившись о перила, стал глядеть вниз и по сторонам. На стене, как раз напротив него, висела доска с об'явлениями.

«Меняю комнату в четыре сажени в старом доме...». «Прививка спасет ребенка...». «Доводится до сведения жильцов первого корпуса, что пользование ваннами допускается с пяти часов утра...».

Николай Степанович просматривал об'явления не скуки ради, а чтобы отделаться от все более угнетавшего его чувства, в котором сосредоточивались и неопределенный стыд и горечь.

«Собрание санитарной комиссии в 110 квартире сего...». «Мы, уборщицы, вызываем домашних хозяек...»

Он не стал читать дальше.

— И эти туда же! — вслух сказал он.

Ему вдруг очень захотелось рассказать все кому-либо. «Со стороны видней, — подумал он, — виноват — повинюсь!».

— Я не виноват, — громко произнес он и развел руками.

Он все повторял себе: «Я не виноват... Я здесь не виноват...

Собрались у меня ребята, — как бы говорил он: — выговор одному парню делать. Это — бригада. Собрались, значит, уж и стыдят его. Просто жалко. А он чувствует. Молодежь вообще промеж себя должна. Это верно. Но я, брат, тоже понимаю, это меня не должно задевать. Справедливо?.. Совершенно справедливо. Промежду себя сколько угодно. Я приветствую. А? А я сочинил заявление. Очень здорово... Все раз'яснил. До точки. Здесь дело идет в масштабе... Но промежду себя... Так я понимаю?».

Но так же внезапно, как явилась Николая Степановича потребность рассказать, — так же она и минула. Он прошелся по коридору раз и другой, и стыд, все более ощутимый, мешал ему думать и ходить.

«А я пойду в комнату, — подумал Николай Степанович. — Что я боюсь их?»

Он остановился.

— Я пойду, — пробормотал он.

У своей двери Николай Степанович увидел человека. Человек этот стоял так, как будто, постучав перед тем, ожидал разрешения войти.

Николай Степанович подошел к нему.

— Александр Николаевич, — сказал он.

Гамбаров отшатнулся от двери, точно пойманный на подслушивании.

— Простите, — пробормотал он.

«Ошибся, — подумал Николай Степанович, — дверью ошибся...».

— Здесь я человека ищу, — сказал Гамбаров: — жену. Вышла и запропастилась.

— Не видал, — ответил ему Николай Степанович, — к сожалению, не встречал.

— Тогда простите, — сказал Гамбаров, медленно повернулся и отошел.

Николай Степанович посмотрел ему вслед. «Партийный человек, — подумал он, — и образование у него. Пускай рассудит». Он догнал Гамбарова и сказал:

— Александр Николаич, извините, вопрос задать...

— Пожалуйста! — Гамбаров остановился.

— Такой будет вопрос, — продолжал Николай Степанович: — об соревновании. Как его надо понимать?

— Велась раз'яснительная кампания, — скучно сказал Гамбаров, — так что, я думаю, вам все известно...

«Подмазываешься, старик», — равнодушно подумал он.

— Мне известно, — возразил Николай Степанович, — но я к чему веду? Молокосос наносит оскорбление. Так?.. Когда совершает вызов... Оскорбление?

Гамбаров ничего не понимал.

— Чего ж вы хотите? — спросил он.

— То, — ответил Николай Степанович, — что разве я не понимаю, какая должна быть работа? Я газеты читаю. Я все знаю. — Он помолчал и очень громко повторил: — Я все знаю. И целиком присоединяюсь. Соревнование должно быть. Для подтягивания взаимно. Кабы меня мастер вызывал, разве я против? А, допустим, вас — инженер. Наоборот, всей душой. Но ты, сын мой,

моя кровь совершает. Разве он имеет вполне понимание в моем деле. Оно горбом. А то с бухты-барахты. Парень ведь.

Гамбаров понял: сын вызвал старика на соревнование.

— Вот что, — сказал он, — вы на мой взгляд не правы. Вы поймите, вся страна напряглась. Все фабрики и заводы. Каждый сознательный рабочий понимает, — это смертельная схватка с косностью, невежеством, с ленью, с допотопными методами работы, с разгильдяйством. Вся страна, все рабочие...

— Я не против, — тихо сказал Николай Степанович, — я заявление написал, что не против. И все выложил. Но мастер — мастера, а парень — парня. Как я на это смотрю.

— А в этом ли дело? Едва ли. Больше квалификация, меньше, а дело у нас у всех.

— Я не против, — еще более задумчиво и тихо сказал Николай Степанович и отвернулся и неспеша пошел от Гамбарова, но шагах в трех опять остановился и сказал: — Сын мой — Павел. Это надо взять во внимание.

И также неспеша пошел Николай Степанович прочь, а Гамбаров не двигался с места. Гамбаров говорил себе: «Это — ложь!» — но он был поколеблен. Он не мог уже сказать: «Старик притворяется, лжет или сам Гамбаров лжет», но, повторяя себе «это ложь», он не относил это ни к кому. И все-таки это было похоже на оскорбление, да, фраза была оскорбительной, ее надо было отталкивать от себя, бороть ее.

И уже с трудом подумал Гамбаров о том, что ищет он жену свою, Любовь, и сейчас он, может быть, встретит ее. Все остальное стороннее, все должно итти мимо, не задевая его и не волнуя.

— У Мартынова нет ее, — спокойно сказал Александр Николаевич и остановился у новой двери.

8

Мартынов осторожно прикрыл за собой дверь. Дробышев стоял возле дверей. Говоря, он рамахивал руками. Николай Степанович попытался пройти мимо Дробышева, но тот заслонял собою проход.

«Стоит столбом!» — подумал Николай Степанович. Он хотел было протянуть руку и слегка тронуть за плечо Дробышева: «посторонись, милый», — но для чего-то сдержался.

— Я даю слово, — говорил Дробышев, — что этого не будет...

«Чего не будет? — вяло подумал Николай Степанович. — Чего не будет?» И уже без всякой связи с этой мыслью пронзил его стыд. В смущении он пошевелил пальцами усы.

— Мы не оскорбляем тебя, — сказал Павел, — но здесь такое дело...

— Одергивать надо, — сказал Гольдин, — раз пошел в бригаду...

— Мы по-товарищески. Такое дело, — продолжал Павел.

Он, видимо, и сам был слегка огорчен тем, что приходилось говорить Дробышеву.

«Мой сын...» — подумал Николай Степанович...

— Ты коллектив подводишь, — сказал Гольдин, — коллектив из себя выходит. И что же?..

— Будет! — Павел встал. — Поговорили. Дробышев обещается. Обещаешься, Дробышев?

— Обещаюсь, — сказал Дробышев.

Николай Степанович прошел от двери. Он с беспокойством поглядел на стол, где лежало попрежнему заявление. Он протянул к нему руку. Взял его.

«Прочитали, черти!» — обижаясь подумал Николай Степанович.

— Здесь ребята, — сказал вдруг Павел: он говорил это в упор. — И я тебе повторяю — размысли. Если ты будешь отказываться, знаешь...

— А я не откажусь.

Николай Степанович и сам не ожидал, что скажет это.

— А я не откажусь, — упрямо повторил он. — Ты гляди, сам не осрамись.

Павел подошел к нему вплотную. Его дыхание коснулось лица Николая Степановича. Глаза их приходились прямо напротив, оттого что они были одного роста.

Лицом к лицу стояли они в молчании. Умная сдержанность не пускает нас броситься в об'ятия при встречах и прими-

рениях и обращает наше волнение в полную и негромкую радость.

— Я, — сказал Николай Степанович,— не откажусь...

И они отошли друг от друга, не сказав ничего более. Ребята вышли, и, прощаясь с ними, Николай Степанович не отвернулся.

«Сказать бы им чего», — подумал он. Николай Степанович Мартынов не протянул руки, не сказал ничего. Он взял со стола наискось свернутое заявление, — «...и на работе, — прочел он, — без перерыву с 1890 года...» — и одновременно радуясь тому, что пришло к нему решение, и стыдясь этой радости, он разорвал письмо, и мелкие бумажные клочья, шевелясь, проследовали во тьму за форточкой, а сырой ветер скользнул по щекам Николая Степановича.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Они росли прямо из стен — рога манчжурского оленя, турьи, рога бастенгов, украинских волов, косуль, бизонов и лосей. Свернутые штопором, прямые и острые, толстые и блестящие и наконец разветвленные рога были направлены вперед и вверх. Они рассекали воздух в комнате, ограничивали пространство множеством неправильных линий, — комната становилась неестественной.

Большая форточка была открыта настежь, и оттуда дул холодный воздух.

На полу лежал молодой человек с английскими усиками. Прижав ладони к бедрам, он поднимал поочередно то правую, то левую ногу. Медленно и с усилием взмывала нога — она поднималась все выше, прямая и твердая, на долю мгновения застывала и тотчас медленно же уходила. И тогда же опускалась и грудь молодого человека, и воздух, выходивший из его носа, слегка шевелил английские усы. Но подымалась другая нога, так же непреклонно, и грудь молодого человека подымалась выше, выше, а живот опадал, становился узким и нежным.

— Десять, — сказал молодой и встал.

Он стоял посреди комнаты, широко расставив ноги. И он дышал. «Вдох! Выдох!». Он дышал самодовольно, с удовлетворением. И по всему — по тому, какое приятнейшее спокойствие отражалось на его лице, как аккуратно были подстрижены его усики, — было видно, что все в его жизни устроено с умом, порядочно и удобно.

— Все, — сказал он. — Отдых!

И он расположился на кровати.

2

Леонид не сразу отозвался на стук. Он отдыхал по всем правилам. Он лежал так, что все части его тела сделались невесомыми и как бы неживыми. Он ровно и точно дышал. Руки его лежали вдоль тела ладонями вверх. Голова покоилась на одном уровне с телом.

Он должен был лежать десять минут. В дверь еще раз постучали. Лишь отлежав положенный срок, он встал, набросил на плечи пиджак и открыл дверь.

В комнату вошли двое: высокий старик в черной фетровой шляпе со шнурком и женщина — большая, с огромной грудью и тройным подбородком.

— Здравствуйте, родители, — сказал молодой человек учтиво, но без радости.

— Здравствуй, Леня, — сказал старик. Женщина молчала.

— Мы, Леня, к тебе, — сказал старик.

— Разумеется, — ответил молодой человек, — садитесь!

— Мы не для того пришли, чтоб рассаживаться, — сказала женщина. — Да, не для того, Леонид.

— Разумеется, — сказал Леонид и отвернулся. — Я знаю, зачем вы пришли. Но буду прям. Номер не пройдет!

— Если ты не слушаешь голоса совести, то ты должен слушать голос рассудка. Да-с! — сказал старик.

Молодой человек обернулся к старику и улыбнулся. Не спеша он проговорил:

— Я не профессор, как вы. Не богослов, как вы! Ваши слова, папаша, до меня не доходят. Мимо уха.

Он сделал жест, показывая, как проходят мимо уха слова.

— Я один раз точно сказал — не дам. Эти рога не ваши. И я вам их не дам, как там вы ни просите.

— Голоса совести ты не способен услышать, — сказал старик и поднял руки, — но мы, по зрелом размышлении и наведя справки, пришли к выводу: мы будем вынуждены призвать суд.

Леонид подошел к отцу вплотную.

— На испуг? — спросил он и закричал: — Номер не пройдет! Ни в коем случае. Пришли с мамашей. Спрашивается — для чего?

— У матери больное сердце, — неожиданно тихо сказал старик, — ее расстраивать бесчеловечно.

— Раз вы здесь, — не отвечая ему, но продолжая, сказал Леонид, — то будем говорить начистоту. Я вам ничего не отдам. Причины? Пожалуйста!

— Ты, может быть, стал коммунистом? — сказала женщина. — Тогда что ж!

— Я не коммунист, не дурак, — ответил Леонид, — я служащий, счетовод! Я служу и зарабатываю на жизнь. Концы с концами свожу. Но ваш номер не пройдет. Причины? Пожалуйста! Вы мои родители — и это смешно отрицать. Вот папаша профессор. Спец по иконографии, которая не в моде. Работу сочиняет. А на мне это не отзывается? Как вы полагаете? Еще как! Я не коммунист! Служу! А вы думаете, мне легко, если отец богослов.

— Ты мальчишка, — сказал профессор, — ты ограниченный абсолютно!

— Не богослов, — подтвердил Леонид, — но рога не отдам. Они детские!

— То есть как детские? — растерянно спросил старик. — Почему же детские?

— Детские! Я становлюсь на вашу почву. У вас старые представления о чести...

— У нас есть представления о чести,— сказал старик, — и я благодарен судьбе за это.

— Ну вот видите, благодарны. Но в старое время было у порядочных родителей так: свое имущество — само собой, а детское имущество — само собой. Для их детей. Спрашивается, что вы мне дали?

— Все эти вещи были даны тебе, — сказал старик и поднял руку вверх: он указал на рога, — в тяжелое время, на сохранение!

— Вещи мне были даны в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Тому уже десят лет. Даже юридически я имею право на них. Понятно? Юридически, за давностью.

— Такого нет закона, — испуганно сказала женщина и прижала руку к сердцу,—ты бесчеловечный сын. У твоей матери больное сердце!

— Сердце надо лечить, — ответил Леонид.

— Я узнавал, — твердо сказал старик: — такого закона нет!

Он лгал. Ничего он не узнавал и не знал, есть ли такой закон или нет. Ему даже показалось, что он где-то слышал о таком законе, тем не менее он сказал:

— Нет такого закона! И по справедливости не может быть такого закона. Но принципиально ты должен вернуть нам вещи. Ты молодой, ты можешь заработать. И твоя совесть будет чиста. В другом случае она будет тебя мучить.

— Это не имеет отношения, — равнодушно сказал Леонид. — Но между прочим бессовестны вы. Это мамашино влияние. Бесполезно!

Леонид отошел от старика. Тень от турьего рога поднялась по его лицу вверх и замерла на стене.

— Ленечка, — сказала женщина, плача и утирая слезы, — ты бы понял. Мы — старые.

— Трудное время, — сказал старик, — ничего нет! О масле я не говорю! Три рубля. Эти вещи почти не имеют ценности. Кто станет приобретать рога?

Он знал наверное, что Леонид ничего им не даст. Но он видел рога. Рога простирались над ним, они принадлежали ему, они были его собственностью, и это последнее чувство было решительным и неоспоримым.

— Ленечка, — сказала женщина. Она задыхалась, она прижимала обе руки к сердцу.

— Прекратите! — сказал Леонид; потом он закричал: — Я ухожу!

— Ты нас гонишь, — медленно проговорил старик, — но мы отсюда не уй-

дем, пока не добьемся! Мы с матерью решили, и наше решение твердо. Как это ни прискорбно, придется вмешать суд. Власть.

— Я ухожу, — повторил Леонид и одел пальто, — но повторяю — бесполезно. Суда я не боюсь. Если вы попробуете прикоснуться до какой-либо вещи, то я изменю тактику. Вынести отсюда ничего не возможно. Швейцар вас задержит и отправит в милицию. Всего!

Он остановился у двери и, не глядя на них, добавил:

— Дверь закрывается только английским замком. Прижмете и все!

3

Леонид вышел, и женщина кровати и села.

— Вы слюнтяй, — сказала она, — вы не можете отнять своих вещей у хулигана.

— Я требовал...

Он смотрел на жену внимательно. Он не то чтобы боялся своей жены, но всю жизнь прятался от нее в печальную пустоту и молчание. Она кричала на него, он замыкался в тишину. Он отделял от себя звук ее голоса, смысл ее слов и, отграниченный, оставался один на один с чувством неизвестно чем колеблемой пустоты и молчания.

— Очнитесь, — сказала женщина, — будьте человеком!

— Да, сказал старик.

Тогда женщина вскочила. Только буря и бешенство могли об'яснить легкость и стремительность ее движения. Она подпрыгнула, как перепелка, и замахала крыльями. Она была красной, ее глаза блестели, щеки вздрагивали.

— Такие люди не могут жить! — закричала она. — Вы слюнтяй! Надо унижаться, умолять или уметь угрожать! Вы читали лекцию! Не имеют ценности!

— Это ж прием, — жалко сказал старик.

— Неправда, — не унималась женщина. — А мне вы не говорили? Кто теперь покупает рога? А я вам говорю — я знаю рынок. Эти вещи стоят того, чтобы просить. Вы слюнтяй! Или требовать.

— Я требовал, — сказал старик, — успокойтесь, друг. Надо что-нибудь придумать.

— Сначала просить, потом требовать. Капли житейского разума в тебе нет.

Старик успокоился. Она говорила ему «ты» — значит, дальше можно будет с ней разговаривать. Он улыбнулся.

— Надо что-нибудь придумать, я убежден, что получу свои вещи.

— Мы останемся здесь, — сказала женщина, — пока он не вернется. Он был в пиджаке на голое тело.

4

В конце коридора стоял Леонид ждал.

— Не торопятся, — пробормотал он, — решили у меня поселиться.

Он озлобился. Сейчас он пойдет и выгонит их прочь. Родители! Просто свиньи, и гнать их надо без стеснения. Он и вышел из комнаты только потому, что думал, что они не задержатся. Но они сидят там. Может быть, даже снимают рога. И вполне возможно.

— Просто свиньи, — вслух сказал он и пошел к себе.

Возле двери он помедлил.

Его отец и мать сидели на кровати.

— Ты вернулся, — вежливо сказал отец, вставая. — Давай поговорим, как мужчина с мужчиной. Ну, не все рога. Одни рога ты оставь себе для украшения комнаты. А нам не для украшения. Мы их продадим и на вырученную незначительную сумму пропитаемся. Обдумай мои слова. Мы обращаемся к тебе, как к сыну, с просьбой.

— Думать не буду, — решительно сказал Леонид. — Я ставлю вопрос в принципиальную плоскость.

— Мы умоляем тебя, — сказал старик и развел руки.

— Напрасно, — ответил Леонид, — для меня это принцип. Вещи эти не ваши. А вы угрожали. И теперь вопрос принципиальный.

— Мы умоляем тебя, — настойчиво повторил старик, — мы обращаемся к тебе, как к сыну.

— Ленечка, — сказала женщина грустно, — дружок мой, не будь жестоким.

Не заставляй нас думать, что ты жестокий.

— Я ж все сказал, мамаша, я не могу изменять решение. Думайте, что хотите, но не могу! И потом я не могу разбрасываться. Это мои вещи! А я не считаю себя обязанным. Что вы мне дали?

— Я воспитал тебя,—растерянно сказал старик.

— Пожалей нас, Ленечка.— Она подбежала к Леониду, схватила его за руку.— Ты наш сын.

— Что вы мне дали? — Леонид уже не спрашивал: он разговаривал сам с собой.— Почему я должен самопожертвовать?

— Леонид,— сказал старик,— не заставляй мать плакать. Как мужчина мужчине — не заставляй мать рыдать.

Тогда Леонид рассердился.

Довольно,— крикнул он,— оставь меня в покое! Будьте любезны не приставать. Не хочу нарушить принцип ни в коем случае.

— Я женщина, я старуха, я обращусь за помощью. Я приведу домоуправление.

Она пошла к двери и медленно повернула замок.

— Будьте здесь, Николай Евгеньевич,— сказала она мужу,— а я пойду добиваться.

Леонид хотел броситься за ней, но подумал: «И все на испуг, все это липа! Куда она пойдет?!».

— Называется «просите»,— презрительно сказал он, подавляя в себе беспокойство,— называется, «умоляете», стыдились бы, папаша, интеллигентный человек! Пошли в домоуправление—и, что ж, скандал? А что мне может сделать ваше домоуправление? Да оно и закрыто! Там нет никого. Смешно! А если б вы честно попросили, то я б отдал. Мне рога ни на чорта. Зачем? Но если вы мне скандалом, то... извиняюсь. Принципиально! Принци-пи-ально! Понимаете?

Николай Евгеньевич молчал. Он сам не очень хотел скандала, боялся скандала, но самая неизбежность этого успокаивала его.

Леонид, не снимая пальто, сел на подоконник и сказал:

— Что ж, подождем мамашу с домоуправлением.

5

Она стояла за дверью минуту, ожидая, что Леонид вернет ее. Мгла в коридоре страшила ее. Беспомощно она огляделась.

— Как же быть, пробормотала она,— как же быть?

Впереди она увидела человека. Тот стоял перед какой-то дверью. И еще не осознавая, зачем она это делает, побежала вперед.

— Простите меня,— сказала она громко заплакала.

Гамбаров обернулся к ней. Перед ним стояла рослая толстая женщина. Слезы текли по ее щекам. Женщина держала белый платок у рта.

— Кого-нибудь из домкома,— сказала она,— мой сын непорядочный человек! Мой сын...

Женщина отняла платок ото рта. Рука ее опустилась. Она не вытирала мокрого лица. Ее лицо блестело.

— Мой сын негодяй,— продолжала она,— я прошу защиты. Я обращаюсь за защитой!

— Я не понимаю,— сказал Гамбаров, отступая,— если бы вы мне об'яснили и... я...

Женщина схватила его за руку. Она дышала ему в лицо. Она торопилась.

— Если вы жилец, я прошу защиты. Мой сын обрекает меня на голод! Пойдемте!

Гамбаров не высвобождался и не двигался с места. Он смотрел прямо в лицо женщине.

— Если бы вы об'яснили мне,— сказал он,— то я бы помог вам. Я готов помочь!

— Пойдемте!

— Я ничего не понимаю,— сказал Гамбаров.

Женщина отступила и сразу же стала уменьшаться. На ее черной груди сверкнула огромная пуговица. Уменьшаясь, женщина лила слезы. Передние поля ее шляпы двигались вверх, вниз. Женщина шептала, задыхаясь:

— Умоляю! Поймите!

— Членораздельно! — крикнул Гамбаров, — по порядку! Что с вами?

Тогда она рассказала ему все. Ее муж профессор, они старики, они дали на сохранение сыну вещи. Муж приходил третьего дня. Леонид выгнал его. «Он вор! Мы обречены!».

Она рыдала. Она приближалась к Гамбарову, кричала:

— Если у вас есть мать!

— Я готов, — сказал Гамбаров, — я пойду с вами.

И они пошли рядом. Женщина торопилась. Гамбаров медлил, но шли они рядом. Внезапно женщина остановилась.

— Вы партийный? — спросила она.

— Да, — отвечал Гамбаров.

Он рассердился. В самом деле, какое ей дело. С какой стати он будет впутываться в эту семейную драку? Эта толстая старуха просто сумасшедшая.

— Мне неудобно, — сказал он.

Женщина взглянула на него. Она стиснула его руку. Плача, она бормотала:

— Ваша мать! Ваша мама! Я взываю к воспоминанию! Я умоляю вас, как партийного человека! Это ужас!

Все обильней лила она слезы. Она расплывалась, оседала...

— Пойдемте, — сказал Гамбаров.

Они остановились перед дверью. Женщина постучала. На двери висела карточка «Л. Н. Входилов». Гамбаров припоминал одно мгновение. В конторе работает какой-то Входилов.

— Сейчас откроют, — испуганно сказала женщина, — ради бога, не беспокойтесь! Ваша мама...

Она больше ничего не успела сказать. Дверь отворилась, и Гамбаров боком вошел в комнату.

6

Да, это был счетовод из конторы завода. Черные усики, боксерская прическа. Он ходит обычно, как очень сильные люди, как борцы, чуть согнув руки в локтях, чуть приподняв их.

— Это мои родители, — сказал Леонид развязно и слегка дрожа.

Он остановил эту дрожь.

— Я, собственно, ничего не понимаю, — сказал Гамбаров.

— Это мои родители,— повторил Леонид.

Он торопился. Он подбежал к Гамбарову и сказал ему тихо:

— Страшные скандалисты и классово чужды. Я не имею связи. Честное слово! Я их видеть не желаю! Чуждые люди! Представить невозможно!

— Невозможно? — невнимательно переспросил Гамбаров.

— Ну да! Невозможно! Что бы она вам ни говорила — дикая ложь!

Не отходя от Гамбарова, он обернулся к матери:

— Я не понимаю вас, мамаша! Хватаете постороннего товарища и тянете сюда! Мне стыдно за вас! Я не хотел вам давать рога? Эту дрянь, которая мне ни на чорта не нужна? А спросите папашу. Что я вам говорил? Да не молчите! Только что я не говорил вам, что хотел отдать вам ваши рога? Потому что я порвал с вами! Навсегда!

Гамбаров услышал слово рога. Из всех он был наиболее потрясен и растерян.

«Сумасшедший дом!» — подумал Гамбаров.

Он смотрел на рога, торчавшие повсюду, на человека с седыми усами, на женщину, которая вдруг с необыкновенной быстротой стала высыхать, выпрямляться, и что-то, подобное гордости и осанке, об'явилось в ней, и опять-таки с необыкновенной, пугающей стремительностью стало утверждаться.

Седоусый снял шляпу. Он сказал:

— Мы были вынуждены прибегнуть к вашему свидетельству. Наш сын Леонид не слышит голоса...

Женщина перебила его. Очень спокойно и твердо она сказала:

— Николай Евгеньевич!

Седоусый поспешно умолк и одел шляпу.

— Берите ваши рога, — сказал Леонид, — и уходите. Я о вас заботился. Я не хотел, чтобы вы тащились, глядя на ночь. И сейчас предлагаю — уйдите, завтра же пришлю! Не задерживайте также товарища...

Гамбаров не хотел, однако, уходить. Он смотрел на женщину. Он ничего не видел, кроме нее. Разительная, даже фантастическая перемена приковала его к месту. В коридоре возле него рыдала рыхлая старая женщина. Она говорила слабым голосом: воплощение нищеты и слабости. Где эта женщина? Вот эта, что стоит напротив,—не она. Щеки ее влажны, но это она пришла с улицы, прохлада и легкий дождь сделали ее лицо влажным и розовым.

Она подошла к Гамбарову и потрясла его руку.

— Мерси, — сказала она. — Вы благородный человек!

Гамбаров не нашел в себе силы вырвать свою руку. Женщина отпустила его и отошла. Тогда Гамбаров огляделся. Молодой Входилов смотрел на него в упор, плохо скрывая свой страх. Он дрожал. Он, видимо, искал слов, чтобы здесь же, сейчас же, оправдаться перед Гамбаровым. Он был бледен и двигал челюстями.

— Серьезно, — сказал он заискивающе и с трудом улыбался, — я вам завтра все пришлю.

— Мы не можем ждать,— сказал старик: — мы решили взять все вещи сегодня.

Немедленно он стал снимать глубокие галоши. Женщина сняла черный сак и шляпу.

Леонид не спускал глаз с Гамбарова. Что думает Гамбаров? Не далее как завтра Гамбаров позовет бухгалтера или председателя завкома и скажет: Входилова надо убрать! Чорт его знает, кто он такой!

Он подбежал к Гамбарову и шопотом сказал:

— Пойдемте, товарищ Гамбаров! Я вам говорю, это ненормальные люди. Противно смотреть!

Гамбаров молчал.

И это молчание вселило в Леонида совсем нестерпимый страх. Он еще ближе пододвинулся к Гамбарову.

— Ничего общего, — сказал он,— честное слово! Вы не знаете их! Что она вам говорила? На бедность жаловалась? Ложь! Она торговка! Салопница! А отец — иконограф! Я давным-давно отошел! Понимаете?.. Вы думаете, они не зарабатывают? Ложь! Они ненавидят коммунистов! Ничего общего! А рога — коллекция! Отец собирал! Они их отдали мне десять лет назад! И вдруг приходят! Смешно! Я не знал, что делать. Выгнать их?

Его отстранила мать.

— Мы благодарны вам, — сказ[illegible] она, — теперь ничего нельзя ждать от детей. Если бы здесь была ваша мать, она бы поняла меня! Не слушайте его!

Так же спокойно и решительно она отошла от Гамбарова и сказала мужу:

— Николай Евгеньевич, ты будешь снимать рога и передавать мне.

Не сказав ни слова, старик влез на стул, потом на стол и подергал рога, огромные лосиные рога.

Молча Гамбаров оборотился к двери, постоял и молча пошел прочь.

Леонид шел за Гамбаровым. Он хотел, чтобы судьба его была решена тут же на месте.

— Товарищ Гамбаров, — сказал он.

— Ну что, — ответил Гамбаров.

— Я прошу вас, — тихо сказал Леонид, — не делать никакого вывода, потому что вы не имеете представления, до чего эти мои родители против меня настроены. Они на все пойдут!

— Какие выводы? — спросил Гамбаров и пошел прямо на Леонида. — Что за трепотня? Организационные выводы?

Леонид отступал. Пальто его расстегнулось, пиджак тоже. Он запахнул их одним движением и остановился.

— В таком случае простите!

И уже вслед Гамбарову он закричал:

— Безумные люди! Я давным-давно плюнул и разорвал!

7

О каких чувствах может итти речь?.. Безумные люди! Нет, не безумные! [illegible]ать?.. Она взывает к воспоминанию! А[illegible] рыдает! Цирковое представление. Он[illegible]ионист-трансформатор господин Иллю[illegible]офозов. — Наполеон Бонапарт — Метамо[illegible] корсиканец! Айн, цвай. маленьки[illegible]а Бернар, знаменитая арти- драй — Сар[illegible]ица! Айн, цвай — Петр Ве- стка и краса[illegible]отник и великан. ликий, царь, п[illegible]

Сколько стоят эти рога? Пятьдесят рублей, сто?

Как сразу выросла она, как окреп ее голос! Обладание вещью возвысило ее в росте. Победоносное овладение собственной вещью!

И Гамбаров ускорил шаг, хотя он подходил к концу коридора, к своей комнате, к балкону, за остекленной дверью которого попрежнему было черным небо, и в небе — единственная звезда.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Две непройденных двери оставались впереди. Две надежды жили в сердце Гамбарова.

Он остановился напротив сто тринадцатого номера. Зачем? С удивлением он посмотрел на себя. Смешно! Неужели Люба могла уйти к этой черепахе, к этому уроду? Гамбаров вспомнил обожженное оспой лицо слепого и его немигающие, расширенные глаза. Взгляд его обесцвечивал веки. Гамбаров боялся слепого, и страх его умерялся только жалостью. В походке, в движениях Квяткевича — так звали слепого — была какая-то напускная уверенность. Он шагал твердо, но Гамбаров чувствовал, что твердость эта мнимая, что под ней кроется ужас, нерешительность, что, опуская ногу, слепой боится попасть в провал или на острие. На пути его стерегут неведомые западни и препоны — отсюда вечная настороженность его лица и пальцев.

Даже сидя в своей комнате, за запертой дверью, Гамбаров узнавал шаги Квяткевича. Он слышал его свист: Квяткевич посвистывал. Но и веселость этого посвиста была обманом, ее следовало карать как лжесвидетельство. «Неправда! — хотелось крикнуть Гамбарову, — неправда! Ты врешь! Бодрость твоя притворна! Это липа, дорогой товарищ! Слышишь! Ты не тот, за кого выдаешь себя! Ты проживаешь по фальшивому паспорту! Товарищ управдом, проверьте у него документы. Он выдает себя за человека, он бреется, он насвистывает, покупает вещи. Ему выписана заборная книжка. Он позволяет себе дышать, здороваться за руку, класть голову на подушку... Где у него право на эти поступки? Они разрешены только нам, полноценным людям. Только мы нужны жизни. Только нам позволено жить».

Неполноценный человек... Как кстати вспомнилось это слово. Оно придало осмысленность гамбаровской злобе, положило как бы штамп, но сделало ее не только не постыдной, но дозволенной, даже похвальной.

«Я не боюсь его, — уверял себя Гамбаров, — страх здесь ни при чем. Я не ребенок. Но он мне противен. Он незаконен».

Гамбаров стыдился признаться себе в том, что страх его перед Квяткевичем основан совсем не на том, что нет в нем ничего умозрительного, философического, что это просто страх перед неведомым, перед предсказанием. Будь он честен, он бы сказал себе: «Я боюсь слепоты. Квяткевич напоминает мне о ней, и я боюсь и его». Но он говорил так: «Он поглощает мой воздух. Ему перепадает мое солнце, мой дождь, взгляды женщин, пусть исполненные отвращения и ужаса взгляды, но все-таки они на миг задерживаются на нем. Он омрачает наши полдни... Он вреден и страшен». Потом Гамбаров становился в позу обличителя. От обвинений эстетических и моральных он переходил к обвинениям иного порядка. Он говорил от чужого лица, чужими словами. «Ты не работаешь! — восклицал он. — Да, ты не можешь работать. Где уж там! Идет великая реконструкция, реконструкция заводов и душ, а ты околачиваешься подле, ты болтаешься, как кусок дикого мяса... Однако зачем ты посвистываешь? Впрочем, я не хочу осуждать тебя. Ты свистишь, как запоздалый прохожий, обороняющийся песней от темноты, отгораживающийся ею от пустых улиц. А ведь вокруг тебя темнота окаменела навеки. Ты живешь в пустом пространстве... Чем оно населено? Ш-

рохами, шумами, бесплатными прикосновениями? Облако кладет тень на твое лицо, известно ли тебе это? Бабочка пролетает над тобой, с крыльев ее осыпается пыльца. Ты об этом никогда не узнаешь! Синяя молния соскользнула с трамвайного провода, игновенным своим пламенем она озарила вселенную, наполнила ее всю. Всю, кроме твоего сознания. Одиночество! Да, вот настоящее слово. Одиночество окружает тебя, сопутствует тебе. Ты идешь через толпу, от'единенный и страшный, как воплощение, как символ. Не Квяткевич — одиночество! — вот твое имя...».

Дальше следовало воспоминание.

Гамбаров не знал, что связало это его воспоминание со слепым, но оно возникало неизбежно всякий раз, как он видел калеку. Воспоминание это было самым удручающим, самым тягостным из всех. Его не могли затмить ни рев орудий под Вапняркой, ни сыпнотифозный бред. Те были пуще, недвусмысленней.

Он мыл руки над миской. Мать поливала воду из ковша. Они стояли у порога. Яблоня и сентябрьский вечер осеняли их. С земли поднимался клубящийся сумрак. Мыло приятно скользило по гладким рукам, вода со звоном ударяла в миску. Мальчик—Гамбаров—смеялся. Он махнул рукой и обрызгал мать. Она тоже засмеялась и шутя ударила его по руке. И вдруг у него отвалился мизинец. Палец со стуком упал в миску. Боли никакой не было. Мать, ничего не замечая, продолжала лить воду на его дрожащие руки. Гамбаров боялся заплакать, боялся взглянуть на руку и пересчитать пальцы. Но это было и ни к чему. Мизинец лежал на дне миски. Он это видел слишком ясно. Мыльная вода покрывала его, и он просвечивал сквозь нее.

— Уже? — спросила мать. — Кончил?

Она взяла миску. Гамбаров попрежнему не смел ни заплакать, ни заговорить. Мать удалялась. Миска округло поворачивалась перед ней... Когда он через несколько минут пересчитал пальцы, их оказалось пять. Мизинец был на месте. Потеря ему просто привиделась. И тогда только он заплакал.

Теперь Гамбаров понял, чем связано это воспоминание со слепым. «Неполноценный!» Это слово и служило ниткой. Ведь и тогда не боль, но стыд угнетал его. Он на миг почувствовал себя неполноценным, не совсем человеком — вот что было самым страшным и от чего не вполне излечило его даже возвращение пальца.

Зачем, однако, он остановился здесь? Что задержало его против этой двери? Все они, все двери были одинаковы. Каждую охранял американский замок. Полоса света равной глубины, яркости, силы лежала возле каждой. То же самое было и здесь, у этой двери, но чем-то она отличалась. От нее исходило особенное, проникающее дыхание. Глухое веяние возникало здесь... «Это дыхание смерти, — подумал вдруг Гамбаров. — Здесь смерть». Он сперва подумал, что не так понял себя. Смерть?.. Почему смерть? Однако слова эти, отчетливо напечатанные, он попрежнему видел перед собой. «Здесь смерть!» Он чувствовал, что эта мысль все время стояла здесь же, рядом с ним. Гамбаров пробовал критиковать: «Где признаки?—взывал он. — Кто сказал? С чего ты взял эту чушь? Смерть. Смерть!.. Где же она? В чем, почему?» Он отмахивался. «Пустяки! Вздор! Нельзя этому верить!..» Но одновременно рядом звучал другой голос: «Почему нельзя? А если твои ощущения тоньше, вернее твоих мыслей? Если ты понимаешь даже то, чего не можешь об'яснить? Видим мы движение колеса, падающую струю, взвивающийся дым. Так неужели же смерть, происходящая рядом, умирание живого существа, исчезновение человека — неужели это явление менее физическое, менее значительное и, следовательно, менее ощутимое, нежели взмах мельничного крыла или мелькание радиатора? Просто я вижу дальше, глубже, чем другие. Мой глаз умнее. Я располагаю такими чувствами, такими органами восприятия, какими не располагают они. Я лучше всех. Я самый умный, тонкий, точнее сконструированный... Я вижу много. Я могу довообразить остальное. Это смерть».

2

Гамбаров подошел ближе к двери, стараясь не скрипеть ботинками. Он поднялся на носки и заглянул в щель. Он не увидел ничего, кроме света и покоя. Но какое-то новое, добавочное впечатление пришло к нему. Какое? Тиканье часов? Да, часы тикали. Но сердце хозяина остановилось, и близилось время остановиться и им... Шелест штукатурки, осыпающейся за обоями? Запах капусты или белья? Да нет, нет, чорт возьми! Газ! Этот тонкий и обволакивающий запах... Теперь все стало ему так ясно, точно он стоял уже в комнате.

Ты лежишь на кровати, Квяткевич. Глаза твои и смерть не сделала зрячими. Поэтому и смерть твоя похожа на жизнь. Ты не засвистишь больше. Дудки!

Ты встал утром, окно твое было открыто. Ты подошел и облокотился о подоконник. Потом ты вспомнил, что гол, что на тебе нет одежды, и отскочил в глубь комнаты. Ты боролся с вещами. Брюки, сапоги, рубашка оказывали тебе отчаянное сопротивление. Когда ты вышел из комнаты, одежда твоя была похожа на поле битвы, на стол после ночной работы. То там, то здесь торчала незастегнутая пуговица, измятый воротник, вывороченный, повисший карман... Бодрясь и насвистывая, ты шел по коридору. Встречные осторожно обходили тебя и ты провожал их, поворачивая голову и всматриваясь им вслед незрячими своими глазами.

Позволь! Что унес ты с собой в свою темноту из прошлого? Слепота подкралась к тебе незаметно, ты не был предупрежден. Знай ты, что это случится сегодня, ты унес бы пейзажи, лица, краски. Ты сделал бы запас, которого могло хватить надолго. Но вот это нагрянуло, и при тебе остались два-три ландшафта, небо, скорей из тургеневских описаний, чем из деревни, лицо девушки. Какого цвета были у нее глаза? Зеленые? Голубые? Никогда, слышишь, никогда ты этого не узнаешь!

Время шло, пейзажи твои блекли, лица деформировались. Ты забыл и свое лицо. Ощупь не спасает. Нос? Да, это нос. Но соотношение частей, окраска, пропорция. Дружище, ты потерял самого себя. Об'явления не помогут... «Дорог как память. Вернувшему вознаграждение...» Увы, тебе нечем было вознаградить вернувшего.

Ты утратил ощущения. Что окружает тебя? Мир без красок, без солнца, без гостеприимных огней в чужих окнах. Мир, наполненный только шорохами, только ревом и шарканьем ног. Мир огромных пустот и пространств. Привычки? Но ты сам понимаешь их бесцельность. Вечером ты зажигаешь свет. Щелкает выключатель. Подойди, прикоснись к лампе. Она нагрелась. Ты на ощупь устанавливаешь глаза как раз напротив нее. Ты мотришь, что есть силы. На что похоже это твое усилие? На первую попытку твари лететь? На первый порыв ребенка, пытающегося подумать, понять, постигнуть? Нет! У тех все впереди: жизнь, века, пространство. Все полно надежд и уверенности. У тебя ничего нет. Ты знаешь, что ничего не увидишь. Ничего, ни проблеска. Помнишь, в детстве ты пробовал, закрыв глаза, вообразить себя ослепшим. Но, все-таки, если не свет, то ощущение света оставалось. Даже сквозь веки ты чувствовал это дрожание частиц. Эфир проникал сквозь кожу к твоим нервам... Сейчас — ничего. Пустота, темнота, мрак. Сила воли?.. Нет, это не поможет. Эту темноту ты не постигнешь, не преодолеешь ни силой воли, ни напряжением нервов. Не для тебя горит зажженная тобой лампа. Ни одна лампа не будет более освещать твою жизнь.

Этого мало. Ты утратил воспоминания. Тебе нечем заменить их — никогда ты не приобретешь новых. Закат! Скажи это слово громко, вслух, во весь голос. Что возникает? Две краски — голубая и красная. Небо все голубое, солнце красно. Облака точно очерчены. Они вырезаны из жести. Края солнца аккуратно обрублены. Но ведь это было не так. Помнишь: дым клубами выбивался из труб, и клубы эти тотчас же тут же разрывались, разбрасывались. Багровая полоса граничила с оранжевой. Апельсины лежали рядом с дын-

ной коркой, с лимоном, с синим виноградом, с арбузной мякотью. Крыши почернели. Ночь нависала, как гроза. Ветер дул с востока, и, пролетая мимо, он уносил с собой облака и солнце. Помнишь? Зачем же ты киваешь головой? Кивай, не кивай, — у тебя нет более этих красок, не только потому, что для тебя они никогда не повторятся, но еще и потому, что ты более не можешь произвольно вызывать их, возобновить, поставить перед собой.

О, как ты был расточителен! Ты готов рыдать и ругаться. Ты проходил мимо дерева и не вглядывался в него, не старался запечатлеть навеки прихотливую игру листвы, все перебежки лучей и теней, все скольжение света по сучьям. Небрежно и рассеянно уходил ты дальше. Ты шел своей дорогой... Дорога... А помнишь, какого цвета бывает иной раз пыль и трава перед дождем? Синева лежит пластами, поблескивают мельчайшие обломки слюды и кварца... А ты знаешь о дороге, о розовой пыли, которую вздымают обозы? О зимней дороге — о пламенной ее белизне? Дорога!.. Для тебя это слово — шесть звуков. Слова отвлекаются от вещей. Они живут сами по себе, без смысла, без плоти, без силы...

Как это случилось? Началось утро Он пил чай из жестяной кружки. Одинокий слепой человек сидел за столом и кусал рафинад. Затем зазвонил телефон. Не предчувствуя ничего, он снял трубку. «Алло», — сказал он. И еще говоря это, он ждал чего-нибудь самого заурядного, обычного, ежедневного. Позвонят из инвалидной секции. Управдом. Уборщица извинится и скажет, что сегодня не принесет молока. И вдруг трубка заговорила печальным и нежным женским голосом. Знакомый, полузабытый, памятный... Но нет, голоса он не забывал.

— Здравствуйте, — сказал он очень тихо и застегнул воротник. — Здравствуйте. Как громко поет это радио... Минутку... Я только выключу его...

Он медленно шел по комнате, обдумывая: как же теперь быть? Трубка ждала его, девушка ждала его, прошлое ждало его. Четыре года минуло с тех пор. Неужели она ничего не знает?..

— Как я рад, Люба... наконец-то... Но как ты разыскала меня? Я говорю, как разыскала... Ах да... конечно... конечно... Чего проще!.. Ну, конечно, при каждом телефоне... — он судорожно уводил разговор в сторону. — Ты наверное вышла замуж?.. Да? И дети у тебя?.. Не вышла?.. Учишься? Встретиться? Конечно, детка, конечно! Конечно, нам нужно встретиться! Но сегодня я никак не могу. Я занят, и потом у меня этот... грипп. Я не выхожу. Ко мне? Сегодня? Нет! Только не сегодня! Пожалуйста, не сегодня! Я тебя очень прошу! Нет, я хочу тебя видеть... Только не говори это слово: «видеть, увидеться...» не нужно, слышишь. Завтра? Ну хорошо, приезжай завтра. В два? В два! Вход с Арбата, третий этаж, квартира 111. Целую. Прощай... Прощай... Прощай, Люба... Люба!.. Нет, пустяки. Я хотел спросить, какого цвета твои глаза... Но я вспомнил... До свиданья...

Он медленно и аккуратно, чересчур точным движением положил трубку на место. Встав посреди комнаты, он взъерошил волосы. Он не видел и не знал, что они вот уже два года седые.

Что же теперь?.. Неужели она придет, увидит, будет жалеть, сочувствовать, может быть, положит руку на лоб? Нет! Нет! Он замотал головой, точно стряхивая невидимую ласковую руку. Нет! Не хочу! Не нужна мне твоя жалость, твоя милостыня, твоя сострадательная ласка. После того, что было...

Он ушел на улицу и сел на скамейке в сквере. Чирикали птицы, плакали дети. Грузно проезжал трамвай, и Кяткевич вздрагивал. Гул трамвая шел прямо на него. Он рушился, как гора, все утяжеляясь, усиливаясь, наваливаясь. Трамвай стонал, и Квяткевич выпрямлялся. Он глубоко втягивал в себя воздух. Он пытался уловить его вкус. Что-то легкое опустилось на его положенную на колено руку. Он осторожно потрогал другой рукой. То была паутина. Пальцем он покатил ее по руке, радуясь изощренности своего осязания.

Сколько просидел он так?... Час. Десять. Его темнота не была пронизана

временем. Время оставалось в стороне, вне его. Он мог спать днем, выходить ночью, как хорек. Ему это было безразлично. Улица всегда была пуста вокруг него. Его никто не толкал. Ему было обидно это. Он нарочно широко разводил плечами. «Ну толкните же меня! — готов был он воззвать к прохожему. — Я еще мужчина. Я устою на ногах. Потрогай — видишь, какие мускулы. Ты не должен уступать мне дорогу, ты не должен в трамвае брать меня за руку и говорить: «Садитесь! Вот место». Я могу постоять. Я стою так же твердо, как ты. Мои ноги крепки, мои руки готовы поднимать тяжести...» Но не к кому ему было обратить эту тираду. Разве только к тишине, окружавшей его в его собственной запертой комнате. Но и там он боялся, что тишина эта — предательство, что за спиной кто-нибудь стоит, кто-нибудь, кто дышит так легко, что даже его изощреннейший слух не улавливает шороха.

Он не хотел видеть друзей. С фронта он не вернулся в родной город, а приехал сюда. Орден давал ему право на жизнь, на уважение... Но с друзьями он не хотел встречаться. Ему казалось, что они будут улыбаться, строить друг другу гримасы, пересмеиваться. А теперь она! Зачем, как это могло случиться? Ей будут смешны его неумелые, нелепые движения, погрешности его костюма, странности его комнаты, которых он сам не знает. Она засмеется. Но нет, она подавит смех. Только забытая улыбка останется на лице.

Он вернулся домой. Здесь не было ни щебетанья, ни плача, ни трамвая. Мир опустел. Квяткевич замкнул за собой дверь и зажег электричество. Бесцельное и обычное это движение заставило его содрогнуться. Он кинулся на кровать... Но нет, кинуться он не мог. Он должен был медленной походкой подойти к ней, нащупать ее, затем неспеша улечься. Он был лишен всей серии резких движений, ударов, рывков. Он не мог стукнуть кулаком по столу, в гневе отшвырнуть вещь, захлопнуть за собой дверь. Он был обречен легким, медлительным жестам, неуверенным движениям.

Теперь настало время обдумать все. Как избежать этой встречи? Как отклонить ее? Он лежал на боку. «Нужно все вспомнить, — решил он. — Что было?» Первым он вспомнил ощущение легкого покачивания. Лодка качалась, ладони его горели от весел, скрипели уключины. И вдруг желание тогдашнее, свирепое желание пронзило его. Он ощутил тело ее рядом со своим. Темнота соединяла их. Он перевернулся на своей убогой постели, пружины врезались ему в бок, но он не заметил.

«Что же это со мной? — со стыдом и болью подумал он. — Нельзя ведь этак. Это ни на что не похоже». Он встал, опять лег, но желание не покидало его... Сладостный, неистовый огонь пробежал по его телу. Он напрягался набирал воздух, кривил рот и вдруг заплакал коротким горячим плачем. Но слезы не затуманили его глаза. Темнота царила попрежнему — темнота и желание.

— Я не смею, — говорил он. — А вдруг она придет, подарит меня этой оскорбительной жалостью, и я схвачу ее за руку, попытаюсь поцеловать, и поцелуй мой угадает в пустоту. Как это смешно, жалко, противно... — По привычке он говорил вслух, но испугался и замолчал. — Ну что же тепер? Дальше что?

Квяткевич провел руками по своим небритым щекам. Он встал, вышел в свою кухонку, нашел кран и отвернул его. Он подставил руку. Легкое колебание окружило ее. Тонкий, всепроникающий запах обволакивал его... Он запер дверь на ключ и вышвырнул ключ в окно. Затем он ушел обратно в комнату и лег на кровать. Он укрылся с головой одеялом, но потом снял его, чтобы оно не мешало газу и смерти проникать к нему.

Еще раз Гамбаров потянул в себя воздух. Да, сомнений не было. Тишина за дверью была пропитана смертью. Часы — единственное, что двигалось в этой комнате. Часы — время. Предметы еще жили. Трещал своей неугомонной дрелью сверчок. Вздыхали половицы. Поскрипывала кровать. Человек был мертв.

3

Тогда Гамбаров закричал:
— У Квяткевича газ!

Он оглянулся. Никого в коридоре не было. Он навалился на дверь. С треском она распахнулась. Гамбаров вбежал в комнату.

Горела лампа без абажура. Видимо, слишком резкий свет ее никому не мешал. Окно было распахнуто. Легкий ветер прогуливался по комнате, пошевеливая бумаги на столе. Но странным было не это. Кваткевич не лежал на кровати, как того ждал Гамбаров. Он сидел за столом. Положив на бумагу линейку, он медленно писал, подняв глаза кверху. Он вскочил навстречу входящему и вынул из ушей вату.

— Газ?.. — спросил он. — Да, б[illegible] утечка, но я открыл окно.

Гамбаров не вышел вместе с другими, и Кваткевич, очевидно, чувствовал, что в комнате кто-то есть. Он не садился и стоял лицом к Гамбарову, держась за спинку стула.

В комнате слепца было нечто неестественное, что раздражало Гамбарова, вносило сбивчивость в его впечатление. Он вскоре понял, в чем дело. В комнате отсутствовала симметрия. Стул стоял посреди нее. Подушка на кровати лежала наискосок. Все было аккуратно, чисто, но как-то неестественно.

Что вы пишете? — спросил он Кваткевича. — Простите, что я так вторгаюсь, но я очень взволнован.

— Пожалуйста, — сказал Кваткевич. — Я пишу «Марш жизни». Музыку. Вот видите.

Он с готовностью протянул тетрадь вбок, туда, где предполагалось местонахождение Гамбарова.

Гамбаров прочел строку странных обозначений.

«До –1, ре-... —16, бемоль... гро...»

— Вы так записываете ноты? — спросил Гамбаров. — Вы учились музыке?

Учусь. В консерватории. По классу композиции. Ужасно, знаете, трудно так записывать. Вдвое больше расходуется времени. Вот если б устроить бумагу с выпуклыми линиями. А то приходится подкладывать линейку и писать вместо нот слова... Но это все равно. Должен же я написать мой марш жизни.

- «Марш жизни»?

— Да! Понимаете, есть похоронный марш — его играют, когда умирает человек. Есть «Интернационал». Это музыка, которой подбодряют себя восставшие. Но вот марша жизни — такого нет. Он нужен, когда замыкается последнее перекрытие в новом доме. Когда рождается ребенок. Когда мужчина обнимает женщину.

— И вы хотите его сочинить?

— Хочу! Музыка в нем должна быть как шум идущей волны, как соленый морской ветер, как рокот толпы, как гудок на заре, как шум пролетающего трамвая. Все радостное, все светлое, что несет в себе каждый звук, каждый шум, я отбираю у них, оставляя им только грохот, грубый и несовершенный. Я собираю с них веселье, тонкость, как пчела собирает пыльцу с цветов. Временами он будет нежный, тонкий, как марля, как крыло стрекозы, как пыль в солнечном луче, потом бравурный, налетающий, как поезд.

Гамбаров слушал и не слушал слепого. Он, пятясь, молча, тишком вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Ему было стыдно.

— Тонкость чувств! — говорил он. — Эмоции! Осел! Только дверь испортил!

Он понимал, что и через два и через три года ему будет очень стыдно вспоминать это сегодняшнее происшествие. «Я уеду из этого дома», — решил он. Но что дом? Что стыд перед соседями? А стыд перед собой? Гамбаров понял, что то, придуманное им о Кваткевиче, на самом деле придумано о себе самом. Это он поступил бы так. Это он вышвырнул ключ в окно и лег на кровать. Это он испугался свидания с женщиной. Это ему страшно, чтобы она, Люба, не увидала его темные пустые глаза.

А слепой просто заткнул уши ватой, чтобы не мешал шум, и сел работать

Неполноценный? Кто же из них неполноценен — этот слепой, сочиняющий «Марш жизни», или он сам, Гамбаров?!

Да, он должен отойти в сторону. Что скажет он ей? Как он ей покажется? Слепому нечего прятать, нечего скрывать. Он не стыдится своей незрячести...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Они пили чай, сидя напротив друг друга — Ольга Максимовна Лерг и Любовь Андреевна Гамбарова. И одна из женщин была вдвое старше другой. Чемодан и корзина, перевязанная накрест бечевой, стояли у шкапа. И обе женщины молчали. Любовь Гамбарова молчала оттого, что была опустошена тою лучшей опустошенностью, какою встречает нас зал ожидания на вокзале, когда билет и плацкарта взяты и вы ожидаете, пока подадут состав к перрону, — опустошенностью, подобной очищению перед новым местом, новым днем, полным надежд и твердости. Ольга Максимовна не угадывала, не знала, какие чувства живут сейчас в Гамбаровой, и она знала также, что чувства эти зреют, и, созерцая Гамбарову, она как бы прислушивалась к ней, как бы становилась частью этого процесса.

И она знала, что молчанье помогает Гамбаровой, что в тишине та занята и своим дыханием и тем, что ожидает ее завтра. Она знала Гамбарову недавно. Однажды в коридоре увидела она мужчину с портфелем и женщину с ведром. Они шли обнявшись. Потом в другой раз женщина шла с ведром одна. В коридоре только-что натирали паркет. Женщина поскользнулась, — нога ее поехала в сторону. Женщина оставила ведро и потерла ногу. Осторожно она наступила на пол и очень тихо сказала:

— Кажется, я вывихнула ногу...

Ольга Максимовна подошла к ней, она довела ее до квартиры.

— Спасибо, — сказала женщина и, взглянув вниз, добавила: — Какая глупость.

Ольга Максимовна вошла вместе с ней в комнату. Она усадила женщину и растерла ей ногу.

— Мне очень неудобно, — сказала женщина, — кажется, все прошло. Давайте познакомимся. Меня зовут Гамбарова... Любовь.

— Моя фамилия Лерг, — сказала Ольга Максимовна. — Вы немного растянули жилу. Посидите спокойно.

Зазвонил телефон. Гамбарова вскочила и запрыгала на одной ноге к телефону.

— Не придешь? — сказала она. — Заседание! Ладно! Ничего особенного, какие у меня происшествия! Всего!

На одной ноге допрыгала она до стула, на котором сидела.

— Простите меня, — сказала она Ольге Максимовне, — я вас обеспокоила.

— Ничего, — ответила та.

Она все еще стояла.

— Вы садитесь, — сказала Гамбарова, — знаете что, пообедайте со мной. Серьезно.

— Пожалуй, — ответила Лерг, — кстати, вы как же будете накрывать на стол? На одной ноге?

Ольга Максимовна принесла из маленькой кухонки суп и разлила его по тарелкам.

Так состоялось их знакомство.

За этим обедом Ольга Максимовна спросила:

— Вы живете с мужем? Вдвоем?

— Да, — отвечала Гамбарова.

И уже после, через день или два, Ольга Максимовна подумала, что это очень тоскливо. «Двое! — Гамбарова сказала... Да! До сих пор люди живут по-двое. Он, должно быть, специалист». Она однажды шла по лестнице и услышала — какая-то дама говорила:

— Вы знаете, жить на партмаксимум просто невозможно.

Ольга Максимовна вздрогнула. Ей перехватило дыхание. Она едва не бросилась вслед за женщиной, едва не обругала ее. И фраза и тон показались ей донельзя оскорбительными, но она не бросилась, но сказала вслед той женщине очень тихо и злобно:

— Очень печально, мадам!

«И вот сейчас — двое. Она готовит ему обед и ждет его, а у него заседание. «Очень печально, мадам!» — но здесь озлобления не получалось. Это было скорее печально. Она ждет его. Изо дня в день. Ее тянуло к Гамбаровой, как тянет всех нас поглядеть на все, что не похоже на нас. Она была стара: ей пятьдесят шесть лет. И она не могла пожаловаться

на жизнь. Из пятидесяти шести лет только последние четыре или пять были труднее других. И она понимала — подошла старость. Появилось множество препятствий: ей приходилось одолевать лестницу, подымаясь к себе на четвертый этаж; стали длинными ночи и коротким сон; не ладно становилось с памятью — она забывала фамилии: «Как, бишь, его». Очевидной становилась старость. Это слегка печалило ее. Она встречала старых товарищей по ссылке, по эмиграции. «Как здоровье?» — спрашивали ее и, хотя она знала, что это не приветствие, а ее спрашивают серьезно, отвечала она как на приветствие. «Ничего. Как вы?» Ее уже не раздражали заботы об ее здоровьи. Она к этим заботам привыкла, как к настойчивому и непреоборимому злу, и не обращала на них внимания. Иной раз они даже умиляли ее. Но для себя она знала, что это последний этап ее жизни, что нужно его продлить подольше.

Она работала обычно допоздна и набирала еще работу домой, думая обмануть бессонницу. Но обманывала плохо: даже наработавшись до того, что глаза ее слипались, она уснуть все же не могла. Обессилев от усталости она лежала закрыв или открыв глаза и воспоминания, вещи и люди шествовали мимо нее чередой, безмолвные и очень понятные. Все представало ей одной своей и важной стороной. Люди проходили, не сгибаясь, сразу в нескольких одеждах и обличиях, не изменяясь, а как бы сочетая в себе сразу несколько возрастов.

И в такую бессонную ночь Ольга Максимовна подумала и о Гамбаровой, и ей нужно было усилие, чтобы отделаться от мыслей о ней. Она чуть не говорила: «Обывательница, жена спеца, что мне до нее? Если бы даже я захотела, что смогла бы я ей доказать? Что я прожила вдвое больше ее, и мне стыдно, что в наше время и в нашей стране вас двое — вы и ваш муж. Вы понимаете, что это нище и мало». И еще Ольга Максимовна Лерг понимала, что ничего не скажет Гамбаровой, если даже и встретится с ней.

Они здоровались, встречались и коротко разговаривали. Однажды в доме, где они жили, собиралась фракция. Ольга Максимовна увидела там Гамбарову. Она удивилась. «Зачем она здесь?» Гамбарова, поговорив с секретарем фракции, ушла. Ольга спросила у секретаря:

— Зачем была здесь товарищ Гамбарова?

Он ответил:

— За мужа. Принесла записку. Занят, не может посетить.

— Он член партии? — спросила Лерг.

— Да, — отвечал секретарь.

Секретарь, очевидно, уловил удивление в ее голосе. Он спросил:

— Вы имеете что-либо против?

— Ничего, — сказала Лерг и отошла. И после того Ольге Максимовне представлялось, что нужно пойти к Гамбаровой, что в тишине, царящей в гамбаровской квартире, живет такое, что должно обернуть наружу. «Это вредное явление!» — сказала она.

Она зашла к Гамбаровой однажды утром в выходной день. Гамбарова только что, должно быть, вернулась из продуктовой лавки. На столе лежал кочан белой капусты, несколько кульков и большой тетерев. Гамбарова обрадовалась ей. Ольга Максимовна хотела было извиниться, что зашла в неурочный час, но почувствовала, что можно обойтись и без этого. Она села, внимательно следя за тем, как убирает со стола Гамбарова. Поспешность и смущение Гамбаровой обрадовали Ольгу Максимовну, точно они относились и к тому, зачем пришла она сюда.

— Это очень странно, — сказала Гамбарова, — у меня почти нет знакомых. Приходят товарищи мужа, но все они сидят не подолгу и смотрят осуждающе, как будто им что-то не нравится.

— Так у вас проходит каждый день? — спросила Ольга Максимовна, — всякий день...

Любовь Гамбарова ничего не сказала ей в ответ. И здесь Ольга Максимовна поняла, что в двух комнатах Гамбаровых живет уныние, что это похоже на бедность, которую тщательно скрывают, запирают на английский замок и цепоч-

ку, и оттого так низко склонила Гамбарова голову.

Тогда же Гамбарова сказала ей, плача, что жизнь ее состоит из ежедневных встреч с мужем и ежедневных одиночеств, и она не знает, что ужасней. Но мужа она любит: он умен и красив и, должно быть, честен. И она показала Ольге Максимовне фотографию, изображавшую молодого человека в папахе и с револьвером без кобуры.

И Ольга Максимовна утешала ее, как могла, а могла она плохо. Ей как-то не приходилось в жизни плакать, да и утешали ее редко, но она видела много чужих слез, и она знала, что разным слезам разная цена, горше же других — тихие слезы. И она ушла от Гамбаровой, и замок за ней защелкнулся с поспешностью, как бы оберегая и скупо охраняя уныние и печаль, обнажившиеся здесь.

2

Сегодня утром к ней пришла Гамбарова. Ольга Максимовна собиралась уходить.

— Я поставлю у вас вещи, — сказала Гамбарова тихо.

— Поставьте, — ответила Ольга Максимовна, — я тороплюсь. Вот вам ключ.

3

Они пили чай, сидя напротив друг друга.

Гамбарова сказала:

— Мне кажется, я должна поговорить с мужем. Он ничего не понимает.

Она помолчала недолго.

— Если бы у меня был ребенок, сказала она, как бы оправдываясь, — могло обернуться иначе.

— Вы ничего бы не выиграли, сухо сказала ей Ольга Максимовна, у вас было бы хуже.

— День был бы полнее!

Тогда Ольга Максимовна встала. Она была взволнована. Она приподняла руку и опустила ее.

— День был бы полнее. И все? Больше вам ничего не надо? Вы стары, Гамбарова. Сколько вам лет? Почему вы заперлись? Это отвратительно! Я обижаю вас.

— Не обижаете, — нет!

— Вы можете пойти об'ясняться с мужем. Но вы будете плакать. Я не видела вашего мужа, но он мне не нравится. Он, кажется, коммунист, и мне немного стыдно. Но вы не должны плакать. Очнитесь.

Любовь Гамбарова взглянула на Ольгу Максимовну, и та была как будто окружена влажным блеском. Блеск тек сверху вниз, он сочился с ее волос, посеребренных временем, темнел книзу, и ботинки Ольги Максимовны были как кусок смолы на солнце.

— Вы плачете, — сказала Ольга Максимовна, — если хотите, я пойду поразговариваю с ним. Хотите?

— Не сейчас, — сказала Гамбарова, это можно сделать после...

4

Но есть еще печаль расставания. На дроги ломовой взваливает последний узел. Тугими толстыми веревками прикручивает ломовой этот последний узел к столу, поставленному вверх ножками. И тогда можно вспомнить, что сквозь это стекло, снаружи такое темное, что трудно поверить в его прозрачность, сквозь него, однако, вы, вставши рано утром, обнаружили, что мостовая вымощена розовым камнем, что стекла напротив, в четвертой трудшколе имени Карла Либкнехта, выпуклы, что это даже не стекла, а правильно и на равных расстояниях расположенные солнца, только тем и отличные от солнца, что свет их не резок, но более приятен для глаза, и что тополь, растущий возле школы, высок и полон мощи. Он реет своей верхушкой над третьим этажем школы, он зелен и шумен. Если приложить ухо к стеклу, до уха донесется шум его листвы.

Но ломовой уже закричал: Но-но! и зачмокал губами. Вы уходите, и эта печаль расставания идет за вами следом. И самое большое, чего заслуживает ваша печаль, — остановитесь, взгляните на край дома, и вместе с ломовым крикните: «Но-но!»

А печаль будет итти за вами, печаль, о которой поют: «Разлука, ты разлука...», ее обозначают еще желтые цветы, будь то желтая ромашка, одуванчик, болотная роза. Но она утихнет, и Любовь Гамбарова знала, что она утихнет, минет, и сожаление ее, может быть, обернется

аслуженной нелюбовью. Потому что в той печали всегда есть и смутная, недоерчивая, еще не смеющая утвердиться адость, радость встречи, открытия ноых дорог.

- Не пойду, сказала она с трудом, — я не боюсь, что расплачусь, но я учше напишу.

5

Она услышала крик. Кто-то в кори е кричал.

- Вы ничего не слышите? — спросила на у Ольги Максимовны.

— Ничего, — отвечала та, сть туга на ухо.

— Нет, это мне, кажется, почу сь, — сказала Любовь Андреевна одошла к двери.

Она не открыла двери отчего-то, прислушалась. Тишина...

— Кажется, ничего, — пробормотала она.

И вдруг она услышала голос мужа и топот, потом треск как бы ломаемого дерева. Она приоткрыла дверь и выглянула в коридор.

Сердце ее билось громче обыкновенного. Она и сама не могла бы сказать, чего она ожидала, выглянув за дверь, и, тем не менее, ожидание стало коротким и очевидным: оно схватило Любовь Андреевну и сейчас с неохотой отпускало ее. Любовь Андреевна постояла у двери и сказала:

— Там что-то странное делается. Я сейчас вернусь.

Возвращение

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Скитания его кончились. Будь он сейас способен на вежливые и холодные азмышления, он бы, может, подумал о ризрачности расстояний, о том, что омната стоит как будто на том же месте и в тысяче верст от старого места, том, какой длинный путь он совершил, ерез какие большие версты пространтвовал — от двери до двери, как от дной узловой станции до другой. Мноество холодных и тонких умозрений оследовали бы перед его сознанием. о ему некогда было размышлять об ом. Мысли его вращались и гудели в о мозгу так громко и быстро, что он лышал их грохот, как будто и впрямь ам вращались колеса, шестерни, жерова.

«Ну так что же? — спрашивал он сея, — что же теперь? Дальше-то что?»

Он приоткрыл дверь, он глядит, стоя а пороге, в свою комнату. По машинальой привычке он сосчитал фиалковые укеты на обоях в одном ряду от панели до кровати. Их было девять, как вседа. Он обернулся. Зеркало отразило его ицо, чуть-чуть бледное, и рядом с лицом оместилась такая же обыкновенная елоая веточка в кувшинчике. Все было таим умилительно знакомым, обычным, невозвратимо далеким, все так еще оставалось в прошлом, в том прошлом, от которого последние три часа отринули его навеки, что ему стало еще страшней, еще горше, еще тягчайшая обида поднялась в нем. Все было так легко исправить, остановить, все еще оставалось столь близким. Час... Два... Три... Несколько лишних слов, взглядов, жестов... Все было так далеко, так неотвратимо и отчужденно, все кончилось столь непререкаемо, столь незыблемо, как намогильный холм, как разбитая вещь. Да, именно так жизнь разбилась вдребезги, как стакан. Осколки валяются повсюду. Комната — осколок. Она существует... Все то же стекло, даже сохранились на нем узорные оспины; другой осколок — Люба; третий — он сам. Тысячи других, более мелких, валяются вокруг, — вот эта еловая веточка, вот этот портфель. Да, и портфель! Ведь не только Люба! Все, все, что с таким трудом воздвигал он, — все рассыпано.

Кончено! Больше он не Александр Николаевич Гамбаров, нет, завтра даже фамилия у него, может быть, будет другая. Ничего не решено. Завтра... А осколки — не стакан. Можно подобрать их, все смести веником, сложить аккуратной ку-

кой. Какое опровержение, — он готов был улыбнуться. Вот когда сумма частей не равна целому.

«Но что за пустяки!». Он остановил себя, свою улыбку, свои мысли. «О чем это я думаю... Разве сейчас важны эти метафоры, эти риторические красоты. Что я, готовлюсь к докладу, что ли? Доклад о товарище Гамбарове и его многочисленных несчастиях... Нет, нужно подумать о самом главном, о том, что меня ждет, о том, что делать». Он возвращал себя, свою мысль к самому простому, жестокому, страшному. Ему хотелось обнажить происшедшее от всех прикрас, от всех фальшивых, блестящих и бренных одежд. Лицом к лицу. «Я готов стать лицом к лицу. Я хочу этого».

У человека ушла жена, женщина с голубыми глазами, утрачена любовь. Что остается?.. Вера? Желание бороться? Но во что верить? С кем бороться? Он даже в пульс не верит, он даже с Дегтярным не хочет бороться.

Вернуть? Не вернешь! Теперь он понимал это ясно. Дело вовсе не в том, чтобы обойти девять квартир, чтобы объехать полмира. В первый раз он постиг вдруг эту страшную и странную изменчивость женских чувств. Через вчерашнюю страсть они переступают так же легко, как через сброшенное, упавшее к ногам платье. Поцелуи не оставляют следов ни на их розовой коже, ни в сердце. Опять злоба обуяла его, странным образом смешанная с желанием. В сердце своем он опять был вместе с Любой. Стройные ноги ее уходили вверх, как две дороги к наслаждению и, задыхаясь, он взбирался по этим ослепительным дорогам. Отдаление, отчужденность усилили его любовь, обновили ее. Рядом с этой утратой неважными и мелкими становились остальные. Бежать к ней встать на колени, забыть все — гордость, силу, решимость.

Плакать, просить, обещать. Твердить, что ему ничто больше не мило, что хоть из жалости, но еще раз, один только раз она должна побыть с ним, быть его, иначе ему не жить. А там все равно! А там не расти трава!.. И она придет, она пожалеет... Он вскочил и подошел к двери, но остановился. И не стыд, не робость остановили его. Не стыд, не робость, а безнадежность, а тупая ясность его отчаяния, скучная безысходность. Итти не к чему, говорить нечего. Она не вернется.

— Саша! — сказала Любовь Андреевна.

Она стояла позади. Он обернулся.

— Что случилось? — спросила Любовь Андреевна. — Ты закричал. Я выбежала...

«Я ищу тебя, Любовь, — хотел сказать он, — я хочу сказать тебе: я пропал. Зачем ты бросила меня? Я люблю тебя!» Но он молчал: он даже не глядел на свою жену.

— Я думал, — тихо сказал Гамбаров, — что этот слепой Квяткевич покончил с собой, — оттуда, из его квартиры, просачивался газ. Понимаешь?... И я созвал людей. Ничего подобного! Он пишет «Марш жизни».

— Саша!..

Голос Любы тих и горек. Гамбаров идет рядом с ней по коридору. В окне уже растаяла звезда. Улегся ветер. Крыши белы.

— Нам не жить вместе. Меня тянет к тебе привычка. Я борю ее, Саша. Жизнь вдвоем с тобой получается очень... да, очень... однообразной, утомительной и слишком долгой. Ты понимаешь, Саша?

— Да, — говорит Гамбаров.

— Я бы смогла, может, жить так. Вообще где-нибудь там. Наверное смогла бы... но рядом... Ты видишь, Саша, рядом, стена о стену, живут другие. Можно жить годы, не замечая ничего, но если раз заметишь, Саша... Трудно тебе все сказать. Я в сто двенадцатой квартире. У Ольги Максимовны Лерг. Ей шестьдесят лет, Саша, и она удивительная женщина. Я буду работать.

Гамбаров не мог слушать дальше.

— Что ты думаешь? — говорит Гамбаров. — Мне трудно постелить себе постель, приготовить кофе или стакан чаю? Я куплю электрический прибор. Спираль. В три минуты все будет готово. Мне трудно обедать в столовой? Или я не жрал картошки без масла? Кашевары, что ли, приучили меня к деликатесам? Я не знаю, как люди кладут под голову седло или кулак, Люба?

— Я готовила кофе, — настойчиво и даже зло говорит Люба. — Я тебе скажу, если на то пошло... Я стелила постель — и все. А ты работал.

— Замолчи! — говорит Гамбаров.

Он чувствует, что его слова не нужны Любе, не проникают в нее, что они произносятся в пустоту. Она стоит вне их: они не достигают ее. Вернее, она улавливает только их внешний, звуковой смысл. То, что он хочет передать ей, — ей не передается. Разомкнулась какая-то бывшая прежде спайка, и эта страшная отчужденность, эта невозможность быть понятым озлобляли Гамбарова. Он говорил все громче, он как бы кидался вперед и всякий раз отступал, отброшенный. Успокоение его минуло. Он вновь вернулся к тем чувствам, какие владели им два часа назад, тотчас после ухода Любы. Волнение его возрастало, и он не только не пробовал с ним бороться, но с радостью отдавался ему. Отныне он свободен, он не обязан рассуждать, взвешивать, обдумывать. Пусть гнев увлекает его за собой, несет его с собой, двигает им, подымает его. И он уже не слышит своих слов, он не прислушивается к ним.

— Замолчи! — вдруг закричал он Любе, радуясь, что у него такой громкий голос, что он умеет кричать, что такая веселая грубая злость одолевает его. — Замолчи! — еще раз закричал он.

Но Люба и не говорила ничего. Она молчала. Она сказала все, что могла, все что должна была сказать.

— Я пошла, Саша, — говорит она.

И он не бросается за ней вслед. Он прислушивается к стуку ее каблуков. И тогда под этот стук рождается мелодия. «Марш жизни», — сказал Кяткевич. Негромкая вначале музыка усиливается с тем, как все тише и отдаленнее становится стук ее каблуков о паркет. И это же расстояние заглушает стук — это марш жизни: громкий, счастливый и уравновешенный.

Чьей жизни? Уж не его ли, Гамбарова, жизни? Он не хочет этой музыки. Она враждебна ему.

— Люба! — закричал Гамбаров.

Спокойствие отлетело от него. Короткое бурление прошло по его телу. Люба остановилась. В полуоборот она повернулась к Гамбарову. Не говоря ни слова, она ждала. Он медленно подошел к ней, еще не понимая зачем.

— Ну, ладно! — сказала она с неожиданной мягкостью. — Ладно! Не огорчайся! — Она протянула ему руку: — Все уладится!

Он взял ее за руку сперва мягко и почти робко. Но вдруг он рванул Любу к себе. От неожиданности и силы толчка она не устояла и схватилась за него рукою, чтобы не упасть. Он резко встряхнул ее за плечи. Не помня себя, он кричал какие-то слова, которых ни она, ни он не слышали. Слова эти были бессмысленны.

— Я уеду на тракторе! — кричал он. — Я на тракторе уеду! Ура!..

Крича так, он встряхивал ее все сильней. Резкий красный свет наполнил его мозг и зрение. Он заплакал горячими злобными слезами.

— Оставь меня! — закричала Люба, пробуя вырваться. — Оставь, мне больно.

— На тракторе! — крикнул Гамбаров.

Он тряс ее за плечи. Она рванулась. На одно мгновение он отпустил ее, но тотчас же схватил вновь.

— Я закричу, — плача сказала Люба, — я сейчас же, сию минуту закричу.

Она рванулась опять. Гамбаров сжал ее сильнее.

— Не кричать! — сказал он торопливо.

Он схватил ее за горло, но не сжал его, а задрожал, ослабел.

— Товарищи! — закричала Люба.

Она забилась в его руках. Она мотала головой из стороны в сторону, а руками упиралась в грудь Гамбарова.

— Не кричать! — повторил Гамбаров.

Он говорил это с испугом, чувствуя, что ни задушить ее, ни отпустить он не может и боится. Он хотел сейчас тишины, молчания. Он даже просил ее не кричать.

— Товарищи! — пронзительно закричала Люба.

И тогда мгновенно, подобно электрическому току от пальцев к телу, к голове ринулась ярость. Она кричит, чтобы погубить его. Чтобы все выскочили и

схватили его, Гамбарова... Он ничего не слышал, кроме ее сдавленного дыхания, ничего не видел, кроме ее вытаращенных глаз. Его тянули прочь. Кто-то ударил его в спину. Он сразу бросил Любу.

— Вы что?! — кричали ему угрожающе. — А?.. Вы это что?!

Но ведь он ничего не сделал Любе. Это она нарочно потирает рукой шею, она говорит им что-то. Вот Мартынов поддерживает ее с одной стороны и Володя, агитпроп, — с другой. Стогов держит ее за руку, Иннокентий за другую. Лерг хватает Любу и уводит.

— Подождите! — кричит Гамбаров. — Стойте. К трактористам, Любовь Андреевна? Активистка!..

Он искал фразы, самой оскорбительной, самой беспощадной.

Но Люба уже скрылась. Ее нет. Его вталкивают в комнату. Он попытался было сопротивляться.

— Как вы смеете? — пробормотал он. — Отпустите сейчас же!..

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Камень окружал его. Время, стена, одиночество, — все было из камня: каменное одиночество, каменная стена, каменное время.

Некогда он уже стоял здесь. Две меры предлагались ему на выбор: год и час. Первый раз он стоял здесь в 1928 году или три часа назад. И, в сущности, это было одно и то же. Год или час, но в этот промежуток вместились десять дверей, десять решений, десять испытаний, и эта третья мера была единственной.

Да и вообще... «Время проходит», — говорим мы, не задумываясь. Какая глупая ложь, какая смешная ошибка. Проходим мы, время остается. Единственное, в чем не смеешь усомниться, простирающееся за пределами природы и проникающее в мельчайшие пустоты, заполняя их собой, смешанное и с воздухом, и с нашими мыслями, оно везде, и везде, оно одинаково — ровное, колеблющееся, бесцветное и неотвратимое время. Время надвигается на нас отовсюду. Вот в углу комнаты что-то невидимое дрожит и переливается — это оно. Вот там, в безмерном далеке, тоже плещется и шумит, и течет, как море без берегов, — оно же, время...

Но, к делу... Гамбаров стоял в середине коридора, на площадке. Он опирался о стену, потому что больше не на что было ему опереться. Но и стена не спасала его от странной сумятицы, творившейся в его сердце и в чувствах. Раньше все было решено, для каждой вещи он знал название, оценку, материал. Сейчас он не мог бы утвердительно сказат ни о чем. Все понятия, знания оставили его. При нем находились только несколько несвязных и даже не очень нужных слов. Несколько было французских, хотя язык этот он забыл много лет назад. «Mercredi», — говорил он. — «Ботинки». Но слова эти были какие-то несуразные и начать с них мысль он не мог. А меж тем мысли были нужны. Пора было подумать обо всем, пора было вернуть себе ту ясность, которая царила в нем всего три часа назад. Даже еще после ухода Любы все было понятно. Ну, женщина ушла к любовнику. Трудно, невероятно, но возможно и даже обыденно. Больше с того времени не было событий, только встречи. Или, вернее, было одно событие, — он встретился с людьми. Он вышел из своей комнаты. Тут он вспомнил, что за последние несколько лет он видел людей только в трех вид[illegible] собрании, у себя в кабинете — п[illegible]телей и в толпе: в трамвае, в ки[illegible] окна, на улице. Кажется, он даже забыл, что у них есть еще жизнь, кроме этой. И вот, достаточно оказалось не войти в нее даже, а только прикоснуться, всего лишь ступить на порог, и все незыблемое обратилось в пыль, несокрушимое — в шаткое, ускользающее; ясность — в пар, в туман. Стена — единственное, во что он еще мог верить, что мог ощущать, но и для нее он забыл название. О закономерности не стоило и говорить. Мысли пробегали вокруг него и мимо, не даваясь в руки, то возвращаясь, то отлетая навсегда; смятение мешало начать обдумывание. Такое мучительное состояние бывает у

пьяного, знающего о том, что он пьян, силящегося отрезвиться, с отвращением взирающего на жалкие потуги и выкрутасы собственных членов и бессильного обуздать их, противостоять им.

Вот они: Гамбаров снова увидел их всех, одного за другим. Как цирковые борцы, проходят они парадом. Лурих — чемпион мира! Клеменс Булль — чемпион Англии! Иван Поддубный — русский чудо-богатырь!

Борцы выходили без музыки. Довгелло первым. В больших сапогах, в кожаной куртке. Он с банкой прошел за водой. Вот девушка, та, что горюет в числе десяти процентов. Каблучки ее стучат, в руке она держит письмо. Верно, написано в том письме: «Работа у нас идет успешно. Привет, Володя...» За Женей уверенной поступью вчетвером, в обнимку вошли три колхозника и девочка Оля. Ноги их ступали твердо, глаза были широко раскрыты, ворота расстегнуты. Появился и знаменитый трактор. Но тут выскочил Дегтярный, в туфлях с меховой оторочкой, с большой сияющей запонкой у голого горла. Гоголем вышел он из своей квартиры и, увидев Гамбарова, разом смяк, снизился и, пригибаясь к земле, не прошел, скорей проскользнул, растаял, притворяясь, как будто его вовсе даже и нету здесь, а только так, одна видимость. Люди выходили из всех пройденных дверей. Слепой, нащупывая перед собой землю, выступал, бренча на мандолине. Он играл свой марш. Двигались Мартыновы, отец и сын, оба неуклюжие, тяжелые, оба одного роста и ширины... Последними шли профессор с женой. Они тащили свое жалкое богатство. У профессорши тряслись красные, жирные щеки. Профессор храпел и хрипел под тяжестью турьих рогов. Сын шел за ними следом, несколько поодаль.

— Куда вы, глядя на ночь? — проговаривал он равнодушно, — оставили бы до утра.

Он уже примирился с потерей. Ему нельзя было расстраиваться слишком долго. Надо было беречь себя...

...«Клеменс Булль—чемпион Англии»— опять подумал Гамбаров, глядя на молодого человека.

Со всех сторон его окружали те, с кем разговаривал он еще так недавно. Голоса их были ясны, лица молоды. Они смотрели прямо на него так пристально, так невидяще, что ему хотелось обернуться. Точно там, за его спиной, было нечто, видимое им и сквозь него, нечто, что он заслоняет, закрывает собой. Снова они говорили ему все, что он уже слышал, но говорили ясней, закругленней, горячей. Он только успевал повертываться из стороны в сторону, выслушивать то одного, то другого, и опять он не находил ответов. Слова его были туманны и жалки, и он сам не верил себе и не слушал себя.

— Вот один из них.

— Тебе повезло, товарищ Гамбаров,— говорит он, — ты воевал уже, когда я еще был младенцем. У тебя был конь, пистолет, сабля. Поводья ты держал в руке, и все дороги были тебе открыты. За что? Я завидую тебе! Мы родились нелепо, думал я, слишком поздно для боев и слишком рано для тризн и пирований. Но теперь моя зависть кончилась. Вся вышла. Сегодняшняя третья революция — наша! Нам подарила ее история. Спасибо старухе, веселый подарок, замечательный ящик с музыкой! Коня! Конь годится. В плуг его — тракторов не хватает. Пистолет в карман в пиджак. Мы воюем в пиджаках. Саблю повесим на стенку, для воспоминаний и украшений и будущей драки. Вечером на ней великолепно блестит лунный свет... Твоя очередь завидовать, товарищ Гамбаров. Сдавай саблю, пора!

— Но она у меня давно в диване! — сказал Гамбаров. Он робел. — Да, может быть, я и завидую вам. Не потому, что вы правы, в правоте я сомневаюсь, а вашей ясности. Если я не верну своей я постараюсь обрести вашу. Но сейчас мне не до того. Честное слово, я несчастлив. Меня нельзя трогать и не нужно. Дайте мне догоревать.

— Ваше горе — не горе, товарищ, — сказала Женя. — Ваше горе не существует. Что случилось, наконец? Почему такие страдания? Жена не хочет спать с вами? Только и всего? И этого достаточно, чтобы метаться, чтобы падать со скамейки, перерешать все вопросы, пере-

пробовать все пути?.. Мелко плаваете, товарищ Гамбаров! Немного вам надо!

— Оставьте меня. Пусть это горе мало — но оно мое! Отдайте мне его. Я хочу горевать, как умею, как могу. Это мое право, моя обязанность

— Правильно, Александр Николаевич, — поддержала его профессорша. — Посмотрите на них. Их души и сны полны металлом. Да и сами они из металла. Наша судьба принадлежит нам. Наши горести и радости принадлежат нам. Во сне я могу видеть, что хочу. Нельзя создавать главное управление снов и бессониц и рассылать сновидения и грезы на дом, согласно ордеров, в оригинальной упаковке, перетянутые розовой ленточкой...

— Вранье! — перебил Довгелло, какого металла? Механический человек не годится. Я пробовал.

— Но его не создают.

— Нет, неправда. Вы претендуете на звание человека, вы, устрицы, полные слизи и слякоти. Мы живы. Но разве человек обязан дрожать над своей судьбой, над своими рогами, супружескими или турьими? Огорчаться вздорожанием зеркальных шкапов, радоваться приезду жены из деревни?.. Все это отлично, и жена и шкап... Но настоящий человек— не это. Это тот, кого вы раньше звали чудаком, сумасбродом, фанатиком, кого теперь вы зовете иначе... Но это все равно. Человек, у которго все чувства расплавились в одно, все страсти слились в одну, все мысли срослись в единую мысль. Этот человек дышит воздухом, в котором не три вещества, а одно. Он единен, понимаете ли вы это? Маньяк? Сумасшедший? С гордостью я принимаю эту кличку. Бедные, трезвые обладатели здравого смысла и геморроя, зеркальных шкапов и благоустроенной жизни...

В разговор вступил Дегтярный.

— Семья, — сказал он и загнул палец, — семья есть краеугольный камень общества. Семейные добродетели есть первые из добродетелей гражданина...

Гамбарову сделалось стыдно. Его мысли, пусть не сегодняшние, излагал этот плешивый подхалим. Он употреблял отвратительные слова.

Дегтярный продолжал:

— Человек может быть отменным работником и в то же время семьянином. Нельзя отнимать у него простых и теплых житейских радостей.

Оля раньше смеялась. Теперь она возмутилась.

— Какие к чорту радости? — закричала она. — Поймите, все это на смарку, даже не в архив, а в сточную канаву. Тихая радость — штопать носки, растрачивать свою жизнь на бульоны, на коклюшки? Да наконец поймите вы это, дело не в службе, не в работе. Мы изменили весь строй чувств... Вы говорите, ваши вопросы вечны, товарищ Гамбаров? Любовь, старость, болезнь, скука? Да, вопросы все те же, но у нас есть свои ответы. Вы слышали столько же голосов, сколько обошли квартир. Это жизнь, это страна разговаривала с вами. Вы видели нас в радости и в горе, в разлуке и при свидании, вы видели отцов и сыновей, влюбленных и отчаивающихся. При вас мы спорили о союзах и заключали союзы на жизнь. Неужели вы ухитрились не заметить, что все, большое и малое, — все по-иному. Вы говорите — «свое», «бережливость», а мы говорим — «жадность». Вы говорите бездушно — «равнодушность», а мы говорим — «высшее горение, высокое пламя молодости!»

Взгляните. Изберите любой пример. Вещи? Вот как они говорят о вещах — профессор, прошу вас, продемонстрируйте. Или вы уже слышали, товарищ Гамбаров? А теперь здесь. На этой стороне. Оля, в каких сапогах Прокоша? Сколько он получает жалованья? Разлука? Уход любимой? Вы вырезали пронзенные сердца на деревьях в городском саду. Вы исходили немочью и тоской. Женя, в котором часу собрание санкомиссии? Дегтярный, скажите ему, повторите, что есть семья. А теперь вы, товарищ Мартынов.. Вот! Где заявление, старик?

Поймите, страна наша молода, как мы сами. Мы родились вчера. Миллионы людей вошли в жизнь. Нет, не вошли, вломились, ворвались, стеной, лавой, как в кавалерийскую атаку. Кони ржут, сабли сверкают, огонь, гремят подковы,

рассыпаются гравий и искры, из-под топота копыт пыль по полю летит... А тут березка, закат, голландское отопление, двухспальная кровать... Поймите, ничего нет! Ничто не дорого, все в огонь, все трын-трава, нипочем все... — Она задыхалась, не успевая за своими мыслями.

— Слушайте, — перебил ее Гамбаров, — вы говорите огонь. А если огонь потушен? И спаленка, и даже камин где-нибудь в глубине, за экраном? Ночной столик и на нем виноград? Простыни свежие, теплые. И ясное ровное дыхание рядом! Или, скажем, так... Лодка. Река догорает вместе с небом. Легкие круги на воде, легкие облака — набегут и разойдутся. И вечер опускается так медленно, так ровно, так остерегаясь нарушить безмолвие, неосторожно коснуться.

— Бросьте, Гамбаров! Какая там река? Хотите, я расскажу вам о городе, в котором я живу? О его стеклянном небе, о людях, которые утром на заре выходят в сад, полный воздуха и мокрой тяжелой сирени. О городе завтрашнего дня, о нашем городе... Смеетесь? Думаете, чудак заврался? А ведь это вы не видите даже того, что видит он, — Иннокентий указал на слепого. — Всмотритесь. Сквозь эти стены проступают легкие и точные очертания других построек. Смотрите: я заношу ногу над своим порогом — это я занес ее, чтобы шагнуть в будущее. Оно живет рядом с вами, в одном городе, в одном районе, в одном доме, стена об стену. Вход в него с Арбата. И я в нем прописан. Улица 113.

Но что толковать?.. Все равно. Подошла новая великая проверка. Новым огнем испытывает нас всех время. Ну, и все сразу ясно. Виним ли мы вас? Сердимся? Но еще требуем, признайтесь сразу. Скажите: мне с ними. (Он указал на Леонида, профессора.) Скажите и отойдите прочь.

— С ним? Но я стрелял в таких, — Гамбаров даже отшатнулся. Но и в самом деле участники разговора располагались и одесную. Рога были наведены на молодых, как пушки. Слепой ощупью пробирался к своим. Гамбаров оставался посредине. Профессорша тянула его за рукав.

— К нам, — говорила она, — к нам! Вы наш!..

Он не видел ее. В нем поднялось злорадство. Ах, так? Он чужой? Он обречен на одиночество, говорите вы? Неправда! Одиночество здесь ни при чем! У него тысячи друзей! Толпа! Весь мир! Это вы одиноки, вас кучка!.. Вот женщина, — она тянет его за рукав. — «Их души полны металла», — говорит она. «Отдайте мне мои рога — я их скопила». Это друг. Вот тот, с красной сияющей запонкой у горла — все они друзья.

Он готов был обратиться к ним и, презирая их, сказать: «Я иду к вам, дорогие, привет! Среди вас я первый!»

— Кто скажет, что я не стрелял, когда нужно было стрелять. Кто скажет, что я не пытался пролезть сквозь игольное ухо! Я тащил, говорите вы, весь запретный, отрешенный скарб старых чувств и дум. Мне надлежало сбросить этот мешок, этот багаж? Однако поймите, чорт побери, это не мешок! Это горб! Его нельзя стесать! Он прирос на-веки...

Гамбаров устал.

— Я сдаюсь, — сказал он. — Я из них, из той половины. Все равно. Они мне противны, но наплевать. В молчании я до конца пойду по своей дороге. Пусть мимо нас проносится жизнь, вся в свете и громе, подобная поезду, на который у нас нет билетов. Нам остается полустанок; уютный, поросший травой, где бродят козы, где убивают за копейку, где можно все-таки быть первым и выходить на перрон в красной фуражке. Я остаюсь на полустанке. Точка.

Тщательно вспоминая все свои старые аргументы, он говорил:

— Я не хочу. Пусть вы замечательные, блестящие, но у меня просто дыхания не хватает. Да и потом мне скучно с вами. У вас и слова все скучные.

— А у меня все весело! — с ребяческой упрямостью повторил Гамбаров.

— Неправда! Не весело! Ты живешь день, а мы вечность. Да и день твой отравлен мелкими и глупыми несчатьями, которые для нас не существуют. Вот сегодня, что погубило тебя, что вышвырнуло тебя вон из твоей спаленки? При-

знайся, ведь все твое рухнуло. Ты построил сам, ты говоришь, молодец, здо... ов строить, что и говорить — замысел Наполеонов! Но ведь свод-то не Наполеонов... его Никита-печник выкладывал! Вот как! А наши не рухнут. Отнюдь!

— Значит, спаленку не нужно? Согласен? К чортовой матери спаленку! А женщину как? Резиновую? Между двух блюд — первым и вторым? А продолжение рода? В стеклянных банках? Гомункулюсы? — он кричал визгливо и нехорошо. И, крича так, он ждал, когда же, чорт возьми. Да позовите же меня!— готов был он сказать.

— Паясничаешь, Гамбаров, — строго и глухо неожиданно сказал Мартынов. Впервые заговорил слепой.

— Довгелло сказал правильно: мечта о квартирке или о каракулевом пальто— нехитрая штука. А вот город построить из мечты и поселиться в нем, да так чтобы не мочил дождь...

Последних слов Гамбаров не расслышал. Он вдруг с ужасом и недоумением увидел, что все они, стоящие слева, похожи на него, что Дегтярный в его туфлях, что Леонид улыбается его улыбкой, что даже на профессорше его собственное лицо. Вот он узнал свой пробор. Его лицо. Оно у всех у них. Черты их все больше стираются, сдвигаются, все больше приобретают сходство с его чертами.

— Я потерял себя, — хотел он закончить, — и не мог, — оставьте меня.

Но они надвигались ближе, грудились все тесней. И их вырастало все больше. Они троились, четверились, отделялись от стены, они теснили его, перехватывая воздух, который он хотел вдохнуть. Он задыхался. И он не был первым. А если и первым, — все равно, ему было стыдно и нехватало воздуха.

— Отпустите, — закричал он, криком разрывая себе грудь и рот. С силой рванувшись, он отскочил. Он хотел было схватить Иннокентия за рукав, чтобы повиниться во всем, смириться, обрести былую скромность и спокойствие, войти в ряд, но тут все разом сгинуло так же внезапно, как и появилось.

Гамбаров стоял один. Собеседники его рассеялись. Впрочем, и читатели, должно быть, заметили, что их и не было. Иные из них вовсе не выходили, другие — профессор с женой (они все-таки уносили рога), агитпроп Володя — проходя, только поглядывали удивленно: дескать, встал человек, уперся, как пень, а чего встал — неизвестно... А если бы стали они толковать с Гамбаровым, то, так как с ним рядом не было ни суфлера, ни автора, слова их были вовсе лишены всякой приподнятости, торжественности. Да и никто бы не старался доказать Гамбарову, об'яснять, слишком все было ясно, об'яснено, доказано. И наши герои говорили бы с Гамбаровым не так, как то представлялось ему, а так как мы заставили их говорить в предыдущей главе. Опять Стогов сказал бы: «В центре, в городе Москве!..»

Опять посмотрел бы на часы агитпроп Володя и отправил Гамбарова прочь спать. Потому что и для героев, как и для автора, ясно — никакого Гамбарова не было; он понадобился только как связка, как скрепка, на которой главы романа держатся, как листы канцелярского дела; он нужен, как повод, как приманка, и нужен только в романе.

Разговаривали двое — Гамбаров и автор. Или, если хотите, Гамбаров один говорил и за себя и за спорящих. Он сам убеждал и переубеждал себя. Он искал тщетно. Одно только было найдено. Потеря всего. Он потерял прошлое — все было перечеркнуто двумя косыми чертами. Он не знал будущего и не знал, чего желать. Одно настоящее оставалось ему, а настоящим была лестничная площадка, экономическая лампочка в двадцать пять свечей под потолком, об'явление управдома. Впрочем, это можно сказать и иначе: прошлое — оно все-таки когда-то существовало. Будущее — посмотрим, каким оно предстанет. А настоящее — ничего не было решено.

...Гамбаров прижался к двери. Он понимал — говорят о нем. Постояв минутку, он огляделся, сразу присел и прижался ухом к скважине.

— Вопрос надо поставить,—услышал он, — на бюро...

— Поставить! — пробормотал Гамбаров, подымаясь. — Ставьте... на бюро.

«У него в комнате стоит бюро. Шведское, трехсотрублевое. На него надо поставить вопрос. Пусть стоит!»

— Пусть стоит! — пробормотал на ходу Гамбаров.

Эта сумасшедшая мысль овладевала им все с большей силой. Свет и тени впереди соединялись, образуя подвижный туман. Черный вопрос... На бюро...

Гамбаров выпрямился. Новая злость овладела им. Новая перемена постигла его. Он снова хотел быть сильным, победительным. Он снова верил в свою силу и победительность. Красивым, сильным, наглым он пройдет по этой дороге, по которой два часа назад шел взволнованный, беспокойный, ищущий поддержки, ищущий участья, по которой полчаса назад брел он согбенный, дрожащий, скрывая лицо, презираемый всеми, каким-нибудь Дегтярным. Теперь он снова прошествует, как шествовал много раз, — выпятив грудь, не глядя по сторонам, не замечая взглядов, сильный собой, своим одиночеством, своим знанием...

Он стоял во весь рост. Коридор полнился скрытым отдаленным гулом. Он был длинен, сумрачен, синеват. Многочисленные тени и просветы чередовались по всей его длине. Никого не было видно, никто не караулил за дверью. Путь был свободен. Коридор длинный и пустой, как жизнь, лежал перед Гамбаровым. Войди. Ступи. Но он не входил, не ступал... Он ждал... Чего?

Внезапная робость сковала Гамбарова. Он не смел шагнуть. Что-то наплывало на него оттуда, из коридора, какая-то темная, немая, глухая сила стеной двигалась оттуда. Он стоял перед ней маленький, слабый, без слов, без жестов, без решений. Он пересилил себя и сделал несколько шагов. Скрипнула половица. Он остановился. Экономическая двадцатисвечевая лампочка давала слабый свет. На стене висело об'явление управдома: «Напуск воды в ванны воспрещается». В разных квартирах поочередно пробили часы. Пробежал серый кот, вместе с ним пробежала полночь. А Гамбаров все стоял, еще не убегая, но и не решаясь подвинуться вперед ни на шаг.

Единоборство его длилось, и он все утончался, все с'еживался, а коридор все рос, удлинялся, тени становились все огромней, колебались все шире. Дверь открылась. Гамбаров едва успел отскочить и прижаться за нею.

Почти все, кто стоял в комнате, вышли в коридор.

— Ты не огорчайся, друг, — ну в центре. Но дело в том, что все выявляется, открывается. Не так легко различить человека. Человек это...

— Человек... — говорит Лерг неизвестно кому. — Но очень плохой человек. Страдания плохого человека...

Все прошли. В том конце хлопнула дверь. Гул покатился по коридору, медленно стихая, становясь все вкрадчивей, все туманней, все глуше. Он обволакивал Гамбарова. Темнота тоже давила на него. И он пошел. Еще два шага, тихих, робких, мелких, сделал он вперед, а потом пригнулся и, не оглядываясь, не озираясь, втянув голову в плечи, точно прикрываясь от удара, он вбежал к себе в комнату и захлопнул за собой дверь. Тяжело дыша, он остановился. Так, мальчишкой пробежав через темную комнату, он останавливался, тяжело дыша и придерживая дверь плечом.

А меж тем темная комната, коридор просачивались, под дверью, там, где дверь приподнялась над полом. Чужая смертельная тишина проникла оттуда. Как змея проползала она в щель. Она же, эта черная тишина, вливалась в окно. Гамбаров опустил занавес. Потом он убежал во вторую комнату, закрыл за собой дверь и лег на диван. Он поднял пиджачный воротник и закрылся им. Ноги он подогнул, руки спрятал под колени. Он лежал лицом к стене и холодом веяло на него от этой стены, тем же холодом, который проникал к нему и из коридора.

Он был один.

Христина Дитрих

Рассказ

Вл. Лидин

Фрейлен Христина Дитрих, педагогичка, девица, остановилась в базельском христианском оспицио вечером, в Висбадене. С пристани, с берега Рейна, куда прибыла она на пароходе из Кобленца, любуясь виноградниками и замками, вез ее автокар, вместе с американцами и англичанами, что так же, как и она, совершили путешествие по Рейну и теперь приехали сюда отдыхать, лечиться, делать прогулки в окрестные горы, пить из горячего источника. Автокар легко уносил по широкой окрестной дороге, с ветровым шумом отбрасывало назад деревья, позади оставались Рейн, огни парохода, свежесть речного простора, волнующие гулы прибытия. Загородные виллы сменялись домами, витринами магазинов, вокзалом, — возник Висбаден. Парк, шумящий осенними кленами, белые колонны кургауза с его спадающими фонтанами, огоньки в горах, учтивая прислуга отеля, отыскивающая в груде чемоданов два кожаных, обклеенных пестрыми этикетками многих путешествий чемодана с именем Христины Дитрих.

Отель был солидный, недорогой и уединенный. Прибывших, пять человек, — трех американок, одного англичанина, Христину Дитрих — записали в книгу и подняли в лифте, чтобы развести по отведенным комнатам. В оспицио, в котором по утрам распевали псалмы, все было предназначено для отдыха людей достойных, предпочитающих расточительности и показному комфорту — действительную чистоту, тишину, услужливость образцовой прислуги. Все было в номере отлично: большой умывальник с горячей и холодной водой в белой кафельной нише, согревающая подставочка для двух ослепительных подкрахмаленных полотенец, большая торжественная кровать под периной и балкон, откуда видны были стволы каштанов, горы, засеянные огоньками, и внизу, под холмом, ночной освещенный Висбаден. В парке кургауза жгли фейерверк, и мохнатые золотые жгуты спадали ленивыми дугами, пригоршнями, полными треска, огней и величественной суматохи. Христина Дитрих полюбовалась зрелищем, затем опустила шторы и стала готовиться ко сну — был одиннадцатый час. Несмотря на свои пятьдесят два года, она была подвижна, больше всего любила путешествия, и все зимнее время, готовясь к каникулам, разрабатывала для себя новые маршруты, высчитывала, брала в бюро путешествий проспекты, справлялась о ценах, чтобы за полтора месяца отдыха побывать в нескольких городах, полазить по горам, пощелкать кодаком. В этот раз недельная поездка по Рейну должна была завершиться месячным отдыхом в Висбадене — с тем, чтобы здесь подлечиться, попить воды, попринимать ванны, посетить Гейдельберг, горы Таунус, окрестности. Ее записная книжка была исписана впечатлениями, которые она заносила каждый вечер. В этот вечер перед сном, поглядывая на свои чемоданы, на

которых прибавилась еще одна пестрая наклейка, она записала в книжке:

«Вечером приехали в Бибрих, оттуда в Висбаден. Поездка по Рейну была восхитительна. В общем только здесь я поняла Гейне. Оспицио приличное и сравнительно недорогое. Здесь же остановились американки, которые ехали вместе со мной на пароходе. Даже богатые люди начинают понимать, что дело не одном показном комфорте, а в чистоте и порядочности. С балкона смотрела на фейерверк в парке кургауза. Необыкновенно феерическое зрелище!»

Затем она стала раздеваться, чистить зубы и мыться, и скоро тощее пятидесятидвухлетнее тело девственницы погрузилось в прохладную, широкую и торжественно обещавшую покой постель. Засыпая в довольстве, предвкушая разнообразие завтрашнего дня в незнакомом городе, она все старалась вспомнить причину некоего беспокойства или даже неприятности, которые подсознательно теплились в ней, но так и не смогла вспомнить.

Утром, проснувшись, она уяснила сразу причину вчерашнего беспокойства. Неприятно в этой покойной, сумрачной от спущенных штор, комнате было одно: стенной шкаф, соединяющий с соседнею комнатой. Дверь в шкаф открывалась, но с другой стороны была вторая дверь, она была заперта, и неизвестно было, кто сосед по этой смежной комнате. Впрочем пришло утро, можно было поднять шторы, и беспокойство как-то само собою истаяло. Это был туманный осенний Висбаден. Красноватые лапчатые листья винограда окружали окно и спускались с балкона вниз. Сад с купами желтеющих каштанов и прибитыми на гравии листьями был мокр. В графитный туман, еще не поднявшийся в горы, остроконечно уходили шпиль кирки, готические крыши домов. Солнце прорывало туман, теплый день, в который дозревает виноград, распростерся над Рейном. Внизу, в ресторане, рядом с комнатой, где распевали псалмы и на высоких нотах протяжно возносилась фисгармония, — в ресторане были накрыты столы для утреннего завтрака; две приехавшие вчера американки разбивали ложечкой скорлупки яиц, и вежливый напомаженный подросток в белой курточке принес вскоре Христине Дитрих кофейничек с кофе, булочки, розетку масла, жидкого мармеладу в мисочке, несколько кусочков сахара, обернутых для гигиены в пергамент. Кофе был хорошо подогрет, булочки хрустели, Христина Дитрих между глотками кофе записала в своей книжке:

«Замечательный осенний день. Висбаден сверху, с балкона, очень красив. Я довольна, что остановилась в оспицио. Необходимо только сказать относительно стенного шкафа. Сегодня начну осмотр города с кургауза и парка».

И день покатился дальше. Она так и провела весь этот день, как предполагала: утром она прошла к источнику, осмотрела бассейн с жирной желтоватой дымящейся водой, затем направилась к зданию кургауза с его двумя фонтанами в виде двухярусных чаш и маленькими озерами вокруг них, с его портиком с лаконической надписью Aquis Mattiacis и колоннадами по сторонам, под порталами которых были почта и продажа открыток и сувениров. По бокам фонтанов остриженные по-версальски стояли четыреугольные продольные кусты, на газонах цвели настурция и резеда, и из каменных чаш свисали розы. Налюбовавшись этим зрелищем, Христина Дитрих посетила кургауз с его мраморными колоннами, зелеными и голубыми гостинными, золотом, потолка с рельефом несущейся колесницы, с его лакеями и швейцарами в золотых пуговицах, — она обошла все его комнаты, читальню, где уже поблескивали лысины, склоненные над газетами, затем она прошла сквозь здание в парк, и все утро, до обеда, бродила по парку, любуясь золотыми рыбками в пруду и белыми лебедями, отдыхая на скамейках поближе к солнцу и теплу, надеясь еще привезти в Берлин немного южного загара, который так восхищает горожан. Затем она вернулась к обеду, обедала — опять-таки чисто, сытно и неспешно, затем отдыхала в номере, и опять был неприятен стенной шкаф, но это сразу забылось, как только она спустилась вниз для послеобеденной прогулки. В этот раз она гу-

ляла по улицам, пила кофе в старинном кафе Лемана, прочла две газеты — берлинскую и франкфуртскую; затем осматривала достопримечательности города: ратушу с памятником Вильгельму Оранскому — в камзоле, со шпагой, в носатых средневековых туфлях; базарную площадь, пахнущую овощами и яблоками; здание городского театра; а из-под тротуаров, из-под решеток вырывался горячий пар источника, сила земли, для которой прибывали сюда со всего света.

В общем день прошел незатуманенно и возвышенно, и Христина Дитрих, возвращаясь в оспицио, думала, что, в сущности, все в ее жизни было только подготовкой для настоящего, для настоящей жизни, которую полтора месяца в году она разделяет наравне с богатыми американками. Так же, как и они, она живет в отеле, ест, пьет спит, гуляет, любуется природой, удлиняет свои дни спокойным образом жизни, ранним сном, хорошим аппетитом. После ужина она, как и все, сидела в комнате для чтения и отдыхала, написала две открытки, одну — приятельнице, тоже педагогичке, в Берлин, другую — матери, в Кобленц, затем она почитала, и американки тоже писали открытки и читали, они все были ее же лет и так же научились любить жизнь. Потом все стали расходиться по комнатам, и опять Христина Дитрих забыла сказать портье про стенной шкаф. Впрочем, сон величественно и неумолимо надвинулся на нее тотчас, едва колыхнулись и прозвенели пружины матраца, на который она легла.

Утро пришло дождем и шуршанием осени. На этот раз день развернулся несколько иначе: утром она отправилась к источнику пить воду, сделала положенное количество кругов для моциона по мокрым дорожкам, под зонтиком; предположенная прогулка в горы отодвинулась на другой день; после обеда она занялась писанием писем и подсчетом расходов; вечером же пошла в кургауз прослушать симфонический оркестр и слушала Глюка, Баха и Шуберта. С концерта, под зонтом, хрустя мокрым гравием, она вернулась домой, и потому ли, что дождь слишком напоминал об осени и нельзя было рассеять себя ни прогулкой, ни музыкой, на этот раз возвращение в номер, в одиночество были ей тягостны, и она не забыла сказать портье про стенной шкаф. Но портье сейчас же успокоил ее, уверив, что стенной шкаф заперт, ключ находится в конторе, а в смежной комнате живет третий год постоянный солидный жилец. Однако, вернувшись в номер, она неизвестно зачем все же загородила шкаф стулом и легла, чтобы уснуть, как накануне, но мешали шум дождя, некое беспричинное беспокойство, размышления о том, что если в Висбадене установится дождливая погода, придется отсюда уехать, — но может случиться, что по всей Германии пойдут недельные дожди, как это уже неоднократно бывало. Климат после войны переменился в Европе к худшему. Христина Дитрих не могла уснуть и слушала бой часов на ратуше — низкий и медленный; ему сейчас же начинали вторить другие часы — вероятно, на кирке. Она долго пыталась уснуть, ворочалась, переменяла подушку; потом она зажгла свет и записала в записной книжке:

«Сегодня весь день идет дождь. Если установится дождливая погода, придется уехать из Висбадена. Насчет стенного шкафа сказала портье. Удивительно: вчера спала, как убитая, а сегодня мучает бессонница».

Она записала еще несколько соображений по поводу климата, подсчитала расходы за день, затем потушила свет и на этот раз уснула.

Утром в двенадцатом часу, горничная пришла убирать комнату. Комната оказалась закрытой. Христина Дитрих не вышла к утреннему завтраку, не вышла она и к обеду. В пятом часу горничная позвала портье, так как на ее стук никто не отвечал. В шесть часов тридцать минут дверь была вскрыта в присутствии управляющего оспицио. Христина Дитрих лежала в постели, стул около постели был опрокинут, на полу валялись разбитый стакан, записная книжка, роговые очки и мост с пятью искусственными зубами, положенный вероятно на ночь в стакан с водой. Христина Дитрих была задушена полотенцем. Руки ее уже застыли, цианоз лица указывал на смерть от удушения. В восемь с по-

ловиной часов вечера следственные власти начали следствие. Прежде всего надлежало выяснить, каким путем проник преступник в комнату? Затем — причины преступления. Вещи ее — сумочка с пятьюстами марок, золотая брошь в виде лиры, оправленная в золото самопишущая ручка — подарок учениц к ее пятидесятилетию — оказались целы. Балкон, окно и дверь были заперты изнутри. Единственным путем, через который мог проникнуть преступник, был стенной шкаф. Допрошенный сейчас же сосед по комнате — бывший музыкант, Пауль Гребнер, страдающий окостенением позвонков, был стар, слаб, согнут в пояснице страшной своей болезнью. Он показал, что ложится спать регулярно в десятом часу, в эту ночь спал спокойно, ничего особенного не слышал, о присутствии соседки не знал. Его большой кадык на худой шее ходил от напряжения, и — согнутый наполовину — человек являл собой вид некоего доисторического окостенения, пока не срастутся все его ребра и позвонки в один известковый панцырь. Обыск в его комнате не дал ничего, ни одного следа преступления. Впрочем, о происшествии в оспицио прислуге под угрозой увольнения было запрещено болтать, чтобы не посеять в Висбадене паники и не внушить прибывшим и прибывающим, что здесь, где все предназначено для отдыха и лечения, им может угрожать опасность воровства, нападения или даже убийства. Ночью Христина Дитрих была тайком перевезена в клинику для судебного вскрытия, и в это новое утро желтоватая сухая рука не подняла занавески балкона, откуда видны были город под солнцем, виллы в горах, горы Таунус в млечной дымке, в мираже. В горы уходили автокары с туристами, и в низеньких черных колясочках провожатые везли к источнику больных.

А в десятом часу этого нового дня к чиновнику полиции, в серое просторное здание полицейпрезидиума, явился человек, который назвал себя Фридрихом Ланге, служителем оспицио. Это был лысоватый тридцатипятилетний человек, с маленькой не по росту головой и шрамом на шее возле уха. Он был одет в штатский вытертый костюм, на ногах его были начищенные башмаки, в руке он держал фетровую баварскую зеленоватую шляпу. Лицо его было совершенно спокойно, и если бы не некая сведенность шеи, заставлявшая держать в напряжении голову, никто со стороны не мог бы предположить, что служитель делает столь невероятное признание.

— Произошла ужасная ошибка, в которой я раскаиваюсь, — сказал он чиновнику очень спокойно. — Дело в том, что убитая оказалась немецкой учительницей, а я принял ее за богатую американку. Их приехало четверо в этот вечер и — конечно — все это следовало бы прежде проверить. Это дело моих рук. Я проник через стенной шкаф и затем запер его. Господин Гребнер, музыкант, спит очень крепко, на ночь он принимает веронал, иначе боли в спине не дают ему уснуть. У меня находились ключи от всех комнат, так как моя обязанность в отеле — чистить обувь и платье приезжих и выколачивать мебель. Теперь два слова о себе и почему я это сделал. Это большая ошибка, я думал совсем о другом. Я происхожу из Баварии, из городка Шонгау. Восемнадцати лет меня мобилизовали и отправили на войну. Я дрался четыре года. Под Аррасом меня ранило осколком в шею, вот шрам от операции. Под Зензбургом в Восточной Пруссии меня контузило. Меня три раза чинили и отправляли на фронт. Я могу сказать, что там, на фронте, в четыре года прошла вся моя молодость. Из нашего городка, из моих товарищей погибло шестнадцать человек, трое уцелели. Меня вероятно в четвертый раз починили бы после брюшного тифа и отправили бы на фронт, но война кончилась. Нам говорили, что мы боролись за мир и за счастье для всех. Когда мы вернулись назад, все наши места были заняты. Я очень устал, но нельзя же было умирать с голода. Я отправился искать службу, целый год я искал ее и наконец устроился служителем в оспицио здесь, в Висбадене. В Висбадене тогда была оккупация, я чистил башмаки английским офицерам. Потом понемногу стали приезжать из Америки и из нейтральных стран богатые люди. В

Висбадене все построено для богатых людей. Тогда я понял, что мы, оказывается, боролись за их счастье. Они пережидали войну и вернулись на старые места, как будто ничего не случилось. Английские офицеры ушли, и я стал чистить обувь старым американкам, которые любят отдыхать, ничего не делать и заботиться о своем здоровьи. Они даже не задумались ни разу над тем, что мы пережили. И вот я решил уничтожить одну такую американку, и все это скрыть. А может быть, впоследствии уничтожить и другую американку и тоже скрыть. Тогда они почувствуют, что не все в мире осталось для них попрежнему, что кто-то ненавидит их и что даже здесь, в Висбадене, для них есть опасность. Может быть, они тогда задумаются немного над тем, кто же так ненавидит их? Тем более, что я решил ничего не брать, чтобы дело не свелось к простому грабежу. А то им кажется, что в мире ничего не произошло и что богатым людям можно жить в нем спокойно, как раньше... Я несколько раз колебался и отодвигал это дело. Но в этот раз, когда приехало сразу несколько американок, я решил это сделать. Но тут со мной произошла злая шутка. Я принял немецкую учительницу за американку. Конечно, это моя ошибка и вина, и вот поэтому я пришел к вам. Теперь вы можете послать меня на фронт в четвертый раз. Все.

Человек со своей сведенной шеей и с фетровой зеленоватой шляпой в руках остался сидеть на кончике стула, как сидел.

— Да, еще вопрос, — сказал он вдруг. — Не можете ли вы мне назвать имя убитой? Христина Дитрих, — повторил он минуту спустя. — Угораздило же ее заехать в это оспицио, где останавливаются постоянно американцы. Мало ли в Висбадене недорогих и приличных отелей!

Потом он пошел по коридору вместе с чиновником, поскрипывая своими начищенными башмаками. В большое окно на лестнице были видны черепичные красноватые крыши домов, далекие горы, сонный полуденный Висбаден. Его горячие источники дымились. Их пар рвался из-под земли. Это была сила гейзеров, подземных ключей. Смирённая и заключенная в трубы, она чинила ревматизмы и испорченные желудки людей, приехавших со всего света. В этот день в программе симфонического оркестра были Оффенбах и Штраус. Затем — фейерверк, на который в первый вечер прибытия любовалась Христина Дитрих.

Ноябрь 1930.

Париж

Повесть о страданиях ума

Сергей Буданцев

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В пансионе мадам Шобер запахи были распределены по комнатам, как боги. Столовая, под темный дуб, и цельные, во всю раму, стекла, хранили пары шоколада и супа а ля тортю, лучшего произведения поварихи Селестины. В гостиной царил сигарный дым; англичане всегда несколько удивлялись, что в заведении нет курительной комнаты, после каждого принятия пищи картаво роптали на этот предмет. В передней чувствовался спиртовой лак, мех, кожа, венская благоуханная кожа. Иные из пансионеров даже в уборной заботливо и расточительно после каждого посещения разливали одеколон. Старшая горничная, красавица Марта, припахивала сладким ароматом Кур де ля Рен, принятым почему-то для этого места. Растворенные в тепле, в чистоте, в порядке еле уловимые и неистребимые запахи в самом деле, могли бы показаться суеверу проявлением нездешних сил, дыханием добрых демонов, божественной охраны благоустроенного и слегка дутого предприятия.

Грекову же плотскость, весомость, насыщенность этого быта, затопленного ароматами, отдавались неизбежным последствием: пресной вонью трупа. В пансионе никто не проник в подробности — и все любопытствовали — его печальной истории. Слыхали только, что он молодой профессор, что у него скончалась жена месяц тому назад на острове Мадейре, прославленном курорте для чахоточных.

За профессором ухаживали родственники, семья презабавных русских: тучная, цветущая ворчливая чета и их приемная дочь, увядшая девица редкостной худобы, само безмолвие и окостенение. Их фамилию — язык сломать! — Щекотихины не мог изобразить ни один портье, для простоты их тоже величали Грековыми.

Профессор был юн, в его дикой стране очевидно еще рождались гении, которые в двадцать семь лет могут получить высокое ученое звание, успеть овдоветь и стать совершенным меланхоликом.

Глядя на его измученное лицо в невинной и горестной бледности, отупевшие от музеев англичанки поминали Гвидо Рени, не смущались даже очками профессора. В то время и в той среде начинали приукрашать сущее. У Грекова был трехугольный длинный нос с резкой впадиной подо лбом; верхняя часть лба, скулы, подбородок в редкой бородке — все выдавалось, как бы сместилось, образовало соотношения далекие от красоты. Глаза его, как бы в пелене, утомленно мигали за стеклами. Было известно, — в комнате у него постоянно темно, чтобы не раздражать слабого зрения.

Мадам Шобер тщилась внести в пансион блеск и изящество тем, что не щадила язвительностью ни себя, ни прислугу, ни даже высокочтимых жильцов, лишь бы смеялись, парировали и забывали, что больны, переутомлены, обязаны хандрить! Про русских вообще она говорила, что эти привозят в Швей-

царию кусочек своего варварского сумасшедшего дома. Вообразить только, недавние рабовладельцы из безумно богатой деспотии покушаются на своего монарха за то, что тот приобщил их к семье образованных народов, истребив крепостное право.

Швейцария тогда начинала кишеть волосатыми молодцами, которые, говорят, начиняли бомбы, распространяли кровожадные и скучные статьи, кричали на сборищах, скрывались под чужими именами и через несколько стран подбивали облагодетельствованных мужиков на революцию.

Мадам Шобер принимала незадолго до его смерти барона Герцена, так его называли в отелях и ресторанах, и знавала страшного заговорщика князя Бакунина.

Семья Грековых мало походила на лохматых с улицы Каруж. Свекольный румянец слезал с пухлых щек толстой четы, едва беседа касалась покушений, восстаний и конституций. Профессор вообще не поддерживал возвышенных бесед, хотя по временам, несмотря на горе, его прорывала лихорадочная словоохотливость, особенно с дамами, — по-французски он об'яснялся очень бегло. Но и мрачная молчаливость настигала его на полуслове, тогда он кланялся и исчезал. Его бесчувственная вежливость была лишь в далеком родстве с истинной галантностью, которая свидетельствует о внутреннем порядке, разумном расчете и прочно связывает с людьми, — так говаривала мадам Шобер.

Ужас и любопытство постоянно играли на ее личике с кулачок, в коричневом пуху. Голосишко ее дребезжал, она всплескивала крохотными ручками и, казалось, сейчас вспрыгнет как кузнечик и будет оглашать альпийские луговины сплетнями о русском сердце. Именно мадам Шобер сочла полезным сосредоточивать вокруг Грековых опасливые взгляды исподтишка, догадки, сочувственные вздохи — в семье творилось незаурядное, — любопытство всегда победит скуку и банальность.

Совсем недавно в комнате профессора Грекова далеко за-полночь произошло некое смятение, вызывали врача, тот прибыл, словно к роженице, с целым чемоданом инструментов. Наутро все допрашивали Марту, непроницаемую красавицу, та отмалчивалась изящно и недоступно.

Однако подпольными струями, именно в среде молодых дам, с которыми обычно откровенничала хозяйка, просочилось известие, и при этом одно, без разногласий: юный профессор Греков принял яд, очевидно морфий, но не рассчитал дозы, проглотил слишком много и благодаря этому был спасен. Доктор Сонье сделал промывание желудка, дал сердечное, опасность миновала, но неуклюжим родственникам приказал и впредь не спускать с больного глаз.

Сообщение о покушении на самоубийство наполнило спальни тревогой. Мадам Шобер упрекала себя в том, что дала волю языку, но потом, по привычке замечать в людях многое и скрытое, с удовольствием и с долей опаски, наблюдала некоторые странные и отчасти отрадные явления. Десяток бездельников, полубольных от туберкулеза и вовсе больных от скуки, ее разношерстное стадо, раз'единенное породой, языком, бытовыми навыками, чванством, всем тем, что путешественник носит на себе, как форменную, одежду, внезапно сбились, сплотились, стадо обратилось в общество. Разговоры, даже если они предназначались замолчать жгучее событие, сделались оживленными, иногда просто крикливыми.

Мадам Шобер была проницательна и не отличалась застенчивостью, когда обсуждала происходящее про себя. Конечно, подобные происшествия действуют на воображение дурно, но если ее пансионеры всегда будут чувствовать себя так непринужденно, поистине на грани свободных поступков (она уж позаботится, чтобы грани не перешагнули), ее пансион станет самым модным в кантоне!

Сообщение о смерти, да еще не удавшейся, подчас, как ни странно, возвеселяет людей. Но тут дамы не дали разыграться остроумию немногочисленных мужчин, которые отдыхали в пансионе в это неканикулярное время. В профессоре было слишком много той застенчивой рассеянности, которая трогает, как увечье ребенка. Он передвигался как бы

опасаясь вещей, не соразмерял расстояний, боязливо отшатывался от мебели и безделушек еще издали, пристально поглядывал кругом, ничего не замечая. Любовь, скорбь покинутого, самоубийственная попытка, страдание, столь лишенное внешней загадочности и вместе с тем внутренно столь таинственное, — все это соединило разноязычных жильцов взаимопониманием.

— Это как будто читаешь евангелие, — благочестиво сравнила одна француженка, — так сближаешься, когда видишь, что все сочувствуют одному!

Через несколько дней после события профессор впервые спустился к обеду, очевидно ради нового приезжего, его приятеля. Молодой человек хорошего роста, широкого и относительно рыхлого сложения приветливо осклабился и кланялся столовой. Его чайного цвета бородка вилась, веселые льняные космы, заметно поредевшие на макушке, взлетали подобно его тонкому голосу, который как бы нарочито предназначался изливать всю нежность и отзывчивость этой славянской души. От обоих северных юношей исходил, казалось, запах ковыля, неожиданный и неповторяемый в благоуханном пансионе. Дамы обрадовались новенькому, его воркующий смех живо напоминал младенчество, когда никто не изнывает от тоски и не таскается по всему свету для ее утоления.

Приезжий только что покинул Испанию, кончики его белокурых волос выцвели на знойном солнце, брови походили на два золотых пшеничных колоса. За окнами столовой дрожали ветки, царапался ветер. После дождя плиты мостовой из бурых стали голубино-сизыми, в доме и в мире казалось дымно. В камине в гостиной стреляли дрова, на филенках дверей змеились отблески, пар не сходил со стекол, облака — с вершин.

К концу обеда приезжий разговаривал один. Приезжий, — его звали Борис Каразин — зло и с ужимками расказал про столкновение каких-то шведов с полицией в Севилье. Русскому особенно нестерпимым казался произвол в Европе! Между третьей и четвертой переменой, в тишине, изредка разбиваемой звоном запоздалого ножа по тарелке, Греков громко сказал по-русски:

— Вчера к нам прикатили молодожены, посмотри, в том конце стола, направо. Голубоглазая немецкая парочка. Они жуют с аппетитом утку и пожирают друг друга глазами. Не пройдет и нескольких десятков лет, — черви будут копошиться в этих глазах. А я на острове Тенерифе ковырял кору драконового дерева, ему, ни много — ни мало, шесть тысяч лет, его разбила гроза, то есть погубил случай. А зачем дереву шесть тысяч лет?

Евшие испуганно переглянулись. Греков застыл с поднятой вилкой. Ужас леденил его. С ним это бывало. Его опекуны трепетали, ничего не уразумевая.

Греков появился после покушения, теперь воскликнул что-то несуразное, все это усилило дух неблагополучия, на который так уповала мадам Шобер: именно против «духа» пансионеры хотели защищаться скопом. Нужно было освоить чужое несчастие, чтобы устранить его возможное влияние. Условности так же мало защищали от неблагополучия, как крахмальная сорочка от пыли.

После шоколада и сыра большая часть публики перекочевала в гостиную к огоньку. Профессор Греков отклонил уютное приглашение и поднялся к себе наверх. Вместо него остался приятель.

2

— Ну конечно, медам, нет ничего легче, как заставить откровенничать на чужой счет, меня в особенности. Российская Психея обожает словоизлияния после обеда. Вероятно, европеец с женой не бывает так откровенен, как мои соотечественники — и я сам, разумеется, зачем нарушать правило! — как русский у камина, после хорошей еды, — сыр после сладкого очарователен — (мне хотелось бы, чтобы это слышала мадам Шобер!), в приятном обществе. Говорить ли всю правду, — я чувствую необходимость рассеять то, что сгустилось, раз'яснить некоторые недоразумения. Слишком много взглядов вопрошает

крутом. Я податлив на такие притязания.

— Почему он так расстроен сегодня? — в упор спросила мисс Эванс, и никто не вник в нелепость вопроса.

— Даже приезд друга не мог его развеселить, — с'язвил, и снова не впопад (и снова никто не заметил) голубоглазый молодожен: вновь прибывший говорун из полуазиатов не очень ему нравился.

Молчаливая питомница Щекотихиных трубно высморкалась. Две бесполые британки, покровительницы мисс Эванс, мигнули с укором. Девица отерла веки и, издав рыдающий звук, пересекла наискось комнату к двери. Все сделали отсутствующий взгляд. М-сье Борис улыбался почти блаженно: мисс Эванс непрестанно устремляла на него глаза, и каминные вспыхи алели в ее сияющих зрачках. Самое важное обретено: слушательница найдена.

— Его история очень проста, как все трагическое, — начал разбег повествователь. («Он за что-то мстит этому ученому», — прошептал молодожен на ухо жене. «Их отношения не вполне доброкачественны».) — И вообще все истории были бы очень просты, если бы в них не участвовали замечательные люди. (Англичанки тоже успели перешепнуться о том обстоятельстве, не будет ли в этих откровенностях, подаваемых с неестественной готовностью, каких-нибудь нескромностей или даже неприличностей.) Прошу верить, мой друг профессор Михаил Греков весьма незаурядная личность и выдающийся ученый. Его ждет мировая слава.

— Может быть, он ждет мировую славу? — ехидно вставил молодожен.

— И он! — Рассказчик сделал остановку, как взмах, и ударил: — И не первый год уже германские Цейтшрифт с уважением печатают и цитируют его статьи и ссылаются на его исследования. — Борис упорно обращался к мисс Эванс.

— Ах, я вспоминаю, лет семь-восемь тому назад, я тогда кончал политехникум, в Гиссене прогремела неприятная история с молодым русским ученым, да, да, его фамилия была Греков, и нашим знаменитым профессором Липгартом. Очень много претензий, впрочем некоторым они казались основательными...

— У вас завидная память. Но сейчас, если разрешите, я буду продолжать. Для нас с вами, для общей культуры существенно то, что Греков расширяет пределы своей науки, — он зоолог по специальности, — до общих проблем. Не только факты, но и размышления. Его биологические обобщения смелы и значительны, напоминают, вернее — приближаются по широте к Дарвину. Вы улыбаетесь? Вы не знаете моих варваров, когда они влезают в науку! Я мог бы доказать... Словом, это больше чем профессор, это философ. Иногда мне кажется, что это тем хуже для него. У него есть способность слишком обобщать печальные явления. Притом никакая философия не спасает двадцатитрехлетнего человека, а именно в этом возрасте он женился, — не спасает от любви, или от того, что он принимает за любовь. Ошибку навязывает тоска, а Греков очень тосковал тогда. И было отчего. Он поссорился с одним университетом, не знал, переведется ли в другой, карьера могла казаться сломанной. Материальные дела его семьи шли плохо, он принадлежит к небогатым помещикам, как раз к тем, которые очень пострадали от эмансипации. У него есть барский предрассудок: он не представляет себе науку как возможность зарабатывать. Среди наших ученых, художников очень силен этот предрассудок, который совершенно незнаком такой культурной стране, как, скажем, Германия.

— О, да! — и молодожен закивал оживленно. — Мы для того и учимся, чтобы зарабатывать. У нас давно нет ни латифундий, ни рабов. Да я и не вижу разницы между средствами, полученными от продажи пшеницы или картофеля...

— И от продажи умственной энергии? — подхватил Каразин. — А у нас ее видят. Видит ее и Греков, как ни прикидывается европейцем. Но я оставил самое печальное к концу: он слепнул от микроскопа.

— Не говорите таких ужасных вещей, — тихо произнесла мисс Эванс, и содротание тронуло ее узкие плечи.

— От умолчаний ужас не становится легче, — укорил молодожен.

— Он ослепнул от микроскопа! — жестко повторил рассказчик, хотел еще добавить: «из песни слова не выкинешь», да затруднился перевести. — Он ослепнул от выбранной профессии, от своей неумолимой науки, которой обрек себя с ранних лет, у него напечатали первое ученое сообщение в год окончания гимназии. Я с ним познакомился в Харькове, на первом курсе, его очень тяготило пребывание в провинциальном университете, он каждую лекцию глотал как неприятное лекарство и окончил курс в два года. Это была во многом, в умственных стремлениях, сложившаяся индивидуальность и угловатый характер, с несколько чрезмерной самооценкой. Поверьте мне, так рано самоопределиться — обоюдоострая удача. Выбранный путь становится единственной судьбой, не свернуть. А на мой взгляд человеку смолоду полезно побродить по кривой, поколебаться, потешиться самообманом разнообразия. Нет, нам, бездельникам и дилетантам, легче!

Борис невесело рассмеялся. Старая англичанка воспользовалась случаем замедлить течение жестоких подробностей и полюбопытствовала, какой отраслью занимается рассказчик. Тот коротко ответил: «Энтомологией немного», и круто перешел к занимательным частям повествования.

— С будущей женой Греков познакомился в семье ботаника Пикетова, известного и за пределами нашей страны, декана физико-математического факультета в Петербурге. Кто-нибудь бывал в нашей столице? О, этот город! Это грандиозная казарма, которая, как выражаются химики, находится во взвешенном состоянии между болотистой землей и студенистым небом. Там легко сбиться с толку, особенно нам, южанам. Имейте в виду, Греков родился и произрастал в степной части Украины, а ведь это приблизительно на той же широте, что и Швейцария. (**Возгласы удивления.**) Героиню мы назовем для удобства на чужом языке Надин, без нашего пресловутого отчества. Она была смешанного, полупольского происхождения, но жила в России и, должно быть от неясностей в крови, обожала народные костюмы, в которых бедность прикрыта яркостью и сложностью. Она говорила, что кокошник походит на корону, которой увенчали женскую нищету и рабство. В семье профессора ей пришлось вести дом, но как племянницу и крестницу ее считали на равных правах с детьми. Ох, эти равные права! Я вчуже подозреваю, что они значат для самолюбивого человека. Она была не очень хороша собой, к тому же не очень здорова, замкнута и по-своему глубоко любила жизнь. Будущий муж находил ее слишком спокойной. Неверно по-моему: сдержанность, подавленность, скованность не есть спокойствие. Привычка во всем ограничивать себя воспитала в ней скрытность даже перед самой собой. Под этим покровом тлели жгучие желания и прежде всего — желание любить. Не имею понятия, как у других, но я очень легко отзываюсь на такие стремления, даже если они едва прощупываются, и Греков мне как-то признался, он — тоже... Ее щеки и монгольские скулы были бледны, но иногда пылали лихорадкой и жаром, — вначале никто не обращал на эти перемены особого внимания. Губы ее как-то странно склеивались, зубы в улыбке сухо поблескивали.

— Да вы художник, — с неудовольствием пробормотала старая англичанка, ее раздражала чрезмерная вещественность описаний.

— Он, вероятно, жалость принял за влечение к ней! (Бориса несло, и он блаженно жмурился радости повествовать и натыкаться на удачи). Здесь недоставало только искры. Надин, еще до серьезных разговоров с Грековым, вдруг снова пылко заинтересовалась гистологией и вновь засела за книги и инструменты, — она почти кончила ведь университет, не сдала только государственных экзаменов, и — не забывайте — лаборатория дяди была рядом. Они жили на казенной квартире, наука расцветала за стеной. Университет проходили как стадии роста, как зарубки на прито-

локе двери. И я тогда же ревнивым чувством, — увы, в ту эпоху мне хотелось быть искрой для всех! — обнаружил, что интерес ее к науке возник и запылал в тот момент, когда Греков стал постоянно бывать в доме. У Пикетова, уже вдовца, детей было трое, старшей лет тринадцать, чудесная девочка росла. Мы с Грековым не раз пророчили, что из нее выйдет превосходная женщина. У меня все время шевелилось подозрение, не ради ли девочки бывает Греков? Он принялся много читать по вопросам воспитания, высказывал довольно парадоксальную идею, что мужчина должен сам воспитывать себе жену, ссылался на Библию и на мудрые обычаи Востока. Он даже опубликовал статью о воспитании, туда вошло кое-что из наших споров. Но с девочкой что-то не вышло, они очень часто ссорились. При этом Греков был слишком на равную ногу с ней, а девочка именно с ним держалась особенно непокорно и угловато. Да, — я вздыхаю с сожалением, — мы тогда впали в детство, честное слово! И вот, однажды Надин позвала меня и сказала: «Я знаю, вы ко мне относитесь дружески. Пойдите и передайте Михаилу Грекову, что я его люблю. Я хочу, чтобы он услыхал об этом сейчас, когда ему очень тяжело».

Мисс Эванс вздохнула.

— Какая странная девушка!

— Бессознательный расчет был верен: на признательность. Я обожаю эту стратегию любви. Но я поступил не так, как меня просили. Я взял детей и увез в цирк, для того, чтобы не встречаться в этот вечер с Грековым.

— Какой странный поступок, — прошептала мисс Эванс.

Неслышно впорхнула мадам Шобер. Прислушалась. Молодой славянин рассказывал превосходно. От него даже отдавало профессионалом. В сущности это — художественная сплетня, но именно то, что надо. Мадам любила посплетничать и недаром часто ловила на себе колючие взгляды чопорных англичанок. Правда, они выслушивали и входили в подробности, но с видом мучениц. Однако приезжему говоруну они внимали с умиленным выражением, их как будто изнутри осветили, пергамент щек подернуло розовым. «Браво, браво!» — мысленно рукоплескала мадам. Недаром у нее иногда бывало желание учинить небольшой пожар на чердаке, чтобы взглянуть на этих копченых селедок в голом образе и в смятении! А здесь увидала и без пожара. Нет, решительно этот профессор пустил все кувырком. «Браво, браво», — и мадам бесшумно выскользнула из гостиной. Но с полпути по коридору вернулась и уж сидела прочно до конца беспримерного рассказа.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Греков поднялся наверх. Посреди коридора широко расставил ноги и покачивался толстяк дядя, читая газету. Так он ратоборствовал со сном, лекари запретили спать после обеда.

— Миша, кто такой добрый король Дагобер? Le bon roi Dagobert? спросил Щекотихин.

— Никогда слыхал! — ответил Греков.

— Вот так пассаж, никогда не слыхал! Академик! Да я и то в корпусе, помню, учил. А я не профессор. Здорово. Разодолжил.

Племянник прошествовал мимо и крепко прихлопнул за собой дверь. Прохлада и запустение темной комнаты, — в ней было мышье-серо и как-то чрезмерно сухо, сразу хотелось зевнуть, — усилили в нем чувство пустоты, уединенности, «некому сказать». Это «некому сказать» он называл еще тоской. «В самом деле, не с дядей же Ясей изливать душу!» — рассуждал он. «Я вырос из него как из пеленок, и никого нет в мире»... Тоска обрела физическую тяжесть, тупо закусила ключицы, стиснула шею, дрожала в щеках, она осмысленно выбирала чувствительные места.

Греков заглянул за занавеси. За стеклами стыл холодный конец дня и разведривалось, и походило на раннюю вес-

ну где-нибудь в Екатеринославе. Хребты проступили сквозь туман, клоки туч сидели по скалам. Горы напоминали тающие сугробы в заморозок, они усиливали чувство отрешенности. Мелькнуло: Россия. Но с высоты одинокой печали и мысли о родине были мелки, дробились — бесследно. За гребнями гор распростирался холод, распростиралась мировая ночь.

И в каждой складке местности, на каждой более или менее удобной равнине, каждую речку, каждую опушку обсели домами и хижинами люди. Они бессмысленно много трудятся и очень злы. Нет, лучше не думать о них. Они глухи. Лучше не думать о них, как они не думают о нем.

Михаил Иванович раскрыл окно, ударил сырой и живой ветер. На ресницах от холода сразу проступили слезы, противная и грязная влага больных глаз. Греков бросился в угловое кресло и сделал вид, что дремлет. Запрокинул голову на спинку, — бессильное подражание покою.

В дверь поскреблись, — это дядя, конечно. Если отозваться, вломится, будет уговаривать погулять. «Нельзя сидеть целые сутки взаперти, нездорово во всех отношениях. Ты ведь всегда был такой подвижной мальчик, земля горела под ногами. Для тебя особенно вредно, ты губишь себя», — и так далее.

В памяти дяди, ленивой, доброй и ожирелой, все отпрыски Грековых и Щекотихиных слились в образ одного сорванца, буяна, все шалости, о каких он слыхал и упомнил, все проказы, которыми его изводили, беготня и шум, которыми ему не давали дремать, — все это он теперь отнял от других и приписывал своему знаменитому подопечному племяннику.

Слышно было, дядя в коридоре ворчал:

— Не-ет, я пойду, промнусь. Посижу на воле. Иначе я засну.

Заботливый голос супруги взывал:

— Ясенька, ты надел теплый жилет? Не забудь калоши.

Семипудовый Ясенька гремел в углу:

— Ты еще посоветуй не забыть надеть штаны! Куда же я в такую холодину пойду к чертям без калош?

Раньше Греков хохотал над препирательствами супругов, теперь было впору завыть от скуки и обиды. Бытовое обращалось к нему злым жалом, шероховатой стороной. Раньше жизнь представлялась разнообразной и как бы посторонней, в том смысле, что по отношению к ней можно было чувствовать свободу: сиди и наблюдай из своего кутка и выбирай свое на потребу. Даже враждуя, он шел с людьми, плечом в плечо и в ногу, а теперь отстранился, остановился. Теперь беспокойный, скучный, болезненный поток жизни ощутимо несся сквозь него и нес его, и ранил, и волочил по илистым отмелям, и метал по камням.

— Она и в гробу обернет ему ноги теплым пледом, — шептал Греков и грозил невидимой тетке кулаком. Борис привез ужасные воспоминания, — роптал он.

Жена умирала — задыхалась — в яркое утро. Море за вечно зеленым мысом казалось расплавленным в огромной колбе. Но вся сила света, тепла, благоухания, вся мощь сытой и щедрой природы, залитой неизменяемым и неизменяющим солнцем, текла бесполезным блеском. Умирающая не получила от этой благодати ни одной лишней минуты, ни одного лишнего дыхания.

Весь ужас заключался в том, — и это Греков понял недавно, здесь, в Женеве, — что он не жалел Нади. Чуть ли не с первого дня болезни у него возникло и крепло убеждение, что жена не выживет, и мечтал об этом, и боролся с этими помыслами, но мнение, что смерть ее даст ему свободу, таясь подспудно, проскальзывало во все заботы о больной, отравляло все предположения помощи.

А теперь вдовец бесконечно, мускулами, кожей, осязанием рук и груди тосковал о том, что никогда не почувствует жены рядом, ее худого, гибкого, легкого тела. Ее не вернуть, не увидать ни больной, ни здоровой, не обрести хоть на неделю, хоть на несколько часов, не искупить ласками, слезами, баловством преступные мечты. Не смяг-

чить постылое одиночество, которое он, впрочем, сейчас ни на что бы и не променял.

«Человек с воображением, — размышлял Греков, — должен представить себе, как безгранична, как вещественна и телесна скорбь по действительно любимому существу, по тому, кто владел страстью. Нет, лучше никогда не испытывать! Свобода! — казнил он себя, — Свобода! А на что она мне, если я тоже приговорен к унизительной муке неизлечимо заболеть, захлебываться западающим языком, быть отравленным собственной мочей или калом, корчиться от страшной боли, от ужаса перед уничтожением? Я приговорен видеть уничтожение близких и предвидеть свое. Рано или поздно, все равно — рано. Свобода!..»

Скудные жалобы беззвучно застывали на губах. Он принимал их теперь как постоянное состояние, как законное, как естественное проявление существования, — они в самом деле несколько месяцев не покидали его. Их гнет вытеснял всякое действенное чувство, деятельное желание.

С того мига, как Надя перестала дышать, он очутился во власти отвратительной холодной лени. Необходимо было совершать обряды, закопать тело, повязать траурную повязку и креп на шляпу, переписываться с консулом, переводить деньги, возиться с от'ездом на материк, все это давалось одновременно и без усилий, и словно бы по ненавистной чужой воле.

Прибрел к нему католический священник, в потешной одежде, делавшей его похожим на стариковский дождевой зонт в этом безвлажном знойном климате. Старичок дышал кислым, молочным, завел о тяжести вдовства, уговаривал обратиться к богу. Лютая скука накатила на утешаемого, так были далеки его мысли от веры в то, что все совершается по чьему-то разумному волеиз'явлению. Он попросил патера оставить его. Утешитель кратко вздохнул, как бы икая, и ринулся в зной.

После смерти Греков не пожелал видеть жены. Сложное чувство зависти к трупу походило на опасное желание, которое иногда накатывает на крутом утесе: броситься вниз. Без Бориса, пожалуй, не удалось бы одолеть всех хлопот, но и к Борису не теплилось никакой благодарности. За что? Все впряжены тянуть одну лямку, всех ждет одна расплата, все ужасающе равны в жалкой слабости, стоит ли беспокоиться о каких-то одолжениях! Нет, нет, все — квиты.

Но приходили еще более гадкие мысли. Борис своими восторгами создал когда-то в пикетовском доме вокруг женщин и девушек напряженное внимание, приставал с откровенностями, выманивал их, переносил, раздувал, накаливал. Добился, пусть радуется! Вот он и сюда приехал, гоняется по свету. Зачем приехал, — пробудить в Грекове снова и с новой силой воспоминания о том времени, когда живой ощутил себя мужем трупа, когда живой принуждал себя «как все» оплакивать труп, а не боязливо завидовать ему, обретшему неподвижность. Ах, он искал его, этого покоя, и сделал из себя посмешище бездельного пансионного скопа: отравился, точно институтка лимонной кислотой, не до смерти.

Теперь было страшно и противно вспомнить, словно неестественное половое сношение, блажество, окостенение и негу, которые дал яд, прежде чем началась рвота, прежде чем врач начал гнусные старания очистить желудок от отравы, резиновая кишка столбом холода распирала пищевод, спазмы и судороги всех внутренностей, всего существа извергали холодную воду. Жгуче-кислая жидкость рвала ноздри, слизистая горела, текли слезы, отравленный обессилел, обратился в ребенка, не было ни охоты жить, ни желания умереть. Повторить морфий, уже зная, что его не следует принимать слишком много, Греков не мог. От одного воспоминания можно было зарычать как от рвоты. Желтый пузырек, который был взят с Мадейры и содержал возникшее там решение найти покой, был пуст, искавший был обманут.

Именно после всех потрясений мозг стал отчетливей вырабатывать мысли. Нужно не просто самоубийство, а нужно вручить себя случаю, жребию, нужно

нечто сильное, смертельно опасное, длительное, ну болезнь, что ли, которая или свалит в могилу, или пробудит жажду существовать. Пока хоть в уме появилась возможность второго выхода: продолжать. Что продолжать и как продолжать, еще не осмысливалось. Речь шла об изменении каких-то соотношений в организме. Ум допускал, что можно довести себя до состояния, в котором так называемый инстинкт жизни снова проявит власть.

Михаил Иванович достал бумагу, взял перо. Возникло намерение, хотя бы начерно и только для себя (после того, как напишет и прочтет, он сожжет бумагу), изложить свой умысел серьезно заболеть, найти дельный способ заболеть действительно опасно и, хоть умозрительно, наметить, кто победит: небытие или суета. Последний вопрос, так поставленный, впрочем бесплоден. Но Грекову было некогда додумывать. А он полагал себя в полном самообладании!

В свои двадцать семь лет Михаил Иванович написал много, писать привык, привык даже каждый раз мучиться с началом. Никогда не могли завязаться сразу первые пять слов. И теперь ему не приходило в голову путного. Внезапно открылось такое множество соображений, связей, картин, словно из душной камеры пробили стену наружу. И хлынул целый мир: деревья, камни, реки, небо, все вперемежку, в неоглядном беспорядке. И человек ошеломлен. Но человек не сдавался. Он огляделся.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Молодому уму присуще воображать себя обнаженным, неизменным, вечным, как божество. И Михаил Греков не знал еще противоядия этой самонадеянности. Возраст не дал ему меры, которой можно определить присутствие разных влияний в своем мозгу, — Михаил Иванович думал, что заимствовал только знания. А между тем воспитание и подражание внедрили в него навыки к упорядоченному мышлению, и его умственное хозяйство разнилось, скажем, от дяди Ясина, как отличается ученое книгохранилище от беспорядочной свалки разрозненных томов в обывательской кладовой. Привычка к научной работе заставила Грекова и теперь разбивать здание короткой его жизни с бдительным усердием и той последовательностью, с какой наслаивались впечатления бытия.

Иногда воображению являлся даже некий слушатель и молчаливый спорщик, которому необходимо было доказать, что отрицательные выводы правильны, решения — непреложны, единственно целесообразны, — лектор Греков произносил время от времени вслух отдельные замечания, в роде:

Ах, вы говорите: детство, радости! Хорошо.

Детство. Детство — это степь, меловые холмы, жесткие бурьяны, балки в сочной траве по дну, сушь, вонь свалок, где самые укромные уголки. Токи роста бродят в теле и щекочут жилы. Лапчатый ветер треплет полынь, треплет по щекам. Его бархатистые касания и есть ощущение бытия. С грядок огорода потягивает луком, укропом, подвалы и погреба сыто отрыгивают соленым, квашеным, маринованным, копченым, вздыхают стоялым холодом невеселой зимы.

Греков не помнил себя, когда бы он не ведал мучительных часов. Та же тоска, которая будет томить взрослого, иногда с большей яростью терзала ребенка. Иногда он по полдня валялся в пустой гостиной, по стене шуршал дождик, весь мир вонял мышами и затхлой пылью. Дыхание стеснялось, тело — еще в коротких штанишках — деревянело. Еда теряла вкус, суставы — гибкость, мальчик томился ожиданием сна, который единственно излечивал. И тогда после сна мир оборачивался добрым и разнообразным.

И если взрослую тоску можно оправдать тем, что хоть поверхностно понимаешь причины, то чем об'яснить мучения детского мозга, и кому их вменить в вину, и чем оправдать? Так много раз спрашивал себя Михаил Иванович.

Но были потрясения и внешние, вполне об'яснимые; оттого, впрочем, они не становились легче. Крушение доброго, могучего и разнообразного мира произошло очень рано. Так он уширился в сторону зла, что Миша скоро раскусил уловки и ложь взрослых, когда они уговаривали, что все хорошо, что нечего бояться, на что он соглашался лишь для вида, чтобы отстали.

Иное выпуклое событие свою тень отбрасывает на начало жизни, а проверишь — произошло оно далеко не в таком раннем младенчестве. Хронология детства весьма сомнительна. Думая об одном происшествии, Михаил Иванович сомневался даже, был ли он в состоянии так сознательно наблюдать, как память донесла эти образы, или вся картина сложилась впоследствии, из рассказов и мнений старших.

Неоспоримо и несомненно одно, что какие-то впечатления от того страшного путешествия остались, и не только ощущение пыли в ушах и накаленных солнцем щек, — это могло сохраниться от более поздних поездок. Они ехали на юг, к морю. Как-то по-особенному звенели колеса убитым шляхом, степь была позднее, безлюднее, солнце беспощаднее.

Ехали поездом из нескольких повозок, и вот-вот, сквозь жару и пыль, должно было надвинуться невообразимое море. Дети не могли забыть о том, что оно надвинется, они ели, спали, хандрили с этим ожиданием. От одного его прозвища распирало дыхание: Азовское.

— Азовское, Азовское! — повторял Коля.—А Каспийское море на что похоже? Каспи-ийское. — тянул он. — На что оно похоже?

— Каспийское! — Миша сразу понял, что требуется. Это как будто на него наступили и оно пищит.

— Нет, не так. — Коля рассердился, потому что не мог доказать, почему не так. — Очень, очень темно, туман, и желтый огонек далеко, далеко, и дрожит.

Мать поцеловала Мишу.

И вдруг это плаванье по степи оборвалось.

Очевидно, их помещичий поезд попал во взбунтовавшееся село. Трое мужиков с дубинами остановили карету у пруда. Один, бородатый и страшный, открыл дверцу и захлопнул ее так, что экипаж качнуло. «Распрягай коней!» — кричали откуда-то издали. Миша успел выглянуть в окно. Из села, по дороге и лугом, бежало много народу. В карете мгновенно стало душно, солнце как бы опустилось над кожаным верхом и жгло лак. Мать оттаскивала Мишу и Колю от окон и совала их к себе за спину. Шум рос, как прибой. За спиной у матери вовсе нечем было дышать.

— Форейтор! Илюшка! Где он? — бормотала мать.

Коля говорил:

— И Петро убежал, и он.

Карета, без кучера, без лошадей, сразу показалась Мише тем, чем она была в действительности: непрочной скорлупкой, укрытием от пыли и от небольшого дождя. Исполинские руки отрывали и захлопывали дверцы, каждый раз в карету попадал тяжелый сивушный перегар. Крики, перегар, отдаленный гул, ржанье лошадей продолжались бесконечно, — началось в полдень и никак не кончалось. Кругом были только чужие. Мать и горничная шептались, и Миша, хоть не слыхал, о чем шла речь, знал — о дяде Ясе. Он ехал сзади, в тарантасе, и хоть за все путешествие ни разу не отдал самостоятельного распоряжения, теперь оказался единственным возможным защитником. Мать боролась с Колей, который все рвался посмотреть, что наружи, и даже побежать в толпу.

— Я им скажу, что у нас никого не наказывают, дворовых! Вот и Поля скажет.

— Молчи! — стонала мать.

Миша забился в самый угол и ногтями рвал ветхий шелк обивки, резал пальцы о материю, о волос и мочалу. Он одновременно постигал скрытый слой набивки и надеялся проделать небольшое отверстие, в которое вырвется сзади кареты, где нет мужиков с дубинами. Его не заметят, он во весь дух домчит до дяди Яси и скажет, что их хотят убить разбойники.

— Мама, они просто пьяные! Они сами нас боятся, — говорил Коля.

Пальцы, ногти, ладони, все горело у Миши, но по спине, слабой, беззащит-

ной детской спине, время от времени проползали холодные струи и нестерпимо щекотали ягодицы. Это было телесным проявлением ужаса. Чтобы заглушить его, Миша изо всей мочи вырывал набивку и едва не плакал от царапин, порезов и вида крови на руках. Но все же эта боль была переносимее страха.

Обе женщины в изнеможении держали Колю. На Мишу, который рылся за узлами и корзиной, не обращали внимания. Перед ним наконец обнажился испод толстой, туго натянутой кожи. Это была уже не мягкая, податливая материя, не мочала, а крепкая, жесткая, шероховатая мездра. Ее нельзя было ни проломить, ни прогрызть.

— Ножик дайте! — крикнул Миша.

— Господи, да что же это такое!

По тону восклицания мальчик понял, что он трудился над глупым замыслом, что калечил себя над бессмысленной выдумкой, за которую засмеют, а, может быть, и накажут. Ясно, что карета окружена со всех сторон, и сзади слышны те же злые голоса, что спереди и с боков. И если он побежит, тяжкая дубина брякнет о череп. И тогда ни с чем не сравнимый ужас схватил его за спину, проскреб по ней болезненной щекоткой до низу и остановился судорогой в самых сокровенных местах. Миша подпрыгнул на подушке сиденья к стеклу и ударил его кулаком. Миша слабо взвизгнул. И странно, — хоть ударил по стеклу сильно, но точно рассчитал, и не разбил стекла, и не поранил руку.

Сквозь слезы стыда, ск[illegible] запыленное стекло он увидал стройный ряд серых, одна к одной лошадей. На небесно прекрасных конях сидели всадники, и солнце играло на высоких шапках с золотом. Их черные мундиры были грозны. Это на рысях надвигалась кара на разбойников: шел взвод Бессмертных гусаров. Серые лошади, багровое солнце, блеск шашек, отлив страха, — вот что принесли солдаты.

Мама крестилась. «Ну, — подумал мальчик, — нас теперь не убьют. Теперь им достанется, так им и надо!»

Между каретой и толпой теперь возвысились трупы лошадей. Миша смотрел, что делалось за ними, видно было плохо. Некоторых мужиков отводили в сторону, спешенные солдаты вязали их. Крика стало еще больше. В мужские голоса ввязались женские визги. Ревели дети. Миша припал к окошку. Толпу оттесняли к пруду, перед каретой очистилась свободная площадь. Под'ехал офицер. Он спешился и, видимо, направлялся к путникам. За ним бежала баба, высокая, плечистая, ноги открывались по колено. Тот круто повернулся, они очутились лицом к лицу, баба сильно, помужичьи развернулась и ударила его по скуле. Пышный кивер упал в пыль. Офицер выхватил шашку. Баба уже лежала на земле и над ней были занесены передние ноги большой лошади, которую усатый солдат поднял на дыбы. Офицер топал ногами и кричал, чтобы ей забили рот землей.

— Забить! Забить! — кричал офицер.

Два солдата держали бабу за плечи и наваливались коленями. Мужики стояли хмурой толпой в стороне, оттуда полетело несколько комьев. Офицер ударил бабу сапогом по боку и провел два или три раза подошвой по лицу.

— Едем, едем! Ах, ужас! — всхлипывала мать.

Коля распахнул дверцу и выпрыгнул из кареты. Миша услыхал тонкий вопль:

— Не смейте так, господин офицер!

Мише мгновенно представилось, что над братом занесено разящее лезвие и — еще миг — хлынет кровь из всего Коли, как из огромного пореза.

— Коля, Коля! Мамочка, он зарубит его шашкой! — закричал мальчик.

Но мать уже бросилась в свалку. Пестрое пышное платье мелькало среди серых и черных спин. Миша весь напрягся но не мог сдвинуться с места и не понимал почему. А это Поля изо всех сил держала его за плечи.

(Все это потом ему снился страшный сон, который затер даже воспоминание о море. Миша сидит в тесной комнатенке и твердо знает, что сейчас произойдет где-то в близкой темноте страшное несчастье. На какую-то, мучительно знакомую и дорогую девочку наезжает всадник, такой громадный, что давит деревья, дома, и все бегут от него. Мише не дано его увидать. Надо только побе-

жать, крикнуть, предупредить девочку. Надо крикнуть: «мама!» Но он нето забыл слово, нето захвачено дыхание и нет голоса. На этом он просыпался со стоном.)

Миша обрел себя в об'ятиях матери. На него смотрели пыльные, усатые солдатские лица. Коля стоял у подножки кареты, бледный и в слезах. Дядя Ясь весь в поту, в черных подтеках по толстым щекам, пенял ему:

— Так, нельзя, Николай, ты не маленький. Ведь они же истинно наши спасители. Я, знаете, сестрица, увидел издали, что с вами какая-то катавасия. Ехал далеко сзади, очень уж пыль от вашей кареты. А мой Тихон говорит, — «что-то, сударь, неладно». Я, знаете, присмотрелся, да, знаете, в сторону и свернул. В минуту опасности в рассудок входишь, вспомнил, что тут недалеко расквартирован эскадрон родного полка. А вот и он, наш благодетель!

Солдаты расступились, вытянулись, образовали проход. И по проходу шел— гремел шашкой, гремел шпорами, оправлял какой-то значок — офицер.

— Путь свободен, сударыня! — изрек он и щелкнул металлически. — Рад услужить однополчанину, — подарил он дядю Ясю.

Тот побагровел и отирал синим фуляровым платком переносицу и растроганные глазки. Детей офицер как будто не заметил.

Коля придумал игру. Надо было залезть под стол и спустить с одной стороны скатерть, так изображалась карета. Нужно было глухо ворчать: — р-р-р. Потом Коля выбегал из-под стола и бил воображаемого офицера. Сначала он бил его по щеке, как ударила баба, а затем, как офицер в свое время бабу, Коля валил офицера на землю и топтал ногами. Миша думал, что это бьют бабу. «Мама, мамочка!» — кричал он. Взрослые запретили игру, едва о ней узнали, она чрезмерно тревожила детей.

Чувство ужаса и судорог в ягодицах, которое испытал Миша, Коля наименовал «дворянским драже». Коля долго, до поздней юности и полной победы над чувствами и предрассудками детства, не сознавался, что тоже был напуган до «драже». Но канун зрелости принес ему неестественную откровенность и жестокую ничего не щадящую вдумчивость.

— Много-много лет потом я дрожал такого бунта. Бывали недели, когда впивалась в меня эта мысль.—Коля сжимал кулаки и делал такие напряженные движения, как будто вязал в узел ружейный шомпол. Но год за год в эту боязнь, отвратительную и животную, вмешались другие мысли и чувства. Ведь она длилась много лет, — чего-чего не передумаешь! Сначала я боялся и ненавидел и себя и тех, кто меня заставил испытать это унижение, то есть мужиков, конечно. Но если долго думать, начинаешь понимать связи. Я стал бояться и ненавидеть сначала «жестоких» помещиков, а потом вообще помещиков, которые доводят крестьян... и усмирителей вроде того офицеришки... Но тут уж недалеко и до истины: а вообще кто прав в этой лютой вражде? Легко поставить себя на место какого-нибудь мужичонки из Сухого Млина и спросить, а стерпел бы хоть сотую долю того, что ему приходится, или нет? Нет, конечно. Я и неи меримо меньшие испытания — испыт ния и огорчения помещичьего сынка сношу с таким трудом и корчами. Я г нял, насколько тяжела, беспросветна, справедлива крестьянская жизнь, ко... она может довести до такого раздражения и злобы, которую надо усмирять оружием, топтать кавалерией. И злоба эта справедлива. А раз справедлива — я с ней. И у меня уж нет страха. И не будет.

Углубимся в дебри детских радостей

Но если та баба на земле была еще не его, Мишина, а Колина обида, то других детских обид у Миши никто не отнимет, не смягчит.

Сколько лет он корчился от стыда, едва приходила на память картина его позорного провала на детском спектакле. Брат Коля придумал театр, первую пьесу разыграли по-печатному, зрительствовали все свои, нахваливали лицедеев, юных отпрысков Грековых, Щекотихиных, Кованько, кузенов и кузин.

вторую пьесу Коля сочинил сам, — снова успех.

Тогда сел Миша, царапал бумагу три дня, до ломоты в пальцах, до колючих судорог. Ступни ног потели от восторга, дыхание пресекалось, сочинитель видел себя средоточием настороженного лестного внимания. А на поверку оказалась глупая мазня, отвратительная бессмыслица, что-то безотрадное и постыдное (творец в несколько дней заспал эту гадость, но действие ее на зрителей, на актеров, на себя помнил до мельчайшего — и навсегда!), причем участники зрелища поняли это лишь тогда, когда опустили простынный занавес и ждали рукоплесканий.

И не дождались. Бесшумно обваливались какие-то куски времени, тяжкие как удары больного сердца. За занавесом как бы вымерло, молчали. Дети готовились принять восхищение, наплывало сознание гибели всякого восхищения. Глухая тишина словно бы густела, приобретала вещественную ощутимость и заливала несчастных.

Наконец простыни раздвинулись, с не[illegible]ной стороны, от зрителей. [illegible]льшой, требовательный, спра[illegible], как все законы отменного [illegible]торыми он владел в высокой [illegible]ц шагнул к толпе мальчиков и девочек в нелепых одеяниях, оглядел скверно накрашенные хари и выронил увесистые, уничтожающие слова:

— Бог знает, какой вы вздор представляете, прямо уши вянут!

Все пришло в дв[illegible]жение. Вина за молчание, оледенившее детей, спаявшее в одно обиженное стадо, распалась, дала свободу действовать всякому за себя.

— Это все Мишука напридумывал, Мишка!

Актеры вопили до того, что у мальчика заломило уши. Актеры радовались, что виновник наконец найден, и на него можно свалить всю гору этих нескольких минут безмолвия за белой тканью. Коля, в мочальной бороде, — он изображал старого помещика-пьяницу, — визжал оглушительней всех, через каждый взвизг выкрикивал имя брата, показывал ему кулаки, затем убежал в угол за диван и там разревелся так, что долго не могли утихомирить.

Мише было жарко, душно, неповоротливо от подушки, привязанной к животу и от юбок, пояс которых приходился подмышкой, ужасно тянул, весь вечер не давал вздохнуть. Сын видел себя погибшим в глазах отца, погибшим позорно, как если бы его затянула, и по заслугам, яма с нечистотами. И в глазах отца останется зрелище сына в толстых, непристойных юбках, сыну хотелось тут же умереть, или — еще лучше — распасться бесследно, никогда не быть. Никто не щадил неудачника ни в тот день, ни после. Все как будто обрадовались его неудаче.

Коля потом поставил еще два спектакля, но Мишу уже не приглашали участвовать, он и не набивался, и зрителем не желал ходить. Мальчик лечил себя от удара играми наедине, упражнял себя уединением. Игры наедине с собой очень трудны. Игрушка живет в руках у нескольких детей как живое существо. Она действует. Игрушка в руках одинокого любознательного ребенка быстро превращается в вещь. Вещь интересна только тем, как она сделана, «что у ней внутри». Миша расковырял несколько кукол, поломал Колина коня, Коля его поколотил, и Миша в один прекрасный день очутился с единственным приспособлением: сачком для бабочек. Эта ничем не любопытная, простая вещь полезна только в действии. Мальчик истреблял огромное количество насекомых. Он был неутомим.

Через некоторое время, а может быть, это было и прежде театральных увлечений, дети пристрастились играть в карты. И родители, и родственники, и гости только и делали, что мусолили карты в промежутках между обжорством, ради которого росла и цвела вся Белокриничка, ради которого кисло, стыло и бродило в погребах, жарилось, томилось, млело в печах. Дети резались в карты с горничными и бородавчатым лакеем Федосеем Леонтьичем, приданым матери из рязанской деревни. Миша в эти времена особенно враждовал с братом. Они дрались ежедневно.

Греков и впоследствии, много лет спу-

стя, сохранил унизительное волнение и боязнь остаться в дураках: в горле как будто застревала тупая кость, мальчик прыгал на стуле, плевался, бранился, пытался плутовать, путал, требовал порядка, тишины и снова впадал в путаницу, и в который раз оставался! Игроки видели, что ему обидно до драки, а в этом-то и заключен смак игры, и подшучивали, и подглумливались, даже Федосей Леонтьич:

— Ну-с, барчук, мозольки набьете картишки-то мешать да сдавать! Дайте уж я за вас. Позвольте услужить.

— Дурак! — кричал на старика мальчуган, срывался, в слезах убегал.

Но жаловаться нельзя, жалобы вызывали лишь издевательства,—и по справедливости. Обиженный хоронился где-нибудь в пыльном чулане выревывать злобу и горе, его в конце концов находили, старшие дулись и даже наказывали за несдержанность.

Где это происходило,—в именьи или в Харькове? Многое, комнаты например, мебель, сплылось в некоторое сероватое единство плотных, тяжелых, неуклюжих очертаний. Перестали быть реальными тогдашние лица, тогдашние отношения, и если бы не горечь того, что они породили, как бы он, взрослый, мог поручиться за то, что у него было детство! Но осталась буйная, непобедимая раздражительность, она приводила к стольким ущербам впоследствии. Осталась зависть, которая в детстве много заглушила светлого и полезного. Осталась нелюбовь ко всякому, даже в другой области выдающемуся сверстнику, которого следовало бы уважать за силу, за ловкость, за выносливость. Уважение одно из основных общественных чувств, без которых невозможна совместная работа. Ему многих трудов стоило взрастить в себе любовь к людям как плод уважения, без этого чувства невозможно ни учиться, ни учительствовать. Но это была работа более позднего времени, и работа во многом сознательная.

Оба старших брата, и Коля, и Володя,—странно, но средний брат проходил как бы стороной, заурядный и скромный мальчик, тенью старшего, Коли,—оба обожали гимнастику, единоборство, бег взапуски. И всегда побеждали, конечно, младшего. Правда, тут победители благородничали, нето что за картами, не издевались. Но от благородства их Мишу и вовсе воротило.

И слабый сошел с поля состязаний: ядовито уничтожили самое поле и для других. Мать была мнительна, страшилась увечий, ушибов, запретила упражнения. Маленького Мишу гувернантка старших прозвала monsieur Vif-argent, господин Ртуть. Таким он и был в раннем детстве. Непоседа и надоеда, он носился около кухонь и девичьих, пропадал в ригах во время молотьбы, на огородах в дни полки и сборов. Он обожал вмешиваться в работу больших, ему хотелось так же великолепно махать цепом, как молотил знаменитый Павло из Панасовки, косить траву в строю почтенных мужиков, не отставая от всех. Быть на побегушках, как крестьянские ребятишки,—это его не тешило. Он барчук, играл в работу, а не помогал, потому что в этом никто не нуждался. В играх чаще всего ему выпадало, вернее — сам выбирал, изображать повара, конторщика, папу за расчетами, причем у Миши всегда оказывалось в руках настоящее орудие работы: острый и тяжелый как меч нож, счеты, папин чубук.

Незаметно и постепенно, с первыми месяцами отрочества, прививалось другое прозвище: Михаил-книжник, мать прибавила — святой. Самолюбивого и гордого мальчика (а свойства эти росли от неудач) вечно опережали два дружных сорванца-погодка, мускулистые, насмешливые, вечно на пути везде, всюду, кроме книг. Втихомолку Миша выдолбил азбуку, одолел слияние звуков, чудо искусства читать, переступил в шелестящий мир страниц, где до поры до времени не было соперников, не было опередивших. Он сделался яростным читателем, заболел книгой, книга заменила ему жизнь. Если раньше игры подражали работе, то теперь силою воображения мальчик стал подгонять всякое истинное житейское положение, в котором он очутился, под известные ему книжные образцы. Люди стали по-новому занимательны, так как походили на описанных в книгах. Кузнеца Трохима

можно было уважать за то, что по роду занятий он напоминал гоголевского кузнеца Вакулу. В их церкви могли случиться те же происшествия, что в «Вие». Зимой он строил не ледяные горы, а Ледяной дом. А если строил ледяную гору, то для того, чтобы по Марлинскому изобразить Кавказ. Вышло так, что его фантазия искала немедленного воплощения. Миша не любил предаваться бесплодным грезам, жаждал осуществлять. И совершенно неожиданно любимой книгой сделался двухтомный «Домашний лечебник», который мать оставляла где попало, уверенная, что эта скучная книга никому не нужна. Но Миша, когда не было ничего другого, был способен читать синтаксис, особенно примеры из литературы. Журнальную и газетную смесь, вздорную науку, непроверенные открытия, полезные советы — все это он поглощал. Действительность преображалась. Мед был не просто сладкое, но и прекрасное средство от почечуя. Безразличные травки имели свойства то свертывать кровь, то усыпительные, то родо[illegible]тельные. Из обыкновенной елки [illegible] скипидар. А в Америке в нед[illegible] черпают жидкость, которой [illegible] лечить олени. И Миша готовил[illegible]вать недра Белокринички, дабы [illegible]фть.

«Может быть, к лучшему?»—спрашивал потом себя Греков, имея в виду борьбу за детские радости и игры. Но в минуту печали очень простое возражение опрокидывало оправдательный довод: хорошо, этот путь исключения легких успехов, узкая, стеснительная тропа, иногда над отвесной крутизной, путь этот вел к одолениям труднейшего, привел Мишу в стремя науки, дал призвание в пятнадцать лет и признание в двадцать. Но кто и что возместит слезы, корчи унижения и стыдобы, и к чему такая жестокость, чтобы создать характер? Сколько, какое количество горечи пошло, так сказать, на пользу, а сколько пошло на отраву души, вредило умственному росту, и теперь еще отзывается болью? И не изживется?

В особенно мучительные часы, как бы для того, чтобы доканать, довести до стона, вспоминался один проступок.

Михаил Иванович глубже ушел в кресло, бросил перо и замычал от стыда. Удушающей неприглядностью, тяжелой телесной ощутимостью воспоминание охлынуло его. Это случилось несомненно в Харькове. И вообще в городе происходило безмерно больше неприятностей, чем в именьи. Город показался детям падением в низины. Быт там оборачивался колючками, назиданиями весьма внушительными, а иной раз и издевательством.

И внезапно вся смутность, вся слитность протяженных детских лет рассеялась,—Михаил Иванович воочию увидал харьковскую анфиладу: залу, столовую, гостиную, шитый бабкой Прасковьей Романовной ковер над блеклой софой, крашенные ярко-желтым полы с дорожками. За окнами кривлялись в облачном небе черные ветви деревьев, должно быть, было ветрено, детей не выпускали. Коля, Володя, знакомый мальчик Сережа бегали взапуски. Потом втянули и его, и тут поднялось несусветное: пол и стены гудели от топотни. Сотрясение и шум — шум отзывался в красном рояле, отзывался и теперь в ушах — особенно тешили ребят.

Им, когда они еще уезжали из Белокринички, дворовые нашептывали, что в городе своевольничать не позволяют, там строго, по ранжиру, все ступают чинно, прогуливаются взад и вперед по мостовым, шляпы снимают друг перед дружкой, шуметь запрещено. Там все на расчете, и много прислуги в доме только у самых богатеев.

Новая гувернантка прогуливала детей по улицам, все действительно походило на то, как предсказывали. Внушалось: не хохотать, не прыгать, не показывать пальцем, не сходить с тротуара, мало ли еще что! И пренеприятное открытие поразило детей: на улице слонялось множество богачей и дворян, красивых, дородных и прекрасно, гораздо пышнее папы и мамы, одетых. Богачи раз'езжали в каретах и колясках, на рысаках в яблоках, масть к масти, и никто не обращал почтительного внимания на Грековых, даже если они шествовали всем семейством. В таких случаях в Белокриничке встречные кланялись в пояс, всяк

обращал ласку на детишек, пренебрегал занятиями, чтобы их встретить, приголубить, побаловать. А тут папа иной раз уступал дорогу важному господину, и мама краснела, разговаривая с чванной старухой.

Коля первый высказал огорчительное наблюдение, что в городе приличные люди имеют свой экипаж, на наемных ездить считается совестно, а им приходится. Не так давно вся мощь и все заботы вселенной были сосредоточены на семье Грековых. А теперь вселенная обернулась неприветливостью, безразличием, требовательностью, строгостью. Однажды Миша стоял у крыльца один, прошел оборванный мальчишка и в упор посмотрел на него.

— Не шмотри на меня!—Миша тогда шепелявил, у него выпали передние зубы. — Не шмотри на меня, каналья несчастная!

Мальчишка не испугался крика и остановился. Миша выходил из себя.

— Не шмотри на меня!

Мальчишка приблизился и безмолвно подсунул к губам костистый грязный кулак.

Дети не взлюбили ходить на улицу. Дом стал крепостью, в которой можно было отсидеться. Вероятно, потому они так и шалили дома и никто их не останавливал, понимали. Грековы занимали квартиру во втором этаже особняка. Внизу напыщенно дотлевала домовладелица, генеральша на пенсии. Про нее судачили, что она обеднела, но на взгляд детей она была богата, одна занимала столько же комнат, сколько вся их семья, имела выезд, большую дворню. И вот генеральша — ее желтоликий дух в чепце и черной мантилье — посмела и вторглась в вольные игры, сотрясавшие дом. Бородавчатый Федосей (давным-давно черви и бактерии с'ели эти самые бородавки вокруг мясистого носа и на вкусном раздвоенном подбородке) вспорхнул на цыпочках в залу, пришлепывая туфлями, махал еще издали усмиряюще и с испуга начал было по-украински:

— Ой, панычи, панычи, послухайте...

И почтенный лакей торопливо, как ему было вовсе не свойственно, — бакенбарды тряслись на пухлых щеках, — сообщил, что ее превосходительство прислали сейчас свою язву-горничную: требуют не шуметь, у них головка разболелась.

Веселье рухнуло в черную дыру, под пол, огонь игры погасило страхом, который дети переняли от встревоженного Леонтьича. Они сбились в кучу, сплоченные обидой. Тогда гнев накатил на Мишу. Он выбежал на середину залы, туда, где половицы дрожали даже от детских шагов, упал на живот, стучал носками сапожков в доски и орал в щель, уверенный, что его слышат внизу:

— Дура, чорт, старуха, скоро ты умрешь! Ты не будешь тогда мешать нам!

Он вопил еще что-то, визжал, свистел в два пальца, изгибаясь в спине, и снова припадал к полу.

Вот еще когда смерть, которую мальчику и не довелось даже видеть, встала перед ним как наказание. Обоняние прекрасно помнило запах пола — давней олифы, пыли, следов подошв. Осязание помнило боль в отшибленных коленках, в пальцах ног. Любой мускул мог так же сократиться, как он сокращался в том припадке.

Но Греков совершенно запамятовал (и тогда, вероятно, не чувствовал, не слышал), как его усовещевали, сначала Федосей и братья, затем мать, гувернантка, дядя Яся. Его подняли на руки, он, говорят, кусался и рыдал. Первой точкой сознательного ощущения был стыд, он очнулся. С каждым сокращением сердца и расширением сознания било удар за ударом понимание, что поступил неправо, гнусно, никогда не забудет ни сам, ни окружающие, и мученье стыда, как бы жгуче оно ни было, бесцельно, потому что бессильно что-либо изменить.

В этом поступке, видимо, нашла выражение перемена возраста, младенчества на отрочество. Мальчик переходил из семьи в общество. И отсюда началась связь ответственностей: взрослый Греков называл поступок со старухой подлым и так же стыдился этого деяния, как в первую минуту, когда очнулся.

Харьков раскрывал детям новые связи между семьей и миром. Из деревни прибывали подводы, староста делал доклады отцу. После них отец озабоченно

бродил по комнатам, а в кабинете стучал счетами. В доме все серело, скучнело, и, как из мглы, звучал старшим детям поучительный голос родителя:

— Учиться надо, мальчики, одними арбузами из Белокринички не проживешь. Вы в трудное время выходите. Вон дядя Яся пророчит,—кончаются вольности дворянства.

Мать иной раз поймает Мишу, поцелует, ее губы как две гусеницы поползут по его щеке и дышат жаром и шопотом:

— Маленький мой, умненький, ты станешь ученый, ученый, все книги прочтешь и все на свете узнаешь. Тебя будеть знать весь мир, и твою маму. И будет греметь твое имя: Греков, Греков, Миша Греков. И будешь жить не в глуши, не взаперти, как мы всю жизнь сидели, а в вольном мире. Будешь?

Мальчику казалось, что он ничего не понимает, и хотелось забыть сразу слова матери и заплакать, он противился давлению тоски в ее голосе, сторожился ее требовательной гордости и не мог вникнуть, на что она жалуется. Однажды [illegible] огрызнулся сварливо:

[illegible] А что это «взаперти», да «взапер[illegible] Что тебя, в чулан запирали? Пло[illegible]зве в Белокриничке? В Белокри[illegible] просторно.

Она засмеялась.

— Мальчик мой, ведь я только поглядывала на этот простор, а двинуться не могла. Нет, ты так не живи, сделай милость, не будешь?

— Не буду!—закричал Миша.

И с этим криком он уразумел, на что плакала мать.

2

Михаил Иванович тонул в глубоком кресле и следил, как в щели суконного занавеса тускнело небо над швейцарским пансионом. Ему становилось понятно, что так называемое жизненное равновесие нарушилось, и оказывается, решаемая им формула дает отрицательный результат. Своим радостям он подвел итог.

А кому я собственно доставил радость?

Все детство загрязнено дикими выходками, ненавистью, и полным, на голову, поражением. Мир пред'являл малышу грозную морду и безмолвно заявлял: «покоряйся».

Все развитие личности в том, в сущности, и состояло, что он, Михаил Греков, вожделел своевольничать, а обстоятельства принуждали барича к покорству. Он подобно кроту прорывал свой путь в толще бытовых почв. Но какой это был извилистый, темный, душный, бесславный путь! Сколько приходилось оползать, обходить препятствий, жилиться, гнуться, зализывать раны, дрожать!

Помимо воли, вне порядка, в глубокой тени выпуклых воспоминаний сочилась и саднила еле определимая, но все же ощутительная тревога совести о проступках, которые приносили несомненное и тусклое наслаждение и длинное безысходное отчаяние. Двадцатисемилетний мужчина, вдовец, естествоиспытатель усвоил многому название, даже подобно Адаму наделял новыми наименованиями им впервые наблюденное и открытое, постиг какое-то, далеко не поверхностное, взаимодействие явлений,—но всегда вставал втупик, зачем был он наделен этими преступными стремлениями в таком раннем возрасте.

Сознательное отношение к ним зародилось в полубреду: корь, жар, мать требует, чтобы ручки были положены на одеяло и так держать всегда. Итак разгадали, почему он роется под одеялом. Пожалуйста, он готов умереть и готов убить маму, если она действительно обо всем догадалась.

Именно потому, что ему вышло постоянно оставаться одиноким, наедине со своим телом, со своими руками, со своими ногами, мальчик подглядывал за петухом, который мял кур, за озорным мерином Киргизом, который бесполезно, но яростно громоздил жирное тело на кобыл в стаде. У мальчика напухали от жара щеки, мальчик сопоставлял, примерял к себе, природа переставала быть вне лежащей красотой, веселым зрелищем, разыгранным на потеху ребенку, в ней так легко находились соответствия, постигнутые не умом, а дрожью кожи, похолоданием пальцев.

Через подражание и преступные поиски услад обреталась отроческим телом связь со средой мира. Укоры взывали к мозгу: постичь ее разумно и осмысленно.

И снова Михаил Греков задавал себе и природе вопрос, за что она казнила его, малыша, одарив любопытством, одарив способом находить — и так доступно — вредные наслаждения, дав в наказание стыд за них и раскаяние, когда сам себе нечист — это ангельская-то душа!—дав дурные сны и рыдания? Греков перелистал, как книгу, мучения роста и не увидел в них смысла.

3

Наивное воображение верующих,—думал Греков,—представляет душу человека как бесплодный образ тела. Древние предрассудки обладают неизживаемой силой. Их можно подавить, но едва ли в возможностях отдельного человеческого существования от них вполне освободиться. И Греков, биолог и, как он любил себя называть, позитивист, никогда не мог начисто изгнать из воображения поиски этого самого, как бы зримого, соответствия между душой и телом. Он иногда очень явственно предполагал у себя за спиной невесомое и бесшумное повторение своей особы. Появление этой бестелесной копии было мало обосновано.

За последние дни после морфия Михаил Иванович приметил, что косная оболочка тела жительствовала довольно безмятежно, если не считать некоторых расстройств мочеиспускания: ела, спала, разговаривала, правда, не обильно и без аппетита, но зато и без особых треволнений. Вторая же, бестелесная часть его существа испуганно и напряженно ожидала чего-то. Даже точнее—готовилась совершить нечто. И про себя зная наименование, не решалась назвать, однако, и самое действие, и подготовку к нему простым и не очень страшным, если не прилагать его к себе, звукосочетанием. Грубая же часть звала тревожное состояние научно: суицидальными намерениями. Понадобится — переведет, не устрашится слова самоубийство. Но, существуя отдельно, обе части состояли в согласии, как две струи разных оттенков и плотности в общем потоке.

Михаил Иванович заключал, что его жизненный опыт обилен и безотраден. Всякая радость была коротка и вдребезги разбивалась о предупреждение, которое неустанно бодрствовало в нем: смерть близка — смерть всюду — смерть неизбежна. Любое горе имело закономерное продолжение, действительное и несокрушимое: страдания конца.

Греков мог считать себя избранником счастливого случая: ему не довелось изнывать ни в голоде, ни в холоде, его не терзали ни изнурительные болезни, ни бессмысленный рабский труд, которым истязают подавляющее большинство человечества. Но, вероятно, от давних предков (история его рода, правда, не упоминает о них, история начинается с довольства), от обиженных предков он унаследовал обостренную вражду к несправедливости. И, пожалуй, человеческая несправедливость одна причинила ему столько страдания, что вполне уравновесила, например, все высокие радости, полученные от научных занятий,— правда, таких весов еще никто не изобрел.

Вспоминая себя, Михаил Иванович не мог вспомнить такого времени в гимназии, когда бы он не воображал себя ученым. Вначале это были смутные уподобления себя разным преподавателям,— власть над толстыми книгами, бесконечная глубина об'яснений разных предметов, отметки в тетрадях с письменными работами учеников, их ставят в таинственной тиши вечеров. Наконец мечта остановилась на Захаре Захаровиче Захаровском, преподавателе физики и математики в старших классах, очкастом и рассеянном человеке, которого за доброту величали Аника-воин. Захар Захарович волхвовал среди чудовищных и великолепных приборов. Собственно Миша скоро понял их действие и назначение, но ему всегда не доставало чувства полного господства над ними. Он желал обладать этими машинами, пускать и останавливать когда вздумается, об'яснять их действие слушателям.

Его урезонивали, что быть учителем— это обречь себя на голодное существо-

ание, и что, слава богу, до этого еще не дошло. Но резоны и возражения не останавливали мечты. Вон Джиордано Бруно сгорел на костре. А тут запугивают голодом! Да Захар Захарович и не голодал вовсе, а прекрасно каждый день завтракал в учительской.

Отец был знаком по клубу с ректором университета, раскланивался с ним почтительнейше, и однажды—они шли семьей по Сумской—при встрече с важным стариком в бобровой шубе и цилиндре, сказал:

— Весьма ученый и почтенный господин со значительным положением в обществе. Это, несомненно, приходится признать и отметить, как факт прогресса в нашем отечестве. Раньше, в мое время, ценили лишь военную службу. Но времена меняются. Теперь сражаются на других полях. А тебя, Михаил, весьма одобряют за успехи.

Миша несколько месяцев спал и видел себя ректором университета и полным статским генералом, перед которым все высоко подымают шляпы.

Миллионы юношей воображают себя одерживающими успехи. Но Миша очень рано сообразил, что надо уметь работать, и так же рано ввел это понятие в свой словесный обиход. Но, разумеется, сознательному отношению предшествовало трудолюбие, как естественный переход от бессознательной игры жизненных сил к игре, направленной на удовлетворение любознательности. Миша обожал читать жизнеописания великих естествоиспытателей. От Линнея к Бэкону, от Галилея к Гете металась его фантазия, грабила их достоинства и наделяла ими в щедрых мечтах замечательного всеми качествами Мишу Грекова.

Он должен так же беспредельно много читать, экспериментировать неутомимо,—ночная лаборатория, сиреневое пламя под колбой на штативе, змеевики, и вдруг его озаряет гениальная вспышка, он не спит ночь, две, мечется по коридору и ледяными пальцами записывает мировое открытие. Он воображал, что кот прольет олеин из горящей лампы на рукопись его десятилетнего труда и погубит. И—Старый Великий Миша Греков зарыдает глухо. Но не убьет кота, а напишет заново ученое сочинение.

Этот отвлеченный жар, это подражание людям, которых он никогда не видал и которые были ему больше знакомы и близки, чем ежедневные лица близких знакомых, воспитывали его. Он особенно тщательно собирал подробности о навыках работать великих ученых. Один необыкновенно кропотливо накапливал данные и мог годами исследовать кровеносные сосуды мухи-дрозофилы. Другой писал гениальные обобщения, лежа в постели, все утро. Третий спал всю жизнь по четыре часа в сутки. Миша приходил в отчаяние от того, что спать должен был долго, никак не умел распределять время, а иногда на несколько дней забрасывал книги и тетради. Но был уже составлен превосходный образец: заниматься ежедневно и регулярно, выходить на прогулку с таким постоянством, чтобы по прогулкам городские жители проверяли часы. С одинаковой легкостью и признательностью уметь разрабатывать наблюдения, ставить опыт и обобщать.

Иной раз в воскресенье он полдня возился в физическом кабинете, налаживал аппаратуру, почему-то воображал, что вот-вот войдет сухарь-инспектор и будет гнать его, а он ответит как Ломоносов, что можно отставить физический кабинет от него, а не его от физического кабинета. Он расковыривал сложные формулы, как Лаплас. В седьмом классе они с Женей Турмышевым сели переводить огромную «Историю естественных наук», чтобы «научиться писать много и не уставать»! Гимназические предметы шли стороной.

В седьмом классе законоучителем был священник Добросердов, толстый и придирчивый человек с огромной, длинной головой, волосы на ней слиплись в пряди, похожие на ремни. Гимназисты звали его Ноздря. Однажды поп настиг Грекова, когда тот под партой читал постороннюю книгу. Поп подкрался в мертвой тишине, которую не слыхал лишь Греков.

— Это что такое?

Толстый том выпал из обессилевших от окрика пальцев. Ременная голова, обдав жирным запахом, полезла под парту.

— Радлькофер. «О кристаллах протеина»,—раздалось в тишине.

А в перемену только и разговоров было, что Мишке Грекову ничего не будет, а поп получил фигу, нарвался на такое сочинение, которого и заглавия не нюхал.

— Прямо уничтожил Ноздрю!—восхищались одноклассники.

И Миша взвесил силу толстых книг, к которым его так влекло. Наступили шестидесятые годы. Законоучители пугались и отступали перед естественными науками. Брат Николай увлекался журналом «Современник». Брат одобрял занятия Миши.

— Нам нужны натуралисты!—восклицал он свежим, еще не отточенным баском.—И помни «дворянское драже»!

У него в комнате студенты и великовозрастные гимназисты собирались читать «Историю цивилизации Англии», спорили целыми вечерами. В табачном дыму летали слова: «прогресс», «эмансипация», «община», «вольная русская типография», «долг перед народом», «общее дело». На человека, который работает, смотрели молитвенно. Мише прощали французский язык, сдержанную молчаливость на собраниях и совершенную детскость сложения за то, что он все время серьезно занимается и много читает, читает постоянно.

Юноша и сам не заметил, когда произошло слияние научных занятий и целей жизни. Почти все желания сосредоточились вокруг постижения науки. Силы души были направлены преимущественно в одну сторону. Прочитанная книга тащила за собой ворох вопросов, часть которых разрешалась лишь следующей, а часть — во многих следующих. Миша иногда обнаруживал, что ему приятно «сбить» какого-нибудь третьекурсника студента заковыристым вопросом. Он приобрел навык ходить среди книг и выбирать нужнейшие.

(Окончание следует)

Как делается лампочка

Очерк

Илья Сельвинский

1

Найдите на карте славянское «о»,
    Залитое синевой,—
Это Байкал. Золотой ореол
    Пляжей вокруг него.

Комариное облако дышит звон—
    Малярийным легким подстать бы;
В жирной ухе солнечных волн
    Белужьи варятся свадьбы;

И свадьбой же сдувая жене
    Яичную пыль по пояс,
Лиственницы шумят в вышине,
    Как проносящийся поезд.

А дальше навалы скалистых гор
    В склерозных сосудистых жилах,
И черного бора соборный хор,
    И ветер летает на лыжах.

Тут обитает, природой любим,
    Его дородье — медведь;
Вот тут залегали мозговиной глубин
    Уголь, рубин и медь.

Из этого царства мрака и мха,
    Где соль, древесина, меха;
Из этих пучин напластованных масс,
    Где вызревает алмаз—

Оскода, за тысячи верст, почитай,
    Пересекая Азию,
Идет вольфрамовый колчедан,
    Замурзанный грязью.

2

Его, говорят, открыл Вольфрам—
Так и мир зовет.
Его в загон деревянных рам
Сваливает завод,

И он лежит и ждет черед,
И с каменным стуком мелется,
И ржавыми криками ухо дерет
На шаровой мельнице.

Потом его, рыжего, гонят в печь
И там, в теснине розовой,
Он позволяет огню извлечь
Серу, мышьяк и фосфор.

Затем берет его новый отдел.
(Не все еще отдал — все дай!)
Чтобы легко раствориться в воде,
Он смешивается с содой.

Он высыпается в жаркий чан
Пилюлями сухими,
Его берет в оборот отчаянный
Химия;

Берет его дней эдак на три,
В очаг засыпая кокс;
Она из него изолирует натрий,
Марганцевую окись;

Она соляною кислотой
Теперь убирает соду,
Она его чистит, как золотой,
Лелея каждую сотую;

В потоках дистиллированных вод
Гоняет по нотам формул,
Выводит соль, как подагру—и вот
Обрел он последнюю форму.

От горного сна до химической баньки—
Ась? Каков прыжок?!
И золотится в аптечной банке
Его канареечный порошок.

3

Термический зал—это крытая улица
С гильзами горизонтальных печей.
Здесь по способу Кулиджа
Муку спекают в печенье.

Здесь вольфрамовый ангидрит,
Этот металл в порошке,
Медленно под водородом горит
В совочке или рожке.

Покуда он жарится (20 минут),
Маленькое отступление.
В индустрию наши части идут
По мандату Ленина —

Умножить волю ударных бригад
На план и долларо-марки,
И вот растет молодой гигант
Высокой технической марки.

Но трудно гиганту в тумане болот
На ржавой их водице.
Он, собравшись в коммунный полет,
Мелочью должен обзаводиться.

Крылья в порядке — они донесут,
Горючего вдоволь—пылай-ка,
Но мелочи, этот наследственный зуд,
Играют на нервах, как на балалайке.

«Европа страдает от капитализма,
Мы—от его отсутствия».
Так писал когда-то с грустью
Фридрих Энгельс (письма).

Так говорил когда-то с грустью
Как-никак германец.
Легко ли нам пейзажною Русью
Выбраться из тумана-с?

Легко ли в новые гнать ворота
Карусельную Русь,
Если выгазка водорода
Шла сто лет из болотных руд?

И следствием этих наследий бездарных
В газ пропузыривается углерод,
И мучается на тяге ударник:
Струна обрывается в угол и рот,

Струна окровавленной жилой скользя,
Несет отверделые капли:
Так углерод, как вороньи глаза,
Черным алмазом вкраплен.

Его не берет ни тяга, ни жар,
Никакая (вот сволочь!) плавка:
«Видий» сам визжит-визжа,
Когда он вонзается, рявкая.

Его выковыривают из струны
С ненавистью, как дикое мясо...
Но есть ли где хозяйственней масса,
Чем пролетарий своей страны?

Повыбросив раз, другой и третий,
Задумался он за обедом:
Нельзя ль обратить пораженьица эти
В путь к дальнейшим победам?

Ведь если «глазок» для тягания минус,
То для чего другого — плюс...
И черный митинг рабочих блуз
Свое решение вынес!

И вздрогнуло, сдвинулось, пошло, заработало.
Инженер — против, инженера — за;
Не спит и не ест уже лаборатория,
Глядя на мир сквозь вороньи глаза.

Как маятник, пробы за пробой идут,
Прокатятся вверх, низвергаются вниз,
Но верен себе, но тут как тут
«Ударный» оппортунист:

«Опомнитесь! Вы это вправду-с?
Эдакие неврастеники!..
Товарищи! Вы же не справитесь!
Выброшенные деньги!»

Не дремлет также и бюрократия:
Кто-то где-то в ВСНХ
Велит, чтобы опыты посократили
(Старая песенка):

«На сие существует технический главк!
Делать надо свое вам!»
Но уж искомый и твердый сплав
Был почти завоеван.

Еще одна проба. Еще. Еще.
(Сами же будете чествовать!)
Дивизией встала плечо в плечо
Вся заводская общественность.

Капля догадки на каплю труда,
И так от шести до шести.
Теперь «болотная руда»
Уже в большой чести.

Теперь специально спекают вольфрам
В отсосанном углероде,
И вот получается назло фрям
Алмазное отродье.

Среди драгоценных сплавовых рас
Не он ли подлинный шеф ли?
Он тверже «видия» в восемь раз
И во столько же раз дешевле.

Вступивши с ним в производственный спор,
Он честь республики вывез:
Он облегчил советский импорт,
Он превратил его в вывоз.

О нем в газете мелькнул петит,
А нужно бы—поэмы!
Его назвали «п о б е д и т»
По нашей повадке военной.

Он, из надежд не делая Надь,
Из субботника тихой недели,
Гордый лозунг «догнать — перегнать»
Выполнил на деле.

И вот буржуазные мертвецы
Ахают, повылазив...
Так славьтесь же его творцы,
Мольков, Мейерсон и Власов!

Он символом стройки прошел по пути
Зевоту, харк и вычих,
Он ржавчину выжег, он «победит»,
Победит без всяких кавычек!

4

Итак, вольфрамовый ангидрит,
Этот металл в порошке,
Медленно под водородом горит
В совочке или рожке.

Когда же откроется ржавый улей,
Выходит он, черный от газа,
Способный пройти сквозь 12 нулей
Идеального сита Мюльтауза.

Теперь гляди, чтоб не стало мокро,
Теперь береги от ветра,
Теперь его зернышко 5 микрон
(Десятитысячных миллиметра)!

И в страшной страже его увели.
Ответственностью озабочен,
Очки надевает теперь ювелир,
Называющийся рабочим.

Склоняется он шевелюрой хлебной.
Главное—тише...
На цыпочки встанет, воздух хлебнет
И снова пырнет. Не дышит.

Он ценит пылинку, как собственный глаз.
Ему ли с задачей свыкаться?
Ему поручил его собственный класс
Пост электрификации!

И он, Иван, Епифан или Тит,
С честью займет свое место—
Не даром спецовка на нем летит
Гимнастеркой пузыристой красноармейца.

Он пудру ссыпает на мраморный стол
Пощелкиванием ногтя,
Инструментарий проверит раз сто.
(Тут надо работать походя!)

Потом серебряный желобок
Наполнит ценною сажей;
Покроет крышкой, зажмет бок,
Видя свои глаза же;

Еще раз проверит: верна ли шкала,—
Не взято ль какао в обрез—
И вдвинет обернутый шоколад
В никелированный пресс.

И саж, легкая, как душа,
Сцепляя микронные звенья,
Выходит в форме карандаша,
Улетающего от дуновенья.

И снова и вновь в электропечь,
Дыша все так же несмело:
Теперь уже можно его испечь
До крепости мела.

И вот наступает эта пора.
В центральную роль теперь
Вступает сварочный аппарат
В 3000 ампер.

В нем прежде всего—высокий колпак,
Похожий на купол капеллы,
Откуда клапанов толпа
Капает капелью.

Прибавьте торс из чугуна,
Паров перо хвостатое—
И перед вами вот она
Рыцарская статуя.

Смейтесь, но воин себе на уме.
И стоит осмотреть его,
Как ленинградский монумент
Александра Третьего.

Но эта печь люта. И в ней
В пирометр сквозь оконце
Видны агонии огней,
Протуберанцы солнца.

Из тьмы лесов, из топи блат
Металл горит в тоске.
Амперметраж и циферблат
На мраморной доске.

Рабочий ходит взад, вперед—
Здесь он дока:
Усилит в топке водород,
Ослабит силу тока.

Он в легком сером пиджаке,
В зеленом самовязе—
Не даром гумовский жакет
Мечтает. О Васе.

Еще не сгибли молодцы
С финкою и матом.
Но повсюду комсомольцы
Идут, как ультиматум.

Глядите—вот. Присел на стул.
И развернул газету.
Но слушает, как сердца стук,
Стрелки ту и эту.

Он знает план, верит в темп,
Осознает, что воин,
Что он в бою—а между тем
Точен и спокоен.

Он не скулит об отдыхе,
О речке в дреме лодок;
Но, как трудонаркотики,
Не презирает отдых.

Он физкультурник. Главное—
Долой суетливость и нудь!
В самом процессе плаванья
Умей-ка отдохнуть.

Спортивные же навыки
Перенеся в труд,
Такой спокоен навеки,
И годы не сотрут.

Здесь труд почти искусство,
Но именно тут
Физический и умственный
Слит труд.

Для них эмблема молота
Стареет окончательно,
Они привыкли смолоду
К часам и выключателям.

И если только вычесть твой
Рефлекс от слова «молот»,
Ты скажешь: электричество
Приличней комсомолу.

Враги! От «а» до «зет» мы
Рубили вас, но более
Ударники с газетами,
Без грязи и мозолей.

Рабочие без копоти!
Смешно? Попробуй высмей.
Они—прости их господи!—
Почти в социализме;

Они... Но это ерунда ж:
Часы глядят совой!
И стал металлом карандаш,
Имея блеск и звон.

5

И снова жужжат за огнями огни,
И труд кладется на труд.
Словно в гортани налет ангин,
В печи на шарнирах крут.

Огни за огнями сменяются вновь,
Кладется труд на труд—
Штабик металла плющится в нож,
Вытягивается в прут.

И снова шипит окровавленный прут,
И, добиваясь проку,
Красные жилы по жолобу прут,
Вытягиваются в проволоку.

У нее женские голоса,
Она подпевает робко
На блочном стане, где два колеса
И смазочная коробка.

У маховика велик аппетит.
Урча, он жиреет от дергу,
Протягивая сквозь «победит»
Огненную дорогу.

Она же капризно меняет тона,
Подобная тонкой струе.
Теперь уже ее тонина
Равна гитарной струне.

Вольфрамовый карандаш невелик,
Но дела, как видите, вволю-с.
Теперь уже тянет второй ювелир
В пять километров волос.

А третий! Хо-хо... Представьте на миг
Игрушечный станок:
Печурка с колесиками напрямик
Стоят лилипутной стеной.

Умора! Хочется приласкать...
Но выглядит солидно.
И вот берется конец волоска,
Обмакивается селитрой.

Сперва пропускается через печь,
Крошечную, как спички,
В которой огнишка грозится истечь,
Яростью напичкан;

Затем продевается сквозь алмаз,
Как луч, попадающий в фокус,
Проходит с водой графитную мазь,
Предупреждая окись,

И наконец ложится на блок,
Подвязываясь к которому,
Летит, швыряя огненных блох,
Послушный электромотору.

Но этот технический анекдот,
Индустриальная юмореска
Великолепно, без дрожи и треска
Невидимую паутину соткет—

И кажется, это лишь воздуха тканье,
И та, на блочном крыле,
Подобна андерсеновской ткани
На голом короле.

6

На Сухаревой китаец У-И,
Именуемый попросту—Митя,
Продает макароны, говядину и...
Вольфрамовые нити.

К рудникам частникам доступа нет.
Но вдумайтесь и поймите:
Почему это Митя наш абонент?
Откуда нити у Мити?

Агент ГПУ звонит на завод,
Извещает угрюмого зава: вот
Так, мол, дескать, и так-то.
Каково отношение к факту?

Беглым шагом директор в завком,
В партком бегут уже оба.
Завод запирается конным замком—
И начинается обыск.

Выходят рабочие на гудок.
Иной поглядел—обратно утек.
Кой-кто шагает прямо,
Роняя катушки вольфрама.

Дикая вещь: рабочая власть,
Задыхаясь от гневного удушья,
Будет своим же рабочим влазить
В карманы, в пазуху, в душу!

Сколько бы тут ядовитых словес,
Крокодиловых слез на метр и на вес
Исторг о рабочем праве
Меньшевичок и правый!

Но здесь бы они не убили бобра.
Рабочий актив ответит:
На фабриках классовая борьба
В своеобразном свете.

Как тучной земле полагается дождь,
Как телятам—коровьи струйки,
Так чудовищной стройки огромный чертеж
Сосет рабочие руки.

Своих нехватка—чужих подавай!
И смешиваются во дворе в ней
Богемский чердак, беспризорный подвал,
Ночной бульвар и деревни.

И стройка сперва обдает их желчью,
Как чужеродный факт,
Пока не охватят все это полчище
Клуб, ячейка, рабфак;

Покуда сезонник не двинет речь
Противу мата как факта,
Пока беспризорник не станет Андреич,
А проститутка—редактор.

Так рядом с сырьем чеканят людей
    Чистейшего звона:
Большевистской хватки, коммунных идей,
    Пролетарского дыхания. Вон оно!

Но не вдруг выплавляется революционер.
    И хоть парни толкутся в ячейке,
Они при советском гербе и цене
    Еще не червонцы, а чеки.

Мы капитализм громим и мелем,
    Но пот его как иприт:
Он долго еще ядовитым похмельем,
    Горькой отравой парит.

Он воровством, скопидомством, уютом
    Гноит наливные плоды,
В золоте оловом вязким и мутным
    Фальшивит на все лады.

Но с каждым днем наш червонец погромче—
    Он полной ценой отвечает за чек!..
Итак, на чем мы с вами закончили?..
    Да: тяговый цех.

7

Теперь переходим в ламповый зал, —
    Последнее путешествие.
Ламповый зал—это целый вокзал
    В каком-нибудь Кельне иль Бресте.

Ламповый зал почти городок:
    Здесь ярко, шумно, гулко.
Здесь залегли меж станковых рядов
    Улицы и переулки.

Повсюду играя сияют глаза,
    Синие, карие;
Летят вперед, летят назад,
    Позванивая, автокары.

А вот китайчонок. Спецовка на нем.
    Он ловко катит воз свой.
По аблисам голубым огнем
    Вспыхивает фосфор.

Огни, огни. На любой наряд:
    От крошечного шарика
До театральнюго фонаря,
    Подле которого жарко.

Да: о жаре. Пройдите сюда.
В этой вот комнате временно
Лампы заказа иностранных государств
Висят для контроля времени.

Десятки, сотни. Иллюминация!
Полная лампотека!
Точно какая-нибудь нация
Справляет рожденье века.

На улице осень. Дождик сквозной.
Чмяканье. Ноют икры.
А тут неизменно тропический зной,
И в комнате зава — тигры...

А тут эти зобики, зобы и зобищи,
Круглые, будто месяцы.
На всем заводе—хоть все обыщи—
Нет веселее места.

Ударницы, бригадами
Вступя в соревнованье,
Напряжены до атома,
Скрепляя, навивая...

Сегодня первой — Грачина,
Вчера была Каплан...
В огнях и газах промфинплан
Кипит струей горячей.

Станки, агрегаты. Жужжанье и клекот.
Конвейеры лезут упрямые.
Сквозь фиолетовое стекло
Вращаются бренрамы...

И вдруг сыпанет ледяной звонок:
Первой смене шабаш!
Окрики, пенье, шарканье ног,
Хохота золотой запас.

Как птичий базар, подымая гомон,
Стая женщин взлетает,
Несется к гнезду— одному, другому,
И в коридорах тает.

А в гнездах шкапа у номера—
Платье, хоть и не бальное,
Но чистенькое. И домрой
Бренчит вода в умывальной.

Там брызжутся, фырчут: «Подальше хами!»—
Зины, Вали, Ирины,
И с красненькими чемоданчиками
Выходят, как балерины.

Чего, казалось бы, нужно еще?
Работа с плеч—и радуйся.
Щебечь без счета на любой счет,
Целуй до винного градуса.

Нет, погоди-ка. Раньше — завод.
Закончив рабочий день,
Они перво-наперво, прежде всего
Идут поглядеть бюллетень:

Сегодня первым—ламповый цех.
Соперник пошел на дно.
Но переглянулись угрюмо. У всех—
Мысль одна об одном.

Соперник — цокольный цех отстал.
Но ведь урон-то велик:
Он не набрал и нормальных ста—
Вот до чего довели!

Завтра и ламповый из-за него
Сядет без цоколей.
Ишь, проклятый, занемог!..
Того и гляди—околеет.

Нынче у них на экране «Турксиб».
Но если срывается план,
Придется, пожалуй, бригаде Каплан
Взять цоколих на буксир.

А в клоунском фраке тумба афиш
Горит семицветьями радуг:
«Отчего у детей появляется свищ?»
«О международном—Радек».

«Группе А выдается табак».
«Там-то поэт такой-то».
«Любительский смотр ищейских собак
Рожденья прошлого года».

И буквы бьют в барабан перепонок.
Нет. Отсюда не выйти!
Чемоданчик бежит поиграть в пинг-понг,
Послушать советского Овидия;

За ним другой на английский кружок
Чревовещать с бурленьем,
Оттуда в тир и за ружье:
Бить по «чемберленам».

А чемодашка № 3
С зелеными глазенками
Пошел-таки — ах, чорт дери! —
За склады, за плетенки.

А там-то, где над рядом ряд
  В бутылях с черепами—яд,
Под надписью: «Смертельно!»—
  ...юноша из котельной.

Но этой надписи—увы!—
  Не испугалась девушка.
Она сказала: «Это вы?..»
  И запнулась: «... Севушка?..»

Смертельный ж юноша в ответ
  (Совсем затмился дух его)
Лепечет: «Пламенный привет,
  Товарищ Синемухова».

И он присел. Потом она.
  Рядышком. Несмело.
. .
В небесах была луна,
  В цеху — вторая смена.

6

Электрическая лампочка состоит из колбы,
  Цоколя и ножки,
Огненный зоб стеклянного голубя
  Напоминая немножко.

Ножка также делится на:
  Тарелочку, лопаточку и штабик.
У каждой, конечно, различна цена
  В зависимости от масштаба их.

Если же взять однотипный калибр,
  То цены не одинаковы
Между «газонаполненной» либо
  так называемой «вакуумной».

Первой, как говорит наказ
  технического арго,
Дан «благородный инертный газ»
  Азот или аргон.

Вторая ж, она же «пустотная» склянка
  (От vacuum — пустота),
Должна, как показывает рифма, взглянь-ка:
  Быть совершенно пуста.

Итак, с чего, бишь, нам начать?
  Набирается к части часть,
Причем «лопатка» должна иметь
  Два электрода (медь).

И если эта главная часть
Вышла из огненной ковки—
Лампа в какой-нибудь получас
Готова к упаковке.

На агрегатах за туром тур,
Кружась, совершают части
В свисте огненных фиоритур
Покачиваются, мчатся.

Вот уже цокольная латунь
Припаяна к ножке;
Штабик стеклянной слезой на лету
Уже коронуется в ежики;

Ежики быстро гнутся в крючки,
Крючки подрезаются в шиш.
Станки стучат: чики-чики,
Конвейер просит: ш-ш...

Тогда, как и все, деловит и скор
Является наш знакомый.
Помните? Тот, который с гор
Доставлен рыжими комьями.

Сейчас его едва разглядеть.
И только весы Торсиона
Позволят исследовать группе людей,
Взята ль паутинная зона

Но что еще он даст тебе,
Над остовом лютея?
Уж он не материя больше теперь,
Он, если хотите,—идея.

Какой-то абстрактной истиной он
Собой оплетает крючок.
Его накрывает стеклянный баллон,
И вдруг опять горячо—ох!

Он вспыхнул от гнева в бреду агонии,
Скрючен и колюч.
Его пронзил обнаженный луч,
По нем зазвенели огни.

Наливши округлый пузырь стекла,
Сгустясь о зеркальный покров,
По капиллярным сосудам текла
Солнечная кровь!

Итак, отвлеченной истины нет!
Нить, которая «кажется»,
Идет на мир буржуазных теней
Фактом электрификации.

Так значит, идея — материи дочь,
И даже абстрактная истина
Служит реальной жизни точь-в-точь,
Как репа, яйцо, как зайчищина,
Как любая мадонна-Пречистина.

А лампа висит в тропической роще
Оранжевым апельсином
И ждет, когда отошлет ее росчерк
По океанам синим...

Но отчего не приходит никто
Бумагой одеть ее тельце?
И лампа жаркою наготой
Раскачивается, как Гельцер...

Но почему наперебой
Шумят эти Насти и Мити
И воет охотничею трубой
Рупор, созывающий митинг?

Это, клыком завод перерыв,
Топчущий все и всех,
Стихией врывается в ламповый цех
Дикий кабан—Прорыв!

9

Он водится в топях между ракит
Русской позевки и лени;
Он рылом тупым грозно храпит,
Храпом ста поколений;

Его пейзаж—это мох и река,
Мосток из лешьей дудки;
Его пасхальные окорока
Оплетены незабудкой.

Но вспугнутый большевистским свистком,
Трубы заревой альтом,
Со слепу сунулся он по асфальту
В литературу, в цеха, в местком!..

Неумение оформить при у[illegible] и побудить
Массовые быстрины;
Худое наследство с другой стороны
(Вспомни про «победит»);

Рабий навык; отсталый труд;
Авось-ка, а в нем и поповская грива—
Все былье прорывается вдруг
В образе Прорыва.

Он из лесу поскакал в «леса»
Революционной стройки,
Но сразу пальнули газетные строки,
Гарью окутав его волоса.

Ячейка в лоб затрубила воззванье:
«Товарищи,—срыв!
Пролетарии мира следят за вами,
Надеждами вас озарив.

Каждый промах наш отзовется
На мировой борьбе.
Товарищи электрозаводцы:
По прорыву—бей!»

Дробью барабанною нервирует стенгаз:
«Тревога!
Тревога!
Тревога!»
С ума сошел горючий газ,
Станки—карьером! Во как!

Вопрос перерос цеховой масштаб,
Тут каждый зевок—злодейство.
Мгновенно организовался «Штаб
Действия».

И вот из этого центра
Брошены дивизионцы,
Чтоб выполнить в 10 суток бессонницы
Сто плюс энную процента.

Подобное этому было
Только в Октябрьском году.
Комсомольцев с работы на всем ходу
Нельзя было снять силой;

Женщины, выпив кофе с утра,
До ночи жужжали на ковке,
Пионята, профессора
Работали по упаковке.

Член ЦКК и замнарком
На телефонах летят снаружи,
Из «божидомки» пришли нырком
Пенсионерки-старушки.

И хлопал на вышке старый кумач,
Вентиляцией вздутый в пламя,
Покуда не вырос до самых мачт
Корпус промфинплана.

Закончен круговорот годовой.
Покрыли прорыв. Честь!
Но что бы сделать для того,
Чтоб этот прорыв учесть?

Система нова, да работа стара;
Была б регулярность—прорыва б не вышло.
И стали бригады вместе — «Ура»! —
Прикидывать числа.

Одна сказала: «Если б на ось
Дать идеальный штамп,
Я пропустила бы через насос
Вдвое больше ламп».

Сказала другая: «Это что!
Вот чего взвесьте:
С прогулами я запаяла сто,
Без них могла бы двести».

Так родилась из прорыва идея
Встречного промфинплана.
Так проходила третья неделя
Боя цеха с поляной;

Так, рабочий, учась на старье,
Стал госпланщиком цеха,
Растя в государственного человека
И подходя от завода к стране.

И штаб растаял, за частью часть
И плановые бригады;
И тут по-иному пошли звучать
Шаблоны и агрегаты;

И властно по тропикам лазит рука
И лампочки берет там,
И были кабаньи окорока
Растасканы по бутербродам.

И был такой боевой запой,
Такая ударная ярость,
Хоть выдь на улицу да запой!
И шли! За ярусом ярус.

И гимном катилась полночная улица
В трубах медного ямба.

Вот как делается революция!..
То бишь, это... лампа.

27 февраля 1917 г. в Петербурге

(Воспоминания участника восстания)

Степан Скалов

В своих воспоминаниях от 27 февраля я не ставил перед собой задачи описать работу партии в целом. В своих воспоминаниях касаюсь всего лишь нескольких часов, примерно от одиннадцати утра 27-го до двух часов ночи 28 февраля.

Дать полной картины я не могу потому, что в Питер я переехал (после сравнительно большого перерыва) до февральских событий всего лишь за четыре-пять месяцев и мои партийные связи были еще не велики. Я работал на заводе токарем. С первого завода — Металлического, куда я поступил по приезде, меня во время забастовки приказал вышвырнуть за ворота управляющий за непочтительное с моей стороны к нему отношение. После этого я перешел на бронебойный завод по Лопухинской улице Аптекарского острова, где меня и захватила Февральская революция.

27 февраля в обычное время мы вышли на завод. Не приступая к работе, устроили митинг. После вчерашних расстрелов настроение у всех было тревожное. Постановили к работе не приступать, уйти с завода и держаться больше на улице. Я отправился на Выборгскую сторону (с Петербургской). На улицах было тихо, и пустынно, изредка были слышны ружейные выстрелы. Дойдя до Финляндского проспекта, я встретил группки людей, которые боязливо озирались по сторонам, о чем-то разговаривали. От одной из таких групп я узнал, что на Литейном мосту, на Нижегородской, на Боткинской улицах и на Самсоньевском проспекте стоят пьяные солдаты и всех, кто только показывается на улицах, пристреливают. Царское правительство в борьбе с революционным движением часто прибегало к таким мерам, и не раз я испытывал их действие на собственной спине. Да и еще накануне на Невском проспекте солдаты стреляли в толпу. Меня охватило глубокое чувство отчаяния и ужаса перед кровавой расправой. Вместе с тем я надеялся, что, может быть, этих пьяных вооруженных солдат удастся повернуть против тех, кто послал их на это страшное дело. Я решил во что бы то ни стало добраться до этих пьяных солдат и узнать, что же там в действительности происходит.

— Можно ли, — спрашиваю, — пройти на Нижегородскую улицу или на Самсоньевский проспект? Мне ответили, что никак: везде стоят пьяные солдаты.

Как бы в подтверждение только что сказанного, из-за угла бывшего Самсоньевского на Финляндский проспект пробежала группа людей (мои собеседники также бросились наутек). Я побежал навстречу бегущим с Самсоньевского проспекта. Не успел я добраться до угла, как вся толпа промчалась мимо меня, и я очутился один... Я ждал с секунды на секунду, что из-за угла выскочит озверелая и пьяная ватага солдат, но никого не было. Я заглянул за угол Самсоньевского проспекта и увидел, что он совершенно пуст. Я торопливо пошел вперед, озираясь по сторонам, ожидая каждую минуту нападения откуда-нибудь из засады. Дойдя благополучно до Боткинской улицы, я увидел на противоположном ее конце, то есть на углу Боткинской и Нижегородской улиц, толпу солдат и грузовой автомобиль, на котором тоже было полно солдат и стоял пулемет, направленный по Боткинской улице. Видно было, что солдаты возбуждены, кричат что-то, размахивая винтовками. По движениям их можно было предположить, что они действительно пьяны. Дру-

6*

того выбора не оставалось, как только итти к ним навстречу. И я хорошо сделал, что пошел: благодаря этому я во-время очутился на месте.

Поражение революции 1905 года многому научило нас. Поражение об'яснялось не только тем, что крестьяне не поддержали рабочих. Большая доля вины падала на Петербургский Совет рабочих депутатов — непоследовательный, нерешительный. Там, где нужно было действовать, он беспомощно топтался на месте, разговоры разговаривал да жестикулировал в пространстве.

В открытой революционной борьбе необходимы смелость, дерзость, стремительность и натиск. Этого у питерского Совета не было. Своей нерешительностью он дал врагу окрепнуть.

С тех пор еще меня не покидала мысль о захвате власти. Я чувствовал теперь, что это время пришло, и чувство это направило меня к солдатам. Подойдя к грузовику, я увидел совершенно другую картину: на нем были не пьяные солдаты, а растерявшиеся, об'ятые страхом за соденнную ими неслыханную дерзость — восставшие солдаты. На грузовике были два человека в штатском; они беспомощно и растерянно взывали к торопливо бегущим мимо «страшного места» одиночкам. На лицах восставших было написано отчаяние и ужас перед предстоящей расправой с ними. От них я узнал, что выступили они с 8 часов утра и до сих пор совершенно одни: нет никакого руководства, рабочие к ним не присоединяются.

Весь Литейный мост и Нижегородская улица до Боткинской были заняты солдатами. Они беспомощно топтались на месте. Настроение их было крайне растерянное и подавленное.

Я сейчас же наметил план действий. Нужно было прежде всего создать такое положение, при котором солдатам отступать было бы уже невозможно. Нужно было вести их дальше по пути революционной борьбы, на дальнейшие «преступления» против царя и бога, поставить их, так сказать, по ту сторону закона. Во-вторых, нужно было втянуть в восстание рабочих, показать им, что если вчера еще солдаты стреляли по рабочим, то сегодня они уже разрушают застенки самодержавия. В-третьих, деморализовать царско-полицейскую власть, внести в ее ряды панику и замешательство. Нужно было действовать немедленно, не теряя ни минуты: враг мог каждую минуту использовать положение. Достаточно было одной дисциплинарной роты, чтобы восставшие солдаты очистили улицы и ушли в казармы.

Я оставил автомобиль и побежал искать на улице кого-нибудь из товарищей, чтобы создать руководящую группу; одному, без товарищей в такой обстановке работать трудно. Через несколько минут я встретил одного старого приятеля, максималиста Кухаренко, Александра Осиповича, и рассказал ему свой план действий: нужно в первую голову вести солдат и рабочих освобождать из тюрем (ближайшая— «Кресты») политических заключенных. Незначительная часть солдат и несколько человек рабочих с радостью согласились на наше предложение, остальная масса инертно оставалась на месте. Мы довольно жиденькой толпой, очень нерешительно потянулись по Симбирской улице, по направлению к тюрьме. У Финляндского вокзала столпилось довольно много публики. На наше предложение присоединиться к нам все поспешили спрятаться в здании вокзала. Никто с нами не пошел. У патронного завода по Тихвинской улице стояла тысячная толпа рабочих. Мы обратились к ним с призывом присоединиться к нам, но толпа безмолвствовала. К счастью, в толпе оказался один наш общий товарищ, Корнев, Тихон Васильевич, рабочий патронного завода, который пошел за нами и увлек за собой несколько человек своих товарищей. Таким образом нас собралось около 70 или 100 человек.

Подойдя к «Крестам» с набережной реки Невы, мы постучали в дубовые тюремные ворота. Во дворе тюрьмы появился усиленный караул, состоявший из солдат, вооруженных винтовками, под командой офицера. Мы попросили открыть нам двери и присоединиться к нам, так как весь гарнизон восстал. Они отвечали, что присоединятся к нам, но открыть тюрьмы не могут, так как ключи находятся у тюремного начальства. Мы попросили прислать нам начальника тюрьмы. Они, пообещав, ушли.

Не надеясь на то, что они действительно пришлют начальника с ключами, и чтобы подкрепить свою просьбу действием, показать им, что мы пришли, так сказать, с серьезными намерениями, мы достали (кажется, с баржи, стоящей против тюрьмы на Неве) два лома и один плохонький топор и начали сокрушать дубовые ворота.

Под сводами тюрьмы загудело эхо от наших ударов. Минут за пятнадцать энергичной работы мы вырубили довольно большую дыру вокруг громадного тюремного замка, но он

крепко держал железными зубами остов двери и не пускал нас. Нами овладело отчаянье. Мы наносили удар за ударом. Все было тщетно — замок не сдавался. Один из товарищей хотел лезть в дыру, но я его удержал: за первыми дубовыми воротами были вторые, железные, решетчатые. К нашему счастью, у ворот появляется надзиратель со связкой ключей. Едва он успел открыть ворота, как один из товарищей схватил его за грудь. Я отстранил руку товарища.

— Погоди, — говорю, — он нам еще пригодится.

Мы вошли в тюрьму, попросили позвать начальника тюрьмы. Нам ответили, что его здесь нет. Тогда мы попросили его заместителя. К нам вышел, кажется, помощник начальника. Мы предложили немедленно освободить всех политических заключенных. Он беспрекословно согласился исполнить наше требование. (Надо заметить, что тюремное начальство страшно перетрусило и не оказало нам никакого сопротивления, хотя имело к этому все возможности.)

Пока мы разговаривали с начальством в коридоре, другая часть пришедших вместе с нами начала вскрывать шкафы и столы, забирая всякое оружие, которое попадалось под руку. Третьи побежали по огромным коридорам освобождать товарищей.

Я предложил сжечь во дворе все документы и дела. И через минуту на тюремном дворе пылал костер из бумаг и книг.

В это время начали уже освобождать политических заключенных. Вслед за ними высыпали толпой, заполнив все коридоры, уголовные заключенные. Я обратился к «начальству» с протестом:

— Почему вы освобождаете уголовных, тогда как мы просили освободить только политических?

«Начальство» ответило, что их удержать в тюрьме теперь невозможно, они все называют себя политическими. Среди них действительно не мало было сомнительных «преступников». В связи с войной много было среди них дезертиров и т. п. Конечно, настаивать на том, чтобы их не выпускали из тюрьмы, мы не могли. Нужно было бы каждого заключенного проверить по документам, а для этого потребовалось бы несколько суток работы в тюрьме. А так как мы совершенно не были уверены в том, что нас самих здесь, в тюрьме, не захлопнут, и знали, что предстоит еще преодолеть главные форты, то мы не стали возиться с такими пустяками, как забота об уголовных.

Я обратился к ним с краткой речью:

— Вас самодержавие посадило в тюрьму, рабочие вас освобождают. Это вы должны знать и помнить и итти вместе с рабочими, чтобы свергнуть власть царя...

— Да, да! Мы пойдем с вами! — ответили уголовные.

Некоторые из них, действительно, сдержали свое слово.

Освободив всех заключенных и покончив таким образом с «Крестами», товарищи, окрыленные первым успехом, пошли освобождать заключенных из других тюрем: кто — в женскую, кто — в военную. Я же с частью товарищей двинулся к Таврическому дворцу с тем, чтобы захватить сначала Государственную думу, а затем уже завладеть пунктами, имеющими стратегическое значение. Нужно было создать общее руководство для согласования действий всех восставших сил, а руководства никакого не было. Я остался один, мои оба товарища куда-то исчезли. (Позднее я узнал от них, что они выламывали другие ворота.) Во дворе тюрьмы я предложил нескольким товарищам здесь же создать нечто вроде комитета для руководства действиями восставших, но они ничего не ответили и смешались с толпой. Я решил действовать пока единолично, — медлить нельзя было ни минуты. В такой чрезвычайно серьезной и ответственной обстановке мысль работала лихорадочно быстро и отчетливо, решения принимались молниеносно. Мой «план действий» созрел еще после 1905 года, нужно было только применить его в создавшейся обстановке. Предо мной развернулась картина борьбы в условиях мировой войны, существование не подчинившейся роспуску Государственной думы, могущей претендовать теперь на руководство революционным восстанием.

Дума олицетворяла собой воинствующий национализм, войну до победного конца, в Думе об'единялись все фракции, от Пуришкевича до Чхеидзе включительно.

Но итти против Думы 27 февраля 1917 года нам было нельзя, да и не с чем: мы были слишком организационно слабы, — руководящие товарищи наши были в тюрьмах, в ссылке, в эмиграции. Поэтому надо было итти в Думу с тем, чтобы втянуть ее в революционный водоворот, использовать ее идеологическую неоднородность, обезличить ее, лишить ее самостоятельной роли, не дать ей возможности сконцентрировать вокруг себя патриотически-воинствен-

но настроенные части войск. Нужно было создать революционный хаос, терроризовать всякую инициативу Думы, направленную противреволюционных действий, а это можно было сделать, только находясь внутри самой Думы, заполнив, так сказать, все ее поры революционным бытием. С этой целью я решил вести войска и вообще направить все силы в Таврический дворец, не создавая отдельного штаба.

До окончательного свержения монархии приходилось учитывать не изжитые еще патриотические настроения среди солдат и среди других слоев населения. Эти настроения при любом сепаратном шаге с нашей стороны в момент восстания могли быть направлены против нас. В начале революции настроение среди солдат было далеко не большевистское. Это показали выборы в Совет. Из двух с лишним тысяч членов Совета (где преобладающее большинство были солдаты) большинство шло за оборонцами. Поэтому я считаю, что правильно поступил, когда не согласился итти на Финляндский, чтобы там группировать наши силы отдельно (а такие предложения были). Когда мы шли к Таврическому дворцу, на углу Шпалерной и Литейного проспекта мы увидели записочку, — не помню, от какой организации она исходила, — приглашающую всех рабочих собраться на Финляндском вокзале. Такой самоизоляцией мы сразу противопоставили бы свои очень слабые организационные силы силам Государственной думы и тем самым развязали бы ей руки, давая ей полную свободу действий и самостоятельность на политическое руководство, которое могло быть чревато последствиями. Я считал необходимым захлестнуть Думу революционным потоком, смять ее напором революционной бури, заставить ее плясать под музыку восставшей улицы. По этим же соображениям я не пошел на приглашение Носаря-Хрусталева, звавшего в городскую думу. Хрусталев-Носарь выстроил человек 50 солдат, надел на себя офицерскую шинель, — на голове его, кажется, осталась шляпа, а из-под шинели торчали штатские в полоску брюки, — и с этим отрядом двинулся по Литейному проспекту. Но вскоре, как мне потом передавали, он попал под обстрел полицейской засады и позорно бежал с поля битвы, растеряв все свои войска.

Мы двинулись к Таврическому дворцу. Предварилка была разгромлена, и вся улица на протяжении почти квартала была усеяна документами. Окружный суд начинал гореть. По пути следования к Таврическому дворцу ко мне присоединились, главным образом, рабочие и только что освободившиеся из тюрем и предварилки товарищи. Все мы были вооружены разным оружием: у кого клинок без ножен, у кого кинжал кавказский, кто нацепил на себя кавалерийскую шашку, у кого берданка, у кого допотопный, громадных размеров, револьвер, некоторые несли винтовки, полученные от солдат, охотно отдававших свое оружие. У меня был японский карабин, также полученный на улице у солдат. Один из товарищей обратил на себя мое внимание своей характерной походкой каторжанина. У него на ногах в продолжение долгих лет, видимо, висели кандалы, и благодаря этому выработалось особое движение ног при ходьбе: он не шагал прямо, а как-то циркулеобразно заносил ноги, как будто вычерчивал полукруги. Я спросил товарища, откуда он.

— Из Прибалтийского края, — говорит товарищ с сильным латышским акцентом.

Он был еще молод, но уже совсем седой, какой-то серый. Оказывается, товарищ был присужден к смертной казни, замененной потом вечным заключением, и просидел в тюрьме восемь лет, нося на ногах железные цепи-кандалы. Эти кандалы в продолжение восьми лет приучили его ноги описывать полукруги. Такие вот товарищи составляли наш отряд, — беззаветные герои, идейные борцы, дух вольности в которых не убили ни тюремные застенки, ни железные кандалы. Они при первой же возможности сразиться с врагом шли в бой, неся на алтарь борьбы свою жизнь. Они не спешили уйти с поля битвы даже после продолжительного заключения в казематах, хотя и имели естественные основания для этого после тюремных ужасов.

Наш отряд состоял, вероятно, не более, как из 150 человек, или того меньше; в большинстве случаев один другому не был знаком.

Придя к Таврическому дворцу, я оставил товарищей у входа, а сам вбежал в Думу. Настроение у меня и у моих товарищей было крайне решительное и боевое. Момент и обстановка требовали твердости и непреклонности в действиях. Когда я вбежал в вестибюль, меня сразу окружила большая толпа встревоженных депутатов. Они бросились ко мне с вопросами:

— Что делается на улице?

— Восстание, — говорю, — в полном разгаре. Требую немедленно позвать ко мне членов Государственной думы — социал-демократической и трудовой фракций.

Несколько депутатов бросились за с.-д. и трудовиками. Через минуту ко мне выбежал

Николай Дмитриевич Соколов; узнав, в чем дело, он моментально бросился обратно, и вскоре передо мной стояли Чхеидзе и Керенский, растерянные и встревоженные. Я коротко, но очень вразумительно рассказал им, что делается на улице.

— Войска, — говорю, — вышли с восьми часов утра, а теперь уже около двух часов, и до сих пор никого с ними нет, никто ими не руководит. Такое положение их деморализует, может наступить перелом в настроении, и они могут пойти против народа. Нужно немедленно взять руководство восстанием в свои руки. Нужно захватить власть.

Керенский, видимо, совсем перепугался такой почетной и ответственной роли и говорит:

— Ну, так и руководите сами, если это нужно.

Я вижу, что они хотят как-нибудь открутиться от этого, я взываю к их чувству долга и чести, пытаюсь воздействовать на их самолюбие, я указываю на то, что они представители социал-демократической и трудовой фракций.

— Вы, — говорю, — не можете отказаться от участия в руководстве восстанием. Я рядовой человек, мое руководство не будет так авторитетно, как ваше.

Но все-таки они еще колебались.

— У нас, — говорят, — как раз этот вопрос сейчас обсуждается.

Я снова настаиваю на немедленном захвате власти. Тогда они, не говоря мне ни слова, пустились куда-то бежать. Через минуту Чхеидзе снова стоял передо мной без шапки, в накинутой на плечи шубе.

— Что же делать? — спрашивает он.

— Нужно, — говорю, — захватывать государственные учреждения, имеющие стратегическое значение.

Начинаю ему перечислять: телеграф, почта, телефонная станция, арсенал, госбанк, вокзалы, министерства внутренних и иностранных дел, генеральный штаб и т. д. Тут еще подскочил товарищ, и мы на листе бумаги наметили пятнадцать пунктов, подлежащих захвату. Я указал на наш вооруженный отряд, которому можно поручить занять все намеченные пункты. Я не мог, конечно, целиком надеяться на товарищей, среди которых могли быть и наши враги, но положение было чрезвычайно трудное и серьезное, другого выбора не было. Нужно было действовать на риск, полагаясь на революционную стойкость питерских пролетариев. Мы вышли в под'езд, и Чхеидзе по списку стал называть учреждения, которые нужно было занять. Так, примерно:

— Кто идет занимать телеграф?

— Я. — Выступает кто-нибудь из толпы с допотопным револьвером или ржавым клинком без ножен.

— Сколько человек послать? — обращается ко мне Чхеидзе.

Я указываю цифру в 20—30 человек, в зависимости от значения учреждения и могущей быть охраны.

— Бери 30 человек, — говорит Чхеидзе начальнику отряда, — и отправляйся занимать телеграф.

— И ждите дальнейших указаний, товарищи. Занять во что бы то ни стало нужно. По пути постарайтесь пополнить свой отряд и вооружиться, — добавляю я.

Если начальник отряда был вооружен допотопным револьвером, то некоторые товарищи из его отряда были совершенно без оружия. И вот таким, почти безоружным отрядам поручалось занять арсенал или какое-нибудь министерство. Но нужно было действовать решительно и смело. И товарищи, идя от Думы до намеченного пункта, вооружались сами и пополняли свои отряды.

Так, отряд за отрядом, по намеченным маршрутам, имея определенную цель, определенные задания, сохраняя революционную дисциплину, чувствуя ответственность за принятые на себя обязательства, мы повели планомерное наступление. Наши отряды стали бороздить клокочущую стихию и организовывать ее. Как вода, вышедшая из берегов и не имеющая определенного течения, начинает застаиваться, так и восставшие люди, не имеющие определенной цели и руководства, начинают деморализоваться. Наши маленькие, но дисциплинированные отряды, проходя через человеческое море, бесцельно мятущееся на одном месте, создали течения, которые превратились в бурные потоки, в грозную энергию, сносящую на своем пути все преграды.

Так начался правильный планомерный штурм твердынь самодержавия. Первым, кажется, был взят арсенал, а затем стали поступать сведения о занятии и других учреждений.

Отправив все отряды, я снова поспешил на улицу. Толпы несколько поредели, главным образом отсутствовали рабочие, которые примкнули к нашим отрядам и действовали во всех концах города. Некоторые отряды по пути своего следования подвергались обстрелу полицейских засад. Некоторые отряды избежали

этого благодаря тому, что само население указывало места полицейских засад.

На улице бесцельно болталась только часть оставшихся солдат. Я направил их в Таврический дворец. Ко мне подошел какой-то рабочий и сказал, что недалеко от Литейного моста есть автобаза. Мы пошли занять ее с тем, чтобы двинуть в помощь восставшим броневые машины и грузовики. Начальник автобазы, офицер, без распоряжения начальства не хотел дать нам машины. Солдаты, ввиду их малочисленности, не решились выступить, и нам после безрезультатных переговоров пришлось покинуть их. На улице я все же попал на грузовой автомобиль, на котором были ящики с какими-то дешевыми иконными украшениями. На него сразу насело человек десять рабочих.

Где-то мы достали пулемет, — подробностей этих я уже совершенно не помню, — но с пулеметом у нас ничего не вышло: он оказался системы Кольта, а ленты от «максима» и, сколько мы ни пытались на углу набережной Выборгской стороны и Литейного моста наладить его, ничего у нас с ним не вышло. Наш пулемет стрелял только, как винтовка: даст один выстрел, и больше ленту не подает. Мы было хотели ехать на Выборгскую сторону с намерением двинуть оттуда все рабочие силы в Таврический дворец, а также забрать откуда-то ручные гранаты, о которых знал один из рабочих, находившихся на грузовике.

Однако пришлось от этой поездки отказаться, потому что наш пулемет бездействовал, а на Выборгской стороне, как нам передавали, было несколько полицейских засад. А с грузовиком мы представляли хорошую мишень. Я попросил двух-трех товарищей с винтовками пройти пешком и сообщить рабочим, чтобы они как можно скорее двигались к Таврическому дворцу.

В это время раздались два или три выстрела (с церкви Военно-Медицинской академии, как мне передавали) не то по нашему автомобилю, не то по легковому, на котором под'ехал к нам Хрусталев-Носарь. (Он только что начал произносить речь.) Вся публика как с моего, так и с легкового автомобилей как ветром была снесена: кто побежал, кто пал ниц, кто полз на брюхе, кто беспорядочно стрелял; только двое солдат, видимо, фронтовики, спокойно целясь, аккуратно и деловито стреляли по колоколенке.

Мимо моего уха прожужжала пуля. Я оглянулся назад. На моем автомобиле единственный оставшийся, кроме меня, молодой пролетарий лупил из винтовки по колокольне, не замечая меня. Я попросил товарища быть поаккуратнее. Товарищ несколько смутился, соскочил с автомобиля и продолжал палить по невидимому врагу. С противоположной стороны не слышно было ни одного выстрела больше, между тем, наша пальба создавала ненужную панику. Я попросил прекратить стрельбу.

Было, вероятно, около четырех часов вечера, когда мы возвращались назад в Таврический дворец.

На обратном пути с одним из товарищей-солдат, бывших на нашем автомобиле, случилось несчастье. Он сидел на ящике, поставив между ног японский карабинчик, который, вероятно, от тряски выстрелил и пуля попала солдату в рот. Я даже не слышал выстрела. Мне потом уже указали на случившееся. Солдат смертельно был перепуган. Густая кровь лила изо рта. Выхода пули не было видно. Мы сейчас же сняли его и внесли в Таврический дворец, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Там были уже и другие раненые.

В вестибюле, за столиком сидел Керенский. К нему обращались за всякого рода указаниями. Я тоже сел к этому столу. В это время к Таврическому дворцу стекались потоки народа. Появились грузовые автомобили, наполненные вооруженными людьми. Автомобили были похожи на громадных ощетинившихся дикобразов. Где только была возможность держаться, везде прилипал человек с винтовкой. На крыльях сидело по два, по три человека, тоже — на капоте машины, на сиденьи шофера. На некоторых автомобилях везли в Таврический дворец арестованных важных сановников. Некоторые грузовики, пройдя кое-как к Таврическому дворцу, обратно не могли выйти: вся улица была забита живой человеческой массой.

Грузовики заняли чрезвычайно важное место в уличной борьбе. Они громыхали по всем улицам, сотрясая пространство, неся в рокоте моторов клич победы. Как на первом этапе революции, в феврале, так и в дальнейшей борьбе рабочих и крестьян шоферы всегда были с нами. Они, как бесстрашные капитаны сухопутных дредноутов, всегда были впереди, лицом к смерти. Вслед за грузовыми машинами появились броневики. Они производили грозное впечатление, выставив из башенок всегда готовые сеять смерть дула пулеметов. Закрытые со всех сторон броней, они шли спокойно и уверенно к своей цели и одну за другой выковыривали рассеянные там и сям полицейские

засады. Маленькие красные флажки, выставленные из башенок, давали знать, что эти машины наши. Вскоре появились революционные названия машин, написанные на бронях. Ни одной ни броневой, ни грузовой машины на стороне царской власти в февральской борьбе не оказалось: все они были на стороне революции.

Уже стали сказываться результаты действия наших отрядов: везли и несли пулеметы, патроны и ручные гранаты из взятого арсенала. Не успел я присесть, как вошел небольшой отряд, привел арестованного председателя Государственного совета Щегловитова. Керенский моментально вскочил и побежал ему навстречу. Из общего гама до моего слуха донеслись слова Керенского: «Именем революционного закона вы арестованы». Керенский что-то говорил еще, но расслышать уже было невозможно. Щегловитова куда-то увели. Керенский снова вернулся к столу, и мы просидели там до двух часов ночи, давая всякие распоряжения и указания.

Около часа ночи какой-то офицер сообщил, что он только что приехал из Царского Села и видел, как там грузился эшелон, который предназначен к отправке в Петроград. Войска — в полном вооружении и в хорошем настроении — садились с песнями, но с каким намерением отправляются на Питер, ему неизвестно. Мы решили на всякий случай послать на вокзал свой отряд с пулеметами.

Как оказалось, прибывшие солдаты не знали, что происходит в Питере. Когда им предложили присоединиться, они охотно согласились.

Затем подошел другой товарищ и сообщил, что он пришел из какого-то отряда, который присоединяется к восставшим и просит указаний, что им делать. Перед этим кто-то просил освободить арестованных в своих казармах (где-то на Офицерской, кажется, улице) казаков, которые три дня сидят взаперти, — мы сейчас же дали поручение этому отряду освободить казаков и итти в Таврический дворец. Позднее получили извещение, что ораниенбаумский гарнизон весь присоединился к нам. Не было только сведений из Кронштадта, но это нас не беспокоило: мы были уверены в том, что моряки будут с нами.

Все время со всех концов Петрограда получались сведения о полицейских засадах, стреляющих по народу: отряд за отрядом и броневые машины посылались с винтовками и пулеметами выковыривать остатки преданной царизму сволочи. Ликвидация шла очень успешно. К утру, кажется, весь Петербург был очищен.

Все силы стали концентрироваться в Таврическом дворце, и все, что конфисковалось, — оружие, продовольствие, мука, сахар, крупа, кожа, — все тащилось в Таврический дворец, все складывалось в вестибюле.

Клокочущий революционный водоворот начал поглощать Думу, ее руководители теряли почву и беспомощно кружились в этом водовороте.

Я видел, как Родзянко в течение ночи несколько раз подходил к дверям — обрюзгший, опустившийся, с ужасом всматривающийся в холодную мглу ночи, из которой бурно врывалась в старое здание новая жизнь, идущая стремительно мимо него, не замечая его. Караулов часа два простоял молча, опершись спиной о косяк двери. Какое-то тяжелое предчувствие, видимо, овладело им, и мрачные думы теснились в его голове; он также пытливо, с тревогой всматривался в ночную уличную тьму. Другие депутаты тоже ходили растерянные, подавленные неожиданным шквалом революционной волны, ударившей Думу с такой сокрушительной силой, какой она не ожидала.

Неожиданные события поставили думских руководителей перед свершившимся фактом. Нельзя было отойти в сторону от разворачивающихся событий, тем более — противодействовать этим событиям.

Другого выхода не было, как только санкционировать бушующую улицу.

В ту же ночь в Таврическом дворце начал создаваться Питерский Совет рабочих депутатов. Попасть на первое совещание мне не удалось.

Пробыв до утра в Таврическом дворце, раненько утречком, по морозцу, через Неву я отправился на свою Петербургскую сторону. Утром собрались все на заводе, и я доложил всем, что произошло.

На этом же собрании были произведены выборы в Петербургский Совет рабочих и солдатских депутатов. Общее собрание избрало и меня. В тот же или на следующий день я получил в Таврическом дворце депутатский билет за № 1.

Научный социализм о типе поселений будущего общества

Н. Мещеряков

I

В статье «Социалисты об организации быта будущего общества»[1] я привел взгляды ряда социалистов-утопистов относительно типов поселений и организации быта будущего социалистического общества. Все приведенные там мною описания жизни будущего общества имеют ту общую и характерную черту, что авторы этих утопий исходят в своих построениях не из уровня и направления развития техники в будущем, а только из своих стремлений найти наиболее «разумные» формы человеческого общежития. Единственным исключением среди них является французский социалист Константин Пеккёр, который в основу своих предвидений кладет начавшийся в то время (сороковые годы XIX в.) прогресс транспорта вообще и постройку железных дорог в частности. Второй характерной чертой всех этих социалистов-утопистов является то, что, не будучи связаны в своих построениях никакими об'ективными тенденциями общественного развития, они, давая полную волю своей фантазии, иногда, как, например, у Фурье, необыкновенно богатой, рисуют жизнь будущего общества до мельчайших деталей.

Совершенное иное мы видим, когда обращаемся к учениям основателей научного социализма — к Марксу, Энгельсу и Ленину. У них нельзя найти детальных, а потому фантастических картин жизни будущего общества. Они только изучают ход и тенденции общественного развития, развития производительных сил, и указывают путь развития общества в будущем. Они указывают только самые общие черты, которыми будет характеризоваться жизнь будущего социалистического общества, и в основу своих предвидений они кладут тенденции развития техники производства и транспорта, а отнюдь не свои суб'ективные пожелания. Поэтому и в настоящей статье читатель не найдет уже тех фантастических блестящих картин детально описанной жизни будущего общества[1], образчики которых были даны мною в указанной выше статье, но он найдет зато трезвое, основанное на научном изучении предвидение того, в каком направлении будет изменяться общественный быт, по мере того как социализм

---

[1] «Красная новь» 1930 г., №№ 8 и 9—10.

[1] «Утопия состоит не в утверждении того, что полное освобождение человечества от цепей, выкованных историческим прошлым, может совершиться лишь по уничтожении противоположности между городом и деревней; утопия возникает лишь тогда, когда кто-либо берется при существующих отношениях предсказать ту форму, в которой должно разрешиться противоречие существующего общества» (Энгельс «Жилищный вопрос», стр. 78). Не нужно забывать, что Энгельс писал эту свою брошюру в 1872 г. Поэтому под словами «существующие отношения» надо понимать отношения капиталистического общества лет 50—60 тому назад. Когда Энгельс писал свой «Жилищный вопрос», ему совершенно не были ясны те конкретные условия, при которых пролетариат, захватив власть, приступит к решению жилищного вопроса. Поэтому он в то время и не брался за конкретные детальные указания практического разрешения этого вопроса.

будет все более осуществляться в период диктатуры пролетариата.

Чтобы не усложнять вопроса и не растягивать чрезмерно статью, я ограничусь в ней изложением взглядов Маркса, Энгельса и Ленина только на один вопрос — на вопрос о типе поселений будущего общества. Вопросов воспитания, организации труда и быта я в ней затрагивать не буду. Другими словами — я ограничусь только жилищным вопросом.

II

Маркс и Энгельс, а равно и Ленин, отчетливо видят всю остроту современного жилищного вопроса, но они видят также, что этот вопрос тесно связан с другим, еще более крупным, — с вопросом о противоречии между городом и деревней, а это противоречие в свою очередь тесно связано с самым существованием капитализма, ибо именно развитие капитализма вызвало к жизни крупные города и обострило вопрос о противоречиях города и деревни. «Основой всякого разделения труда, осуществляющегося путем товарного обмена, — говорит Маркс в своем «Капитале», — является отделение города от деревни». И по мере роста и развития капитализма это противоречие становится все ярче и определеннее.

«Мануфактурное производство положило начало будущим промышленным центрам, — говорит, развивая мысль Маркса, П. Лафарг в статье «Пролетариат физического и пролетариат умственного труда». — Средневековые города и села были в одно и то же время и городами и селами. Каждый горожанин имел свой сельскохозяйственный участок, и каждый ремесленник — свой клочок земли. Только города насчитывали несколько тысяч жителей, и окрестности доставляли им все, что необходимо было для удовлетворения их жизненных потребностей. Внешняя торговля служила лишь для получения предметов роскоши и излишеств; она велась с величайшими опасностями всякого рода коробейниками и купеческими караванами. На ежегодных и раз в два года устраивавшихся ярмарках запасались тем, что являлось предметом торговли.

Мануфактурное производство стало призывать к жизни промышленные города, которые непрестанно разрастались благодаря своему удобному положению на скрещении проездных дорог, у озера, у реки, у хорошего шоссе, обеспечивавших доставку продовольственных припасов и других продуктов.

Рост городов тормозился недостатком продовольственных продуктов вследствие трудности их доставки... Пар устранил препятствия к росту городов; с 1840 г., т. е. со времени введения железных дорог, население все больше покидало сельские местности и наполняло города... Пар довершил отделение города от деревни» (П. Лафарг, Сочинения, т. II, стр. 391—392).

Развитие капитализма вызвало к жизни рост промышленности громадных городов и рост противоречий города и деревни. Процесс этот за последние десятилетия совершался со все возрастающей быстротой и довел жилищный вопрос (а равно и вопрос уличного городского движения) до невероятной остроты. Но несмотря на всю остроту жилищного вопроса, решение его в рамках капиталистического строя невозможно. Это настойчиво, с полнейшей категоричностью признают и Энгельс и Ленин. Вот ряд цитат по этому вопросу из книги Энгельса «Жилищный вопрос»:

«Бессмысленно желание решить жилищный вопрос, сохраняя современные крупные города. Современные крупные города могут прекратить свое существование лишь по отмене капиталистического способа производства» (Энгельс, «Жилищный вопрос», стр. 36).

«Буржуазное решение жилищного вопроса встречает препятствие в противоположности между городом и деревней. И тут-то мы достигли центрального пункта вопроса. Жилищный вопрос разрешим лишь тогда, когда преобразование общества достигнет той ступени, которая позволит приняться за уничтожение противоположности между городом и деревней, доведенной до крайности капиталистическим производством. Капиталистическое общество не только неспособно уничтожить это противоречие:

оно принуждено, напротив, с каждым днем увеличивать его» («Жилищный вопрос», стр. 35).

«Способ разрешения этого (жилищного) вопроса социальной революцией зависит не только от условий времени и места, но и от решения гораздо более основных проблем, среди которых одной из существеннейших является уничтожение различия между городом и деревней» («Жилищный вопрос», стр. 13).

III

Какие же причины вызвали такое быстрое и грандиозное развитие городов и этим обострили противоречия города и деревни, обострив вместе с тем до последних пределов жилищный вопрос?

«Пар», — отвечает П. Лафарг в своей выше цитированной статье: «Пар, техническая основа капиталистической фабрики, менее чем в столетие довел до высшей степени их развития все экономические и социальные элементы, которые хранила в своих недрах неповоротливая, медленно развивающаяся мануфактурная система... Пар устранил препятствия к росту городов... Пар довершил отделение города от деревни»[1].

Города эпохи торгового капитала возникали, как торговые центры, в местах, удобных для товарообмена: на удобных судоходных реках, на скрещении дорог, на берегах удобных для стоянки кораблей бухт и заливов. Промышленные города возникали там, где имелись к услугам промышленности элементы, необходимые для производства: сырье, дешевая рабочая сила, а самое главное — топливо, ибо «пар — техническая основа капиталистической фабрики». Но сырье разбросано на более или менее широкой территории, тогда как топливо, в особенности каменноугольное, встречается гораздо реже, только в определенных районах. Сырьем часто владеет сельское хозяйство. Опираясь на получаемую при помощи топлива силу пара, капиталист подчиняет себе продавцов сырья (хлопок, лен, пенька и другие продукты сельского хозяйства), эксплоатирует деревню и этим расширяет и углубляет противоречия города и деревни. «Отделение города от деревни, противоположность между ними — эти повсеместные спутники развивающегося капитализма — составляют необходимый продукт преобладания торгового богатства над богатством земельным (сельскохозяйственным). Поэтому преобладание города над деревней (и в экономическом, и в политическом, и в интеллектуальном, и во всех других отношениях) составляет общее и неизбежное явление всех стран с товарным производством и капитализмом»[1].

Пар, т. е. дающее его топливо, был главным определяющим фактором в размещении и росте промышленных городов, а вместе с тем и в связанном с ними росте противоположностей города и деревни. Это противоречие выражалось в подчинении деревни городу, в том, что город стягивал к себе все богатства, становился центром роскоши и культуры, оставляя деревню коснеть в грязи и невежестве; становился политическим центром, центром управления подчиненной ему во всех отношениях деревни. Сила пара, как главнейший источник энергии для индустрии, была той технической базой, на которой в эпоху промышленного капитала были основаны противоречия города и деревни. А так как эти противоречия выражались в господстве города, т. е. торгового, а позже — промышленного капитала, то капитал, естественно, и не хотел ослаблять, а тем более уничтожать это противоречие.

Поэтому все разговоры об уничтожении противоречия между городом и деревней в рамках капиталистического строя, если они были искренними, были только благочестивыми пожеланиями или, в чрезвычайно редких случаях, выливались практически в тепличные опыты, плодами которых пользовались только более или менее обеспеченные элементы зажиточного класса. К таким практическим попыткам расселения скученного в душных, пыльных, зловонных городах населения в прилегающие к городу сельские местности надо отнести

---

[1] П. Лафарг, Сочинения, т. II, стр. 391—392.

[1] Ленин, Сочинения, т. II, стр. 242—243.

создание в окрестностях больших городов сети дачных поселков. Но эти дачи были, конечно, недоступны рабочим, а именно: рабочие особенно страдали от антигигиенических жилищных условий большого города. Сюда же надо отнести перенесение некоторыми предпринимателями своих фабрик и заводов из городов в сельские местности. Это вело обыкновенно к тому, что в такой местности вокруг крупного завода создавался новый город. «Многие из таких фабричных сел, — говорит Энгельс, — стали ядрами, вокруг которых впоследствии образовались целые фабричные города со всеми дурными чертами фабричного города» («Жилищный вопрос», стр. 41). Заметим между прочим, что это перенесение промышленных предприятий, а вместе с тем и жилищ рабочих из города в деревню, диктовалось в основе отнюдь не филантропическими настроениями владельцев этих предприятий, а «разумным эгоизмом», холодным расчетом, стремлением повысить производительность труда рабочих, т. е. стремлением к получению большей прибыли.

Сюда же относится, наконец, идея создания так называемых «городов-садов», т. е. поселений, которые должны были соединять в себе все положительные черты и города и деревни, освобождаясь в то же время от всех их отрицательных черт. Эти города-сады проектировалось строить таким образом, чтобы население города-сада не превышало 30 тысяч человек. Но, во-первых, поселение с 30 тысячами жителей есть уже город, а во-вторых, фактически в таких городах-садах устраивались только небольшие промышленные предприятия, тогда как экономическое развитие требует создания крупнейших фабрик и заводов. Практически идея «городов-садов» успеха не имела. В Англии, где эта идея зародилась, за 30 лет возникло только два небольших города-сада. Чаще возникают (в Англии и в других странах) «пригороды-сады», но и в них устраиваются на жительство не рабочие массы, а всякого рода мелкие капиталисты, служащие и привилегированная верхушка хорошо оплачиваемых рабочих. Капиталистическое производство ведет к усиленному процессу урбанизации, т. е. к стягиванию промышленности, торговли, а вместе с тем и занятого ими населения в крупные города, и процесс дезурбанизации, т. е. исхода промышленного населения из города в сельские местности, является противоречащим всему ходу капиталистического развития. Под всеми красноречивыми, горячими речами о дезурбанизации, о городах-садах, долженствующих разрешить жилищный вопрос, под речами об «исходе из городов», о «возврате к полям» и т. п. скрывались в действительности или наивные утопии мелкого буржуа, или прямая, грубая эксплоатация капиталиста. Для пролетариата было вредно и то и другое, ибо все это питало в нем иллюзии, что можно разрешить жгучий жилищный вопрос в рамках капиталистического строя.

Но за последние десятилетия, а особенно за последние годы, положение сильно изменилось.

Сперва, наряду с паром, пользуясь энергией пара, стала быстро входить в употребление электрическая энергия. Но скоро на смену топливу, как источнику энергии, появилась энергия падающей воды, так называемый «белый уголь». Этот новый вид энергии, во-первых, освободил промышленность от зависимости по отношению к топливу; он позволил создавать фабрики и заводы и там, где топлива нет, а есть запас энергии падающей воды. Во-вторых, он позволил передавать энергию на значительное расстояние (в настоящее время — до 1000 километров). Это еще более раздвинуло рамки территории, на которой могла создаваться и развиваться крупная промышленность.

Запасы топлива у человечества еще достаточно велики. Многие месторождения топлива, конечно, пока еще и не открыты. Но как бы ни были велики эти запасы, они во всяком случае очень ограничены. А потребность в горючем при бешеном росте индустрии и транспорта во всем мире быстро растет. При таких условиях уже в настоящее время человечество одной из своих главнейших задач должно поставить отыскание и развитие новых источников энергии вза-

мен топлива. Дерево в культурных промышленных странах уже перестало быть топливом; дерево идет там только в качестве строительного и поделочного материала. В скором времени нужно будет также отказаться от употребления угля и нефти, как горючего, сохранив их только для химической промышленности. Главнейшим, если не единственным, видом энергии в будущем должно стать электричество. Этот вид энергии легко можно передавать на громадные расстояния. По мере того как развитие техники будет итти в этом направлении, близость к топливу будет играть все меньшую роль, и, наоборот, будет все более играть роль близость сырья. А так как сырье встречается гораздо чаще, чем топливо, то в будущем колоссально расширится район развития промышленности. Она перестанет концентрироваться в громадных размерах в немногих пунктах, а, наоборот, разместится по всей стране или даже по всему земному шару (но отнюдь, конечно, не в виде небольших, карликовых предприятий, ибо сохранится выгодность крупного производства, а равно и выгодность комбинировать предприятия, работа которых связана). Такому размещению промышленности поможет и быстро развивающийся повсюду транспорт.

Но если промышленность «равномерно распределится по всей стране, то следом за нею уйдет и то население, которое занято теперь на фабриках и заводах, сконцентрированных в сравнительно немногочисленных городах. Исчезнут поэтому современные крупные города, и население также более или менее равномерно распределится по всей стране».

Такое развитие производительных сил, такое размещение промышленности и населения по всей стране, а вместе с тем уничтожение современных гигантских городов, Энгельс предвидел еще в 70-х годах [1].

[1] Раньше Энгельса такую же роль транспорта предвидел в 1839 г. французский социалист Константин Пеккер.

Вот несколько цитат по этому вопросу из его «Анти-Дюринга»:

«Капиталистическая промышленность уже стала относительно независимой от тесных рамок, в которых находится местное производство необходимых для нее сырых продуктов... Освобожденное от пут капиталистического производства, общество может пойти еще дальше в этом направлении, может создать новую производительную силу, которая с избытком покроет расходы по перевозке из самых отдаленных пунктов сырья и горючих материалов.

Таким образом, уничтожение оснований к отделению города от деревни и с точки зрения возможности осуществления равномерного распределения промышленности по всей стране не может представляться утопией. Цивилизация, конечно, оставила нам в лице крупных городов наследство, покончить с которым будет стоить много времени и усилий. Но с ним необходимо покончить, и это будет сделано, хотя бы это и был очень длинный процесс» (Энгельс, «Анти-Дюринг», стр. 282).

«Только общество, способное гармонически приводить в движение свои производительные силы согласно общему единому плану, в состоянии организовать их так, что будет возможно равномерно распределить крупное производство по всей стране в полном соответствии с его собственным развитием и сохранением и развитием прочих элементов производства. Таким образом, устранение противоречия между городом и деревней не только возможно, но стало просто необходимостью в интересах индустриального и земледельческого производства, а также в целях общественной гигиены. Только с соединением города и деревни в одно целое возможно устранить нынешние отравления воздуха, воды и почвы, и только при этом хилые городские массы населения смогут добиться такого положения, что их отбросы, вместо того чтобы порождать между ними болезни, станут исходным материалом, способствуя успеху сельского хозяйства».

IV

Вожди и теоретики II Интернационала почти ничего не сделали для развития плодотворных идей Маркса и Энгельса вообще, а в области жилищного вопроса и необходимого для разрешения этого вопроса уничтожения противоречия города и деревни — в частности. Каутский, например, в своей брошюре «На второй день социальной революции» ни слова не говорит о необходимости разрешения жилищного вопроса. Он не говорит там даже о вселении рабочих в дома и квартиры буржуазии, хотя такое требование выставлял еще Бабеф в конце XVIII столетия. «Бедняки всей республики сразу же будут вселены в дома мятежников и наделены их утварью»,— гласит статья 17-я «Акта восстания», составленного Бабефом[1].

Бебель в своей книге «Будущее общество» ограничивается по жилищному вопросу следующими общими положениями:

Это переселение начнется, лишь толь- (города), неизбежные при современном развитии и являющиеся до известной степени революционными центрами, кончат свою миссию с появлением нового общества. Они постепенно должны рассеиваться, так как население тогда переселится, наоборот, из больших городов в деревню, образуя там новые общины соответственно изменившимся условиям и соединяя свою промышленную деятельность с сельским хозяйством. (Разрядка Бебеля.).

«Это переселение начнется, лишь только городское население получит возможность, благодаря изменению и усовершенствованию средств сообщения, условий производства и т. п., перенести с собой в деревню все, что ему нужно для удовлетворения его культурных потребностей: музеи, театры, концертные залы, читальни, библиотеки, места собраний, образовательные учреждения и т. п. Останутся все средства прежней городской жизни без ее теневых сторон. (Разрядка Бебеля.) Жилища будут гораздо более здоровые и приятные. Сельское население будет заниматься промышленным трудом, и, наоборот, промышленное население — земледелием и садоводством, — разнообразие в занятиях, которым ныне пользуются лишь немногие, да и то весьма часто лишь ценой чрезмерного труда и усилий... Таким образом, благодаря децентрализации населения исчезнет также существующая в настоящее время противоположность между сельским и городским населением». (Разрядка Бебеля.)

Вот и все. Здесь, конечно, есть несколько основных положений Энгельса (необходимость исчезновения больших городов, уничтожение противоположности между городом и деревней, крупная роль транспорта в этом новом расселении человечества, соединение в будущем промышленного труда с земледельческим). Но здесь нет, с другой стороны, ряда ценных мыслей, высказанных ранее Энгельсом. Нет, например, того, что самое развитие производства заставит создавать промышленные центры в других местах и иначе, чем в настоящее время. Кроме того, Бебель, хотя и говорит об уничтожении в будущем противоположности между городом и деревней, видит это уничтожение в том, что города исчезнут, а городское население передвинется в деревню. Мы увидим ниже, что решение жилищного вопроса лежит гораздо глубже. Кроме того, у Бебеля както странно выражена мысль об об'единении промышленного и земледельческого труда: «Сельское население будет заниматься промышленным трудом, и, наоборот, промышленное население — земледелием и садоводством». Выходит как будто, что сохранится и сельское и городское население (с их различными основными занятиями), которые только в свободное время будут заниматься тем, что не является их основным делом.

Такое же непонимание глубины мысли Энгельса обнаруживает Шарль Андлер в своей книге «Введение и комментарии к «Коммунистическому манифесту».

---

[1] Ф. Буонаротти, — «Гракх Бабеф и заговор Равных», стр. 100.

Ш. Андлер думает, что, вводя в программу периода диктатуры пролетариата требование «соединения земледельческого труда с фабричным и постепенного уничтожения различия между городом и деревней», Маркс и Энгельс находились, вероятно, под влиянием идей Пеккёра. В действительности Пеккёр в своих предвидениях будущего общества сохранял и город и деревню: он только старался уменьшить противоречия между ними. Впрочем, мысли и выражения Пеккёра в этом отношении довольно неясны. Но у Пеккёра была действительно одна очень ценная мысль — это влияние развитие транспорта (а в особенности железных дорог) на форму расселения общества. Но эта оригинальная мысль, не встречающаяся ни у одного из предшественников Пеккёра, совсем не отмечена Андлером.

V

Мнения Энгельса о разрешении противоречия города и деревни высказывались им еще тогда, когда применение электричества еще только начиналось и совершенно неизвестно было, на какие громадные расстояния можно будет передавать электрическую энергию и какое громадное развитие эта передача получит в сравнительно недалеком будущем. Поэтому Энгельс ничего не говорит об электрической энергии как о факторе, который сделает возможным и выгодным «равномерное распределение крупного производства по всей стране», поближе к богатым источникам сырья.

В настоящее время роль и значение электрической энергии стали гораздо более ясными, и Ленин обратил внимание на эту сторону дела, развивая мысль Энгельса о «равномерном распределении крупного производства по всей стране».

Вот несколько интересных цитат из произведений Ленина по этому основному пункту, лежащему в корне жилищного вопроса.

Еще в одной из своих ранних работ — в статье «К характеристике экономического романтизма», полемизируя против Сисмонди, Ленин резко и ярко указывает на невозможность разрешения вопроса, т. е. противоречия города и деревни, в рамках капиталистического общества и на реакционность идеи дезурбанизации в этих условиях.

«Отделение города от деревни, — писал Ленин, — противоположность между ними и эксплоатация деревни городом — эти повсеместные спутники развивающегося капитализма — составляют необходимый продукт преобладания «торгового богатства» (употребляя выражение Сисмонди) над богатством земельным (сельскохозяйственным). Поэтому преобладание города над деревней (и в экономическом, и в политическом, и в интеллектуальном, и во всех других отношениях) составляет общее и неизбежное явление всех стран с товарным производством и капитализмом, в том числе и России; оплакивать это явление могут только сентиментальные романтики» [1].

Разрешение противоречия города и деревни Ленин вместе с Энгельсом ждет только от социализма. Он говорит об этом в только что цитированной статье:

«Если город выделяет себя в необходимо привилегированное положение, оставляя деревню подчиненной, неразвитой, беспомощной и забитой, то только приток деревенского населения в города, только это смешение и слияние земледельческого и неземледельческого населения может поднять сельское население из его беспомощности. Поэтому, в ответ на реакционные жалобы и сетования романтиков, новейшая теория (так Ленин по цензурным условиям называл в то время марксизм. — Н. М.) указывает на то, как именно это сближение условий жизни земледельческого и неземледельческого населения создает условия для устранения противоположности между городом и деревней».

Тут же, в примечании, Ленин указывает, что Энгельс в «Анти-Дюринге» «глубоко понял противоречие, сказывающееся в отделении города от деревни». Пусть читатель вспомнит, что именно из «Анти-Дюринга» взята вышеприведенная цитата Энгельса о «равномерном распределении крупного производ-

[1] Ленин. Сочинения.

ства по всей стране» и о «соединении города и деревни в одно».

Несколько яснее говорит Ленин о том же вопросе в статье «Социализм научный», напечатанной в 40-м томе «Энциклопедии» Граната:

«Капитализм окончательно разрывает связь земледелия с промышленностью, но в то же время в своем высшем развитии он готовит новые элементы связи: соединение промышленности с земледелием на почве сознательного приложения науки и комбинации коллективного труда, нового расселения человечества (с уничтожением как деревенской заброшенности, оторванности от мира, одичалости, так и противоестественного скопления гигантских масс в больших городах)».

Здесь Ленин вводит новую интересную мысль: «новое расселение человечества» в будущем обществе, но при этом не поясняет, в чем будет состоять это «новое расселение».

На этот вопрос Ленин отвечает в статье «Господа критики в аграрном вопросе» (гл. IV; эта часть статьи была напечатана в 1901 г. в № 2—3 журн. «Заря»). Вот что он писал в этой статье:

«Решительное признание прогрессивности больших городов в капиталистическом обществе нисколько не мешает нам включить в свой идеал (и в свою программу действия) уничтожение противоположности между городом и деревней. Неправда, что это равносильно отказу от сохранения науки и искусства. Как раз наоборот: это необходимо для того, чтобы сделать эти сокровища доступными всему народу, чтобы уничтожить ту отчужденность от культуры миллионов деревенского населения, которую Маркс так метко назвал «идиотизмом деревенской жизни». И в настоящее время, когда возможна передача электрической энергии на расстояние, когда техника транспорта повысилась настолько, что можно при меньших (против теперешних) издержках перевозить пассажиров с быстротой свыше 200 верст в час, — нет ровно никаких технических препятствий к тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными в немногих центрах, пользовалось все население, размещенное более или менее равномерно по всей стране. (Разрядка моя. — Н. М.)

И если ничто не мешает уничтожению противоположности между городом и деревней (причем следует, конечно, представлять себе это уничтожение не в форме одного акта, а в форме целого ряда мер), то требует его не одно только «эстетическое чувство». В больших городах люди задыхаются, по выражению Энгельса, в своем собственном навозе, и периодически все, кто могут, бегут из города в поисках за свежим воздухом и чистой водой. Промышленность тоже расселяется по стране, ибо и ей нужна чистая вода. Эксплоатация водопадов, каналов и рек для получения электрической энергии даст тоже новый толчок этому «расселению промышленности». Наконец, рациональная утилизация столь важных для земледелия городских нечистот вообще, и человеческих экскрементов в частности, тоже требует уничтожения противоположности между городом и деревней» (Ленин, Сочинения, т. IX, стр. 82—85. Разрядка всюду моя.— Н. М.).

В этой цитате мы находим две новые, и притом необычайно важные мысли по сравнению с тем, что Ленин говорил в двух вышеуказанных цитатах, и с тем, что писал Энгельс об уничтожении противоречия города и деревни. Во-первых, это указание на крупную роль, которую играет передача электрической энергии на расстояние в деле «рассеяния промышленности» по стране. Во-вторых, мысль о том, что в связи с этим «рассеянием промышленности» «все население разместится более или менее равномерно по всей стране».

К сожалению, Ленин нигде более не возвращается к этому важному и интересному вопросу.

Как же понимать это «рассеяние промышленности» и связанное с ним «размещение населения более или менее равномерно по всей стране»? Не ждет ли нас в будущем то, что в буржуазном

обществе называется дезурбанизацией, т. е. уничтожение городов и выселение городского населения в деревню? Мне кажется, что не так думали Ленин и Энгельс.

Противоречие города и деревни может разрешиться не победой того или другого из этих двух видов поселений. Коренное отличие города от деревни состоит в том, что деревня занимается земледелием, а город — промышленностью и торговлей. Если промышленность выселится из города в деревню, то или в деревне разовьются только мелкие промышленные предприятия, которые будут играть в ее жизни второстепенную роль, а главным ее занятием останется сельское хозяйство, — в таком случае деревня действительно останется деревней, — или в деревне возникнут крупные предприятия, но в таком случае она превратится в город. Энгельс и Ленин предвидели в будущем, конечно, не развитие в деревне мелких промышленных предприятий. «Возможно будет равномерно распределить к р у п н о е производство по всей стране», — писал Энгельс в «Анти-Дюринге». В той же цитате он говорит не о превращении города в деревню, а о «соединении города и деревни в одно». Очевидно, Энгельс, говоря об уничтожении противоречия города и деревни, имел в виду что-то другое.

Вопрос об уничтожении противоречия между городом и деревней привлекал внимание Энгельса еще в 40-х годах. Он касался этого вопроса уже в своих «Принципах коммунизма». Вот что он писал в этой брошюре:

«Противоречие между городом и деревней тоже исчезнет. Одни и те же люди будут заниматься земледелием и промышленным трудом, вместо того чтобы предоставлять это делать двум различным классам. Это является необходимым условием коммунистической ассоциации уже в силу материальных причин. Распыленность земледельческого населения в деревнях и скопление промышленного в больших городах является состоянием, которое соответствует только недостаточно высокому уровню сельского хозяйства и промышленности и является препятствием к дальнейшему развитию, что уже дает себя сильно чувствовать в настоящее время».

Чтобы деревня перестала быть деревней, нужны два условия. Во-первых, нужно, чтобы ее население занималось не только сельским хозяйством, но и промышленностью. Во-вторых, нужно, чтобы само земледелие перестало быть занятием, основанным на ручном труде, а приобрело также характер машинного производства. До тех пор, пока промышленный рабочий работает с машинами, а крестьянин почти не имеет с ними дела, прилагая повсюду ручной труд, работа того и другого становится их специальностью. Индустриальный рабочий не может сразу заменить крестьянина в области земледелия, так же, как и крестьянину, приходящему на фабрику или завод, требуется долгая выучка. «Мало кто из городских рабочих, — говорит Лафарг, — мог бы посеять картофель, капусту или ходить за коровой. Пожалуй, еще меньше нашлось бы крестьян, которые могли бы вести пароход или отправить телеграмму» (Лафарг, Сочинения, т. II, стр. 431). Только при условии, что в основе и промышленного и земледельческого труда будет лежать широкое применение машин («высокий уровень развития сельского хозяйства и промышленности», как говорит Энгельс), возможно будет организовать дело так, что «одни и те же люди будут заниматься земледелием и промышленным трудом, вместо того чтобы предоставлять это делать двум различным классам» (Энгельс). Это может быть достигнуто тем, что в те моменты, когда сельское хозяйство требует много рабочих рук, например—летом, часть промышленных рабочих будет перебрасываться с фабрик и заводов на поля, где они будут работать с привычными им машинами, и наоборот: зимой часть работавших на полях передвигаются на фабрики и заводы, где они находят уже привычные им машины[1]. Только при такой плано-

---

[1] «Провести борозду совершенно прямой и ровной на всем протяжении требовало когда-то особенной ловкости, которой обладали очень немногие пахари. В наши дни машинист может

мерной переброске рабочих сил из сельского хозяйства в промышленность и обратно возможно «соединение промышленности с земледелием на почве сознательного приложения науки и комбинации коллективного труда, нового расселения человечества», о котором говорит Ленин в вышеприведенной цитате. Только так можно осуществить «тесную связь индустрии с земледельческим производством» (Энгельс).

Но если благодаря широкому применению передаваемой на расстояние электрической энергии промышленность разместится более или менее равномерно по всей стране, если, с другой стороны, работники не будут более привязаны к одному месту работы, а будут, наоборот, часто менять свои занятия, переходя из одной местности в другую, то исчезнет не только деревня как место жительства населения, занятого исключительно сельским хозяйством, — исчезнет также необходимость в городах, как скоплениях населения, занятого исключительно промышленностью и торговлей[1]. Население получит возможность создавать такие способы расселения, которые будут диктоваться не экономической необходимостью, а удобствами жизни и соответствием жилища новой, коллективистической психике будущего человечества. Это будет своего рода прыжок «из царства необходимости в царство свободы». В настоящее время потребность в чистом воздухе, желание быть ближе к природе заставляют жителей душных, пыльных городов мечтать о деревне, о «городах-садах». Но деревня, а также и города-сады состоят из небольших домиков, жизнь в которых соответствует индивидуалистической психике людей капиталистического общества. У людей будущего общества, наоборот, будут необыкновенно сильно развиты коллективистические навыки. Жизнь в небольших домах и коттеджах их не удовлетворит. Они будут стремиться к созданию жилищ, в которых не только возможно, но и легко было бы самое широкое коллективное обслуживание их нужд и самое широкое культурное общение, а это легче осуществить не в маленьких, отдельно разбросанных домиках, а в крупных домах, расположенных отдельно один от другого среди парков, лесов и полей. Такой именно тип жилищ рисовали наиболее глубокие из социалистов-утопистов XIX столетия — Фурье, Оуэн, Дезами, Чернышевский[1]. Прогресс транспорта (железные дороги, автомобили, в будущем обществе — авиация) и его доступность для всех еще более облегчат создание таких жилищ даже вдали от фабрик и заводов. Этому же будет способствовать и сокращение рабочего дня на предприятиях: при четырех-пятичасовом дне нетрудно уделить два раза в день по получасу для того, чтобы приехать или прилететь из дома на работу и вернуться с работы домой. Прогресс транспорта облегчит также возможность легкого культурного общения между жителями отдельных домов-коммун. Наконец, успехи кино, радио, будущее развитие телевидения и т. п. создадут возможность богато развитой культурной жизни для жителей этих, разбросанных отдельно или стоящих небольшими группами домов-коммун (Фурье называл их «фаланстерами»).

управлять паровым плугом не хуже, чем поездом, и проводить борозды, которые покажутся чудом самому искусному земледельцу. Тот же машинист, оставив плуг, может сесть за швейную машину и после нескольких уроков шить сорочки тоньше и ровнее, чем это в состоянии сделать иголкой любая швея. Таким образом машинист, не тратя много времени на ученье, может освоиться с целым рядом разнообразнейших производств. И чем больше механизируется индустрия, тем длиннее становится список этих производств. Мы идем навстречу промышленному строю, при котором во всех отраслях производства будет царить машина и останется лишь один вид ручного труда — труд машиниста» (П. Лафарг, Сочинения, т. II, стр. 433—434). Статья Лафарга была написана в 1887 г.

[1] Часть городского населения занята в настоящее время делом администрирования, так как города являются в настоящее время административными и политическими центрами. Но затухание, а потом и полное уничтожение классовой борьбы и отмирание государства в эпоху одержавшего полную победу социализма поведут к исчезновению этой функции города.

[1] См. об этом подробнее в моей статье «Социалисты об организации быта будущего общества», «Красная новь», 1930, №№ 8 и 9—10.

Интересно, что не только социалисты-утописты стояли за такое решение жилищного вопроса в будущем обществе. К нему же склонялся и Энгельс. Говоря в своем «Жилищном вопросе» о необходимости и возможности уничтожения противоположности между городом и деревней, Энгельс прибавляет: «Первые утопические социалисты нового времени — Оуэн и Фурье — прекрасно поняли это. В *их образцовых учреждениях* противоположности города и деревни не существует («Жилищный вопрос», стр. 35).

Энгельс ничего не говорит о тех социалистах-утопистах, которые, подобно Томасу Мору и Кампанелле, думали, что единственным типом поселения в будущем будут обильно снабженные парками и садами города, жители которых занимаются и промышленностью и земледелием. Он не говорит ничего и о тех, которые мечтали, что в будущем все будут жить только в деревнях (Вильям Моррис), ни о тех, которые сохранили в будущем и город и деревню, только улучшая условия жизни и там и тут (Константин Пеккёр, Этьен Кабэ и др.). Он говорит только о Фурье и Оуэне (к ним можно прибавить еще Теодора Дезами и Чернышевского), которые отрицали и город и деревню и рекомендовали в будущем расселение в фаланстерах и домах-коммунах.

Еще яснее говорит об этом Энгельс в своих «Принципах коммунизма». В числе мероприятий, которые нужно будет осуществить после того, как пролетариат станет у власти, он заносит под пунктом 9-м следующее:

«Сооружение *больших дворцов* в национальных владениях в *качестве общих жилищ для коммун граждан*, которые будут заниматься промышленностью и сельским хозяйством и соединять преимущества городского и сельского образа жизни, не страдая от их односторонности и недостатков» (К. Маркс и Фр. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 475).

Такой вид поселений действительно диктуется всем ходом общественного развития[1] и ведет к тому, «чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными в немногих центрах, пользовалось все население, размещенное более или менее равномерно по всей стране» (Ленин).

[1] Во избежание недоразумений, замечу, что все развитые выше соображения относительно типа поселений будущего социалистического общества, а в частности, относительно полного уничтожения противоположности между городом и деревней и размещения населения более *или менее равномерно по всей стране* приложимы только к вполне развитому социалистическому обществу. Еще Энгельс писал, что уничтожение противоречия между городом и деревней составит «очень длинный процесс» («Анти-Дюринг»). Для осуществления этого потребуется ряд условий, которых еще нет налицо в период переходный от капитализма к социализму. Для осуществления такого размещения промышленности и населения необходимо:

1. Высокая степень электрификации и широко развитая по всей стране сеть, распределяющая электрическую энергию.

2. Широко развитый и хорошо организованный по всей стране транспорт (железные и шоссейные дороги, автомобили и т. п.).

3. Достаточно продвинувшийся процесс об'единения промышленного и сельскохозяйственного труда, т. е. машинизации и коллективизации сельского хозяйства (совхозы и колхозы).

4. Полная победа пролетариата над своими классовыми противниками. До этой полной победы города необходимы, ибо они представляют крупные скопления, так сказать, «крепости» революционного пролетариата. Поэтому уничтожение этих «крепостей» до полной победы пролетариата растворило бы его в массе крестьянства и ослабило бы его политические позиции. Вполне понятно и естественно, что в переживаемый нами в СССР переходный к социализму период мы наблюдаем не уничтожение городов, а рост многих из них и возникновение ряда новых. Но, конечно, новые города строятся у нас уже по другому плану, чем города эпохи капитализма. Впрочем, это совершенно особая тема, которую я надеюсь затронуть в другой статье.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Весенний дневник

Борис Губер

I. Спутники мои

Он входит смело, как к себе домой, стряхивает с фуражки воду, вытирает платком худое загорелое лицо с рыжеватыми подстриженными усами и с треском садится на застеленный простыней топчан.

Весело спрашивает:

— В Борисовский?.. Ну,

чики.

Он не то окает, не то акает, говорит не спеша и так, будто мы знаем друг друга по крайней мере лет десять. Вскоре я уже знаю, что зовут его по большей части Никанорычем, что он агроном, партиец, недавно кончил Сибак и едет с группой товарищей на исследовательскую работу.

— Одна группа в Борисовском уже работает, — говорит он, — да вот еще мы. Человек пятнадцать наберется. У меня работа экономического характера, а товарищи мои врачи, у них дело сложней... Они из-за этого и опоздали, аппаратуру не успели погрузить. Должно быть, сейчас с «Максимом» приедут.

Он продолжает рассказывать. В это время появляется еще два человека — оба черномазые, потные, нагруженные туго набитыми мешками. Один из них, в плаще, в куртке из рубчатого бархата и такой же бархатной кепке, злобно швыряет мешок на пол и сразу начинает ругаться, яростно жестикулируя и брызгаясь слюной.

— «Мы вас возить не обязаны, можете нанять лошадь», — с заметным акцентом передразнивает он кого-то. — Лошадь! А денежки кто будет платить?.. А мы вам огурцы сажать обязаны?.. Нет, это тебе, товарищ Дранько, не сойдет, придется ответить как следует, это называется — срыв посевной кампании...

Повернувшись к своему спутнику, который тем временем спокойно уселся на мешок и свoрачивает папироску из махорки, он кричит:

— Это все ты виноват! Говорит тебе, нужно бумажку взять... Вот и бегай теперь, ищи подводу...

— Да вы по какому едете-то? — спрашивает Никанорыч.

Оказывается, они болгаре-огородники, везут семена для совхозного кооператива, который закладывает в этом году для нужд рабочих и служащих огород в семь тысяч га. Они обстоятельно рассказывают о своих делах и, выговорившись, долго еще грозят Драньке судом и тюрьмою.

Хриплый гудок паровоза прерывает их брань. Это «Максим». Никанорыч бежит встречать товарищей и через несколько минут возвращается, приводит новых гостей.

Первым пролезает в дверь приземистый, коренастый человек, похожий на финна. Его пожилое бритое лице красно от натуги — он тащит огромный чемодан и, с трудом взгромоздив его на табурет, поочередно протягивает руку, сначала огородникам, потом мне.

— Вагин, Григорий Аникиевич, — говорит он, учтиво улыбаясь; при этом обнаруживается, что зубы у него разноцветные — коричневые, зеленые, желтые, а один даже голубой.

Вслед за ним, заложив руки в карманы мужского драпового пальто, входит высокая черноглазая девушка с неестественно бледным, почти белым лицом (впоследствии я узнал, что ее прозвали почему-то Марией-Терезой), и молодой, преждевременно располневший блондин, розовый, белобровый, с необычайно солидными повадками. Никанорыч кричит из-за его спины:

— Ну, ребята, теперь — чай пить.

Хозяин, шаркая валенками, вносит самовар. В комнате сразу становится шумно и тесно. Безучастны к общему веселию только кооператоры — мрачно насупившись, они еще неко-

торое время сидят в углу и, очевидно, убедившись, что при таком количестве претендентов им нечего рассчитывать на автомобиль, отправляются искать ямщика.

Вместо них вваливаются все новые и новые люди — слушатели Омского индустриального техникума, едущие на практику, человек пять плотников, нагруженных инструментом, киномеханик с передвижкой... Последним приходит молчаливый, внимательный человек в галифэ и короткой бобриковой куртке, под которой виднеется на широком ременном поясе револьверный кобур. Выясняется, что он едет в совхоз организовывать внутреннюю и пожарную охрану, и для него немедленно придумывается кличка: Кум-пожарный.

2. Розовый город

Зерносовхоз Борисовский... За сегодняшний день эти два слова стали привычные и как бы свои. Но что скрывается за ними? Каков из себя этот только что родившийся на свет исполин, этот социалистический базис в степях Сибири, созданный упрямыми руками человека из пустой земле, до сих пор еще попираемой стадами кочевника? Похож ли он хоть сколько-нибудь на помещичьи и казенные имения, в которых служил мой отец, когда я был еще ребенком, или на те московские и тверские совхозы, в которых я работал в первые годы революции?

Я вспоминаю Лозановку, киевское поместье сумасшедшего старикашки Сахновского, — и вот передо мною крыластый белый дом с колоннами и плоским зеленым куполом над ними, стриженный газон перед под'ездом, легко и беззвучно подкатывающая к дому коляска, запряженная на польский манер четверней «цугом»... Я вижу пеструю толпу парней и девушек, с утра ожидающих перед конторой получку, — они бродят по двору, мимо коровника, конюшни и магазинов, тесно сгрудившись, стоят у калитки палисадника; иные, соскучившись, отошли в сторону и сидят на пыльной, истоптанной траве; им еще невдомек, что скоро выйдет в палисадник эконом, дородный усатый человек в чесунчевом пиджаке и об'явит: расчета сегодня не будет.

— На той неделе зараз отдадим, — скажет он ленивым басом...

И тотчас слышится другой, точно такой же ленивый и снисходительный бас. Это Егор Семеныч, тингутинский приказчик.

На сотни верст лежат выжженные солнцем астраханские степи. Редко-редко встретишь в этой раскаленной пустыне черные полушария калмыцких кибиток, или стадо баранов, или скрипучую телегу, влекомую тощим верблюдом с пустыми, опавшими горбами... И когда под'езжаешь к землям Тингутинского казенного орошаемого участка, они так буйно и неожиданно зеленеют татарскими огородами своими и аккуратными клеточками полей, засеянных люцерной и горчицей, что больно глазам смотреть на них. Широкий, как река, канал вытекает из огромного пруда, разветвляясь на десятки и сотни канальчиков, канав и канавок, и у самого истока его, в конце высокой, похожей на железнодорожную насыпь плотины прилепилась усадьба. Она мала и неприглядна, беспорядочно заросла тополями, ветлами и акациями, в тени которых прячутся покосившиеся мазанки, плетневые сараи и навесы для скота. Сонная тишина и безлюдие... Летом в горячем небе кружат над усадьбой ястреба, а зимою к занесенным саженными сугробами жилищам приходят волки, сгорбившись, усаживаются на плотине и, отлично видные из окон, воют всю ночь, задирая кверху лобастые головы...

На Казанском переулке
Труп убитого нашли,
Он был в кожаной тужурке
Восемь ран на груди...

поет киномеханик. Лицо его черно от пыли, он сидит на бочке и, мотая головою, яростной скороговоркой выкрикивает слова припева:

Над-доела мене ета жиз-зня
Я ищ-щу себе друг-гой...

Я смотрю на него, на ухмыляющуюся рожу Никанорыча, на Кума-пожарного, невозмутимо раскуривающего папиросу — и дикими, нелепыми сразу становятся мои, еще не сгинувшие воспоминания. Ну, что может быть общего между созданной в пустыне зерновой фабрикой и помещичьей экономией, от которой давно не осталось камня на камне, или с Тингутой, бюрократической и бессмысленной затеей царского министерства?.. Уж скорее похож Борисовский на первые карликовые совхозики, зарождавшиеся в годы разрухи на месте былых усадьб, чтобы положить начало славному племени будущих гигантов!

И я вспоминаю Ладьино, совхоз, которым я заведывал в 1923 году... Пять лет прошло с тех пор, как вышвырнули из Ладьина его бывшего владельца Казнакова — но мало что изменилось в облике усадьбы за это время. Казнаков командовал кавалергардским полком, самым блестящим и нарядным из всех царевых войск — и

ту же нарядность старался придать и усадьбе, безмерно гордясь, что пожалована она предкам за московское сидение. На один только парк и затейливо выкопанные пруды было истрачено большое тамбовское поместье. Но, видно, нехватало спесивому гвардейцу своего ума! Все силы свои, гонор и капиталы клал он на подражание чужим образцам. Парк и пруды были точной копией другого, английского парка. На одном из островков торчала башенка, в точности воспроизводившая геральдическую башню казнаковского герба. Дом копировал знаменитую итальянскую виллу... Даже службы были построены по каким-то знаменитым образцам — их кирпичные стены под крутыми крышами были толщиной в сажень, а скотный двор высок, сумрачен и гулок, как Исаакиевский собор... Но какое дикое невежество, какое хищничество таилось под этим пышным обликом! Поля, истощенные беспорядочными посевами льна, давали урожаи, над которыми потешалась вся округа; леса были сведены и распроданы без всякого расчета; чистопородные красавцы-вильстермарши не давали молока, — и все это досталось совхозу воистину проклятым и никчемным наследством, обрекающим его на хилое прозябание, на нищету... Разве может быть Борисовский таким?

Правда, бывали и другие совхозы, вроде Карачарова, в котором четырнадцатилетним подростком начинал я свою жизнь. Его поля, постройки и скот были в образцовом порядке. Но и этот порядок остался от прошлого — от князя Гагарина, отличавшегося от прочих разве только тем, что хозяйничал он умней и расчетливей их. Да и какая цена была карачаровскому хозяйственному порядку? Он уживался с мотовством, какому позавидовал бы любой кавалергард, — и рядом с двенадцатипольем, новенькими машинами и железобетонным скотным двором на полтораста высокотоварных швицов, существовало два дома, з и м н и й и л е т н и й, оранжереи, цветники, теннисные площадки, парк с прямыми, как ленинградские улицы, аллеями и вывесками на каждой: Софьина, Глебова, Григорьева, Олегова — по именам княжеской семьи... Два года пробыл я рабочим этого совхоза; при мне, предназначенные на дрова, затрещали вековые березы в парке, раскрыл свои комнаты для детской колонии летний дом, разбрелись по квартирам плугарей и скотниц старинные диваны-гардеробы и комоды, — но так и не утратила своей барской физиономии усадьба, на каждом шагу напоминая о тех временах, когда все в ней предназначалось на потребу и на утеху ее сановному господину... А остальные совхозы, все эти Чуксановы, Глинкины, Нагорные, Спасские, Измайловы, которые мне довелось повидать на своем веку? Они были победней, подряхлей, попроще с виду, но разве не сохранилась и у них все та же барская внешность, созданная веками дворянского владычества, рабовладельчества, бесстыдной и неприкрытой эксплоатации?

...Гудит мотор, кричат гуси — они летят на север, предвещая близкое тепло. Машина медленно ползет по дороге мимо перелесков и рощ. Дует ветер, — и опять все притихли, уткнувшись в поднятые воротники, надвинув на лица фуражки и шапки... Все новые и новые воспоминания встают передо мной. Они разрозненны, мимолетны — но внятен и беспощаден их приговор. Они говорят о том, как тщетны были попытки построить новое рациональное хозяйство среди догнивающей усадебной мишуры, на выпаханных дочиста полях, посредством чесоточных кляч и ржавого лома, заменяющего плуги, сеялки и жнейки... Много лет понадобилось для того, чтобы страна набралась сил и взялась за переделку всего этого старья — за созидание иных, еще неведомых человечеству хозяйственных форм. Только начавши заново, безжалостно уничтожая всякий след недавнего хищничества, можно было воздвигнуть мощные, точные и слаженные агропроизводства, за которые не придется стыдиться и в самые годы социализма. Они действительно н о в ы е, каких нет и не бывало в мире... Но, чорт побери, каковы же они?

Я оглядываюсь на своих спутников. Агрономы и врачи, едущие на научную работу, студенты-практиканты, начальник охраны, кооператоры, киномеханик, московский журналист — да ведь это население целого города!.. И никто даже не удивился нашему нашествию, точно каждый день приходится возить в Борисовский по полному автомобилю пришельцев. «Большие тысячи народу», — говорил о Борисовском хозяин станционной квартиры, — и я готов поверить этому прожженному, злобствующему кулаку, ибо и впрямь: велик и вместителен должен быть Арарат, к которому беспрепятственно пристают ковчеги вроде нашего.

Небо очистилось, и облака над горизонтом наливаются бледным золотом. Мы едем по борисовской земле. Она ничем не отличается от той степи, что уже больше трех часов сопутствует нам; ни одного распаханного клочка не

видно окрест, — бурая мертвая трава, перелески — и все.

Но нет, не все: впереди, сквозь дымчатые заросли мелькают какие-то белые и розовые пятна, похоже, будто здесь на ветвях развешано для просушки только-что выстиранное белье.

— Вот он! — говорит Никанорыч.

Он привстает, показывает рукой, но дорога уже нырнула в лес — опять ничего не видно... А в следующее мгновение мы уже на широкой прогалине — и, озаренный теплым закатным светом, перед нами широко и беспорядочно распростирается белый, золотой и розовый город.

Автомобиль с грохотом несется по укатанной дороге. Все разбегается в моих глазах — вереницы белых домиков под красными крышами, длинные, вытянувшиеся вдоль и поперек строения без окон и дверей, желтеющие свежим деревом, тесное скопище палаток, тесовая башенка на манер пожарной каланчи... я различаю груды камыша, штабеля бревен и досок, срубы и каркасы будущих построек без крыш и одни крыши, воздвигнутые на столбах и как бы парящие в воздухе, — и все это движется, перемещается, прячется и возникает вновь в невообразимом и мучительном беспорядке.

Но вот автомобиль подкатывает ближе, замедляет ход... Ошеломленные, сбитые с толку, мы сходим на землю. Наметившегося было порядка нет и в помине. Все вокруг кипит, движется, грохочет — доносятся откуда-то частые удары молотка по наковальне, тяпание топоров, аэропланное жужжание моторов... Маленький колесный трактор бойко бежит навстречу конному обозу с сеном, тащит за собой длинный поезд порожних бочек. Повсюду, куда ни взглянешь, снуют, суетятся, работают и просто стоят без дела люди — они копошатся на постройке, сидят на возах с сеном, размахивают руками, что-то кричат — и нет никакой возможности разобрат[ь]ся во всем этом шуме и сутолоке...

10 мая.

Зовут этого человека Константин Григорьевич Косько.

Вчера, приехавши со станции, мы прямо с автомобиля ввалились к нему, но уже темнело, и в сумерках я не разглядел толком, каков он с виду. В Новосибирске зернотрестовские работники говорили о нем, как об одном из лучших директоров, и я ожидал увидеть человека в порядочных летах, а встретил совсем молодого парнишку. Его гимнастерка защитного цвета с расстегнутым воротом смахивала на юнгштурмовку, а сам он — на комсомольца, вузовца.

Молодым показался он на первый взгляд и сейчас, худой, голенастый, угловатый в движениях — размашистой угловатостью подростка, кончающего семилетку. Смуглый румянец пробивался на лице его сквозь загар. Лицо было тоже юношеское, с облупившимся носом и нерешительными бровями мечтателя. И уж совсем по-детски, наивно белела в глубине ворота худая, не тронутая загаром шея.

— Ну, как, товарищи, не замерзли? — спросил он, поворачиваясь к нам. — Зима.

Он коротко улыбнулся, — и тотчас облик его стал иным. Что-то очень уж внимателен и отдален был взгляд его серых, не принимавших участия в улыбке глаз: многое нужно повидать на своем веку, чтобы смотреть **так**. Слишком резкие отчетливые складочки отсекали углы его губ — таких не бывает в юности... А еще через миг можно было заметить морщинки, скопившиеся на висках и на отвесном высоком лбу, белые искры в волосах, крупными темными прядями закинутых назад, — и подумать: «Эге, дружище, да ведь ты старик!..»

Мои спутники дружно насели на него со своими исследовательскими делами. Они почему-то решили, что в совхозе отнесутся к их работе недостаточно серьезно и приготовились спорить с директором напропалую. Но все обошлось благополучно — разговор был закончен так быстро, что Николай Николаевич не успел выложить и половины доводов, с утра приготовленных для спора. Косько согласился даже предоставить группе под жилье и передвижную лабораторию отдельный вагончик — тот самый, в котором мы поселились.

Так же быстро, в нескольких словах, сговорился с ним и я. Он предложил на первое время ограничить мою работу центральной усадьбой, с тем, чтобы охватить участки постепенно, в процессе сева — и, сказавши: «Вот так, товарищи, и сделаем», — снова взялся за карандаш.

Весьма довольные этим удачным началом, мы вернулись к себе в вагончик. Там обнаружился новый гость. Он стоял перед раскаленной печкой, почти упираясь в потолок головою, и оглушительно хохотал, рассказывая Марии-Терезе какую-то веселую историйку.

— А, Тарчевский! — воскликнул Никанорыч. — Ну, рассказывай, рассказывай...

Оказалось, это руководитель первой исследовательской группы, обосновавшейся в Борисовском неделю тому назад. Он уже присмотрелся к совхозу и, нужно отдать ему справедливость, сумел рассказать много интересного. Но зато как он рассказывал! Бесцеремонно развалившись на чужой постели, хохоча, чертыхаясь, сплевывая на пол и куда попало бросая окурки, он ругательски ругал всех и вся: директор — болтун и верить его обещаниям могут только дураки; заведующие участками растерялись, ничего у них не ладится, и все их расчеты и планы попросту провалились; вместо двух сеялок, как предположено по плану, Интернационал тащит всего одну; условия, в которых приходится жить на колоннах,—дьявольские; исследовательскую работу вести вообще невозможно, потому что никакой помощи совхоз не оказывает...

Слушая его, приуныл даже Никанорыч. А он, протирая перчаткой огромные очки, неожиданно принялся вдруг расхваливать все, что перед этим поносил.

— В общем, конечно, трудновато, — гремел он оглушительно, — с такой погодой сам чорт не справится. Но, с другой стороны, размах! Размах, братцы!.. Выйдешь в степь, пашни на десять километров. Черно! Ни одного цветочка не увидишь, сердце радуется... А трактористы какие! Катерпиллар — да ведь это же дом, кафедральный собор!

Он, не умолкая, говорил до самого вечера... А вечером прибыло еще два жильца — профессор Сибака Самосюк и заведующий отделом крупных хозяйств Западно-сибирской опытной станции Скорняков. Своим видом, сапогами облепленными грязью, грубыми брезентовыми плащами, напяленными поверх пальто, они опрокидывали все ходячие представления о научных работниках — скорее уже можно было принять их за об'ездчиком или бригадиров... И опять, разгораясь с новой силой, начались разговоры о Борисовском, о неудачах с севом, о хронометражистах, — и Тарчевский бесцеремонно тыкал пальцем в грудь Скорнякова, наступал на него и гремел:

— Я вас, Иван Николаевич, понимаю прекрасно, вы свой отдел защищаете, а я свой!

Скорняков только посмеивался. Его горбоносое лицо как бы надкалывалось пополам, — от глубокой, как трещина, складки над переносьем разлетались на две стороны брови и морщины.

— Да бросьте вы, голубонька, — говорил он, поглаживая свои темные короткие подстриженные усы, — экий вы, право, крикун...

Кончилось тем, что все мы отправились в столовую, превращенную на сегодняшний вечер в кино.

С трудом удалось нам протиснуться в зал, так густо сидели и стояли там люди. Среди зрителей было немало трактористов, пришедших с ближайших колонн,—и когда на экране, после крикливой надписи, появились фордзоны, и с отвалов плугов, ломаясь и перекручиваясь, потекли пласты земли, по залу побежали смешки, кто-то крикнул:

— Серьгу отрегулируй, шляпа!

Скорняков, сидевший рядом со мной, шепнул:

— Чорт те што... Здесь за такую пахоту с работы бы сняли, а они умиляются. Привести бы сюда этого самого режиссера, или как его там...

11 мая.

Сегодня наш вагончик увезли на участок. Маленький колесный тракторишко бойко потащил его по дороге, и я едва успел распрощаться с товарищами.

Начались длительные мытарства с поисками нового пристанища.

Завхоз Роберт Карлович, откормленный щеголь-эстонец, недавно переведенный сюда из ЦЧО, тщетно пытался разыскать для меня свободное местечко. Путешествуя вместе с ним по общежитиям, я мог со всею наглядностью убедиться, как велик в Борисовском жилищный кризис: пока что закончены только самые необходимые постройки, а по жилстроительству это не больше 25 процентов плана.

Из десяти общежитий, потребных для нормального существования борисовцев, готовы всего три. Это однотипные дома, разрезанные посредине длинным темноватым коридором. По обеим сторонам, как в гостинице, тянутся комнаты. Каждая рассчитана на пять-шесть человек, но почти во всех поставлены добавочные койки, и число их доходит до пятнадцати Как ни стараются уборщицы поддерживать в этой невообразимой тесноте чистоту и порядок, из их стараний ничего не получается. Особенно грязно, душно и тесно в мужских комнатах. У женщин чище, и даже заметны робкие попытки украсить свой неприглядный быт— то покажется из-под сивого казенного одеяла кружевной край простыни, то блеснет повешен-

ное над изголовьем кровати зеркальце с приколотой к нему бумажной розой, то остановившимся взором глянет с мутной грошевой фотографии сама владелица ее, в комбинезоне, снятая рядом с Интернационалом, положившая руку на радиатор...

— Битком, — флегматично резюмировал Роберт Карлович, заглядывая в последнюю комнату. — Как в трамвае.

И здесь койки стояли почти вплотную. У окна молодая казачка расчесывала медным гребнем неестественно-черные волосы. Рядом с нею, закинув ногу-на-ногу и ловко наигрывая на балалайке, сидела стриженая девушка в мужских штанах.

— У нас есть одно место, — крикнула она, — Настю на Москаленки перевели.

Роберт Карлович сердито фыркнул в ответ и притворил дверь.

— Видали?

Он молча зашагал по коридору и, только выйдя на крыльцо, продолжал, отворачиваясь от пронзительного ветра и опуская задок финки:

— Ступить некуда! Придется кого-нибудь в аул переселить. А уж вы перебейтесь денек-другой... Попробуйте к строителям стукнуться, может, они вас устроят.

Пришлось итти к строителям, — и действительно все устроилось. Прораб, молодой лысый инженер, предложил поселиться у него и тут же отвел меня в дальний конец усадьбы, где на самой окраине пристроилась маленькая с виду, нештукатуренная хибарка. Высокая, как бы вытянутая вверх, сложенная из коротких голубых бревнушек, она похожа на блокгауз со старинной иллюстрации к Фенимору Куперу.

Кроме прораба, здесь живут два техника — молодые приветливые парни, устроившие меня в своей комнате.

Запись вторая.

Вечер. Второй борисовский день на исходе — и уже можно потихоньку разобраться в том множестве самых разнообразных впечатлений, что скопились у меня за это время.

Главное в этих впечатлениях — полное несоответствие между бытом людей и всем остальным, что относится к их работе.

Сейчас мне еще трудно судить о том, насколько обеспечен совхоз мастерскими, машинами, транспортом и т. п. Но даже при самом беглом знакомстве виден действительно широкий размах, настойчивое и последовательное стремление механизировать все отрасли работы, связать их единым планом и уподобить хлебопашеское хозяйство точному фабричному производству. Сказывается это даже на внешности усадьбы. Гусеничные и колесные тракторы, буксирующие грузовые тележки, и новенькие, сверкающие свежей краской автомобили беспрерывно снуют взад и вперед, нагруженные бочки с горючим, плугами и боронами, мешками с зерном, печеным хлебом,— и глядя на них, сразу убеждаешься, как прочно вошла машина в самую основу Борисовского, облегчая и рационализируя человеческий труд и создавая новые, еще не виданные в сельском хозяйстве темпы.

Совсем иначе обстоит дело с жизнью борисовцев вне производственной обстановки.

Эта часть их жизни скудна и безалаберна, как у погорельцев. После сегодняшнего похода по общежитиям, я уже по-иному стал присматриваться к совхозному быту — и с каждым шагом он раскрывается передо мною все глубже, во всей своей нищете и неприглядности.

Жилищная теснота лишь малая доля тех неудобств и лишений, среди которых приходится жить и работать борисовцам и, пожалуй, далеко не самая существенная. Сегодня, например, я был свидетелем весьма характерного разговора, затеявшегося в строительной конторе. Артель плотников требовала расчета и, когда их пытались урезонить, спрашивая, что им, собственно, не нравится, они наперебой стали кричать:

— Пойти некуда!

— Контрактовали нас, так наговорили чего и не нужно, а здесь...

— Хуже скотины живем!

— Без табаку сидим третью неделю!

Особенно старался молодой паренек в домотканном, самом что ни на есть рязанском чекмене. Он взволнованно размахивал руками и, краснея, слегка заикаясь, — должно быть, от смущения, — выкрикивал:

— На других постройках рабочего ублаготворяют, ему и клуб, и читальня, и кино бесплатно, а здесь день работай, а пришел с работы, только и остается спать ложиться, хуже деревни...

В конце концов артель осталась на работе. Однако это еще не решает вопроса, потому что причины, понудившие их скандалить, тоже остались... А чего стоит хотя бы столовая, которой пользуется, за самыми малыми исключениями, весь совхоз — чего стоят постоянные очереди в ней, юркие оборванцы, вроде беспризорников, шныряющие между столами, оша-

лелые подвавальщицы, безвкусная бурда вместо супа и неизменная каша из отвратительно ободранного овса!

Конечно, многое здесь об'ясняется об'ективными условиями. Столовая снабжается в централизованном порядке и перегружена, главным образом, из-за строительных рабочих, на которых масштабы усадьбы вовсе не рассчитаны. Точно так же неизбежны на первых порах и жилищные кризисы - строительство только начато. Но, с другой стороны, даже двух дней достаточно, чтобы заметить, как мало внимания обращают борисовцы на всяческие вполне устранимые мелочи — или, вернее, как мало сделано для привлечения к бытовым неустройствам внимания совхозной общественности. Примером может служить вывешенная в столовой стенгазета: в ней нет ни слова о беспорядках, изо дня в день повторяющихся в той же самой столовой, а рядом, в очередях и за столами, не умолкают брюзжание, споры, брань, и десятки соображений и пожеланий, высказанных вот так, среди сварливого разговора, пропадают втуне. И кончается тем, что каждый думает только о себе. Сегодня за обедом член коопкомиссии, седой и сердитый слесарь Четвертаков тащит к дверям пожилого бородатого строителя, приговаривая: «Не лезь без очереди, не лезь», — а тот упирается и говорит укоризненно:

— Служащим можно без очереди, а мне нельзя? Эх, вы, сами себя не заступаете...

Все это уточнило мои планы. Очевидно, придется начать работу с детального бытового обследования.

Встретившись с Косько, заговорил с ним об этом. Он довольно равнодушно ответил:

— Да, это у нас узкое место. Но что поделаешь? Сейчас все внимание совхоза мобилизовано на проведение сева.

По-своему — он прав. С севом не ладится, и весь руководящий состав Борисовского, начиная с секретаря партколлектива и кончая председателем рабочкома, раз'езжает по участкам, проводит беседы с трактористами, организует новые ударные бригады, — на остальное же попросту не остается времени.

И все же, если смотреть на дело шире, столовая не менее важна, чем эти поездки. Мало ли в нашей практике всяческих неудач и срывов, об'ясняющихся скверными жилищами или плохой работой кооперации? В конечном итоге неумелая организация быта может оказаться не менее существенной, чем промахи производственного характера... Но, очевидно, эта давно известная истина, на тысячи ладов повторяемая газетными статьями и лозунгами, в каждом отдельном случае воспринимается с трудом и не сразу.

А с севом действительно неблагополучно. Во время пробных выездов в поле, обнаружилось, что тракторы на здешних тяжелых почвах показывают меньшие результаты, чем запроектировано в планах. Это, конечно, не может не сказаться на сроках работы — и все нервничают, выискивают дополнительные возможности, считают и планируют заново.

Колонны между тем давно на участках, томятся, до сих пор не приступая к севу. Им мешают холода, ночные заморозки и неутихающие ветры, о силе которых можно судить по вчерашнему дню: вчера на одном из участков повалено и разрушено почти доведенное до крыши здание зернохранилища, а на другом опрокинуло полуторатонный форд, с которым возвращалась к табору смена. Любопытно, что у женщины-шофера, управлявшей грузовиком, достало выдержки, чтобы во время падения выключить мотор.

Это рослая некрасивая девушка, чистенько по-женски одетая и даже не стриженая. Вот ее рассказ:

— На тихом ходу шли, десять километров, не больше. И дорога хорошая. Ветром-то сбоку ударило, на повороте. Смотрю, а дорога у меня на дыбки становится, косогором. Я и поняла, бросила газ, выжала конус, стараюсь, как бы плечом стекло не вышибить. Ну, не вышибла. Шибко тихо падали... Рулевых семь человек везла. Если бы они все к одному борту не кинулись, может, и устояли бы. А они испугались, думали — всем им хана...

12 м а я.

Заняться вплотную делами центральной усадьбы удалось только после обеда. Всю первую половину дня отняла поездка в поле с директором и председателем рабочкома Кралько — хмурым пареньком, очень колючим и обидчивым, как это часто бывает с людьми небольшого роста.

Я рассказал ему о вчерашних жалобах строителей, пробовал заговорить о прочих неустройствах, и он тотчас затеял ожесточенный спор, как если бы я обвинял в чем-нибудь его лично.

— Ну, уж это ты брось,—говорил он, мрачно поглядывая блестящими карими глазами и

каждым словом распаляясь все больше. — Столовая, это еще не факт! Для того ее кооперации и поручили, чтобы не путаться с нею. Мы во все подробности залезать не можем, и без того работы по горло... А строители лучше бы помалкивали. Подумаешь, клуба нет! А почему, спрашивается, они к нам лезут? У них свой союз, своя администрация, мы к ним в няньки не нанимались. А если у них инициативы в шарике нехватает, так винить здесь некого, вот что, товарищ дорогой. Да и не гоним мы их... Пожалуйста! Библиотекой нашей пользуются? В кружки наши пролезают? На постановки ходят?.. У нас самих тесно, всего в обрез, а ведь мы не возражаем. Так они хоть копейкой бы своей поучаствовали! Дали несчастных сто рублей каких-то и думают отыграться, нищих из себя разыгрывают...

Тут его прервал Косько, сидевший впереди за рулем.

— Дело не в строителях, — сказал он, оглядываясь,— а в том, что живем мы действительно скверно. Хвалиться, брат, нечем.

Кролько накинулся на него:

— А я разве говорю, что хорошо? Мало, скажешь, я с тобой из-за этого ругался?.. Сколько у нас народу в Изюмовке живет? Каждый день пешком на работу бегают! Туда, да обратно, десять километров, а ты, ведь, автомобиля им не дашь, чтобы ездили...

— Не даю не потому, что не хочу, а потому, что нету.

— Так ты и говори, что нету... А кто кооперативу деньги задерживает на ферму?

В общем разговор получился нескладный, и кончилось тем, что Кролько разозлился и всю остальную дорогу обиженно молчал.

Дорога была недолгая. Сразу же за усадьбой потянулись приготовленные к севу поля, и я невольно вспомнил Тарчевского — какие уж тут цветочки! До самого горизонта, насколько хватает глаз, чернеют сплошные пашни: мы проехали километров пятнадцать, и только в одном месте расступаются они, чтобы дать место озеру Джалтырь, по имени которого названы прилегающие к нему участки — Северный и Южный Джалтырские. Дух захватывало, глядючи на это озеро — так отчетливо лежало оно среди черного океана, в палевом кольце камышей, так густо сини были его воды, испещренные белыми гребешками, и так ветренно было небо над ними с разорванными кудрявыми облаками, быстро бегущими в бледной синеве.

Далеко в стороне, на берегу другого, точно такого же озера, только поменьше, расположилась колонна Южного.

Здесь нас встретил заведующий участком Шурыгин, фундаментальный человек, с маленькой не по росту головой, заносчиво посаженной на длинной шее. Не здороваясь, раздраженно покашливая, он подошел к автомобилю и сразу же начал жаловаться на погоду, на почву:

— Чорт ее разберет! За ночь замерзнет, не подступись, а как оттает, получается грязища, топко, трактора буксуют, хоть плачь... Придется переходить на тот конец, к усадьбе.

— Это уж вы с Пештой согласуйте, — ответил Косько.

Он высадил нас и продолжал:

— Садись-ка, я проеду, котлован посмотрю, по дороге поговорим.

Колонна готовилась выезжать на работу. Часть тракторов была уже в поле. Остальные заканчивали заправку — самыми убогими, кустарными способами, какие только можно придумать. Заправщицы в стеганках и брезентовых плащах возились с бочками, нацеживая керосин в ведра, потом вручную выливали ведро в плохо прилаженную к трактору воронку — и ветер разбивал струю, далеко по земле разбрызгивая едко пахнущее зелье.

— Пойдем в канцелярию, — хмуро позвал Кралько, — чего тут зябнуть-то зря.

Мы поднялись по шаткой приставной лесенке в вагончик. Канцелярия помещалась в тесном четырехместном купе. За узким столом, протянувшимся на подобие пятой поперечной койки от стены до стены, работал счетовод. Рядом покуривал еще один местный житель. Он был одет по-городскому, в пиджачную тройку, очки темнели роговой оправой на его бутрастом лице с большим висячим подбородком — и все обличье его как-то не вязалось с походной, полевой обстановкой.

Оказался он рабочим-двадцатипятитысячником, одним из десяти ленинградцев, которых прислали в Борисовский изучать тайны крупного хозяйства, чтобы они могли применить свои знания впоследствии на колхозной работе. Точно так же, как и товарищи его, он уже прошел организованные совхозом двухмесячные курсы и сейчас отбывал на участке практику.

— Ну, как живете? — спросил Кралько?

Он засмеялся, показывая гниловатые зубы, желчно ответил:

— Что ж, живем, овес жуем. Вчера хлеб привезли, есть невозможно, насквозь кероси-

ном провонял. Ребята завшивели все... Мы их агитируем, об'ясняем,— дескать, временные неполадки, дело, дескать, сложное, то да се. А получается как в анекдоте. Знаешь? Стоит парень перед плакатом. На плакате надпись — «Сифилис не позор, а несчастье». Он прочитал и говорит: «А мине от этого не легче».

Кралько недовольно поморщился, глянул злыми блестящими глазами.

— Ты анекдот оставь, смех тут плохой... Программы-то проработали?

— Прорабатываем потихоньку... А толк какой? Шурыгин зашился — то настаивал, чтобы отсюда начинать, а теперь думает обратно перебираться. А спроси его, осмотрел он те-то клетки? Может, и там не суше!.. Ну, да ничего, мы его сегодня на ячейке проберем, он...

Перебивая его слова, с визгом от'ехала в сторону дверь, и в купе сначала проснулось лицо, обросшее густой и короткой, похожей на плющ бородой, а потом бочком пробрался тощий человечек в лохмотьях.

— Я, товарищ рабочком, к тебе, жалоба у меня...

— Что еще?

Он принялся рассказывать, и из бесконечных повторений одного и того же, отступлений и ненужных подробностей выяснилось, что он поденщик-колхозник, что его поставили караульщиком к полевой семенной базе и забыли, оставили без смены — он, не евши две ночи и день, продежурил на холоде и, если бы не забрался под брезент, замерз бы на-смерть.

— Какое же теперь положение будет? — говорил он. — Ведь я весь зазяб, а баз не покинул, нужно это отметить...

Кралько молча слушал его, темнея лицом.

— Ты сначала поешь,—сказал он, наконец,— а там разберемся. Пойдем-ка, я тебя проведу.

Они вышли. Вышел следом за ними и я.

В степи попрежнему дул ледяной ветер, мелкие сухие снежинки косо неслись в воздухе. Над озером стаей, как галки, перелетали гуси. Табунки уток чернели, покачивались на волнах. Вдали, по межам, катил, приближаясь, голубой директорский форд.

Уезжали мы с колонны вдвоем — Кралько остался проводить производственное совещание и ругаться с Шурыгиным.

На обратном пути завернули к стану машинно-тракторной бригады.

Это нечто вроде миниатюрной МТС, выделенной Борисовским специально для обслуживания окрестных колхозов. Состоит бригада из девяти джон-диров и необходимых прицепных орудий к ним. Обслуживают ее трактористы-колхозники, в свое время обученные на борисовских курсах, и только руководящий состав подобран из совхозных работников. Среди руководителей—старший рабочий Мельниченко, прославившийся, как один из лучших колхозных организаторов в районе.

Программа бригады на весну 1930 года — 5580 га пахоты, 950 га боронования и 650 га сева, причем площади эти складываются из многих мелких кусочков: есть артели, которым предстоит вспахать не более ста гектаров. В настоящее время бригада работает на полях коллектива, организованного борисовцами и витиевато, но выразительно названного: «Первая встреча с зерносовхозом».

После обеда принялся за свое бытовое обследование.

Начал с совхозного кооператива. Организован он в октябре 1929 года рабочими и служащими Борисовского, но работает главным образом на средства совхоза, стройконторы и гидростроя. В ведении его сосредоточены: лавка на центральной усадьбе; два передвижных ларька; центральная столовая и одиннадцать походных кухонь, которыми в общей сложности пользуются полторы тысячи человек, пекарня с суточной производительностью в 35 центнеров печеного хлеба; сапожно-пошивочная мастерская; парикмахерская и т. д. Кроме того, заложен огород на 56 гектаров и организуется молочная ферма на 100—150 голов скота.

Из одного этого видно, как велико значение кооператива в области бытового обслуживания совхоза. Борисовцы целиком зависят от его работы. Уровень же этой работы — поистине плачевный.

— Мы свои прострелы сами знаем, — говорит председатель правления, — достижений у нас мало.

И он начинает перечислять: недостаточно развернута мобилизация средств; слабо привлечена общественность; обеды, ужины и завтраки малопитательны, однообразны; работники, особенно повара, не имеют достаточной квалификации; оборотных средств постоянно нехватает...

— Или вот снабжение, — продолжает он. — Снабжают нас и без того плохо, а тут еще Окрторготдел вмешивается, то один наряд аннулирует, то другой. Мы к ним, а они говорят: «Вы, товарищи, в деревне живете, вам легче». А свои заготовки проводить не разрешают, грозят судом. Вот и поговори с ними!.. Еще

что?.. Скажу прямо — ассортимент у нас никуда. Заработки здесь хорошие, а денег девать некуда. Помню, было у нас варенье, два рубля баночка — присдет рулевой с колонны: «Давай сюда!» — да и выпьет его из горлышка, пока с усадьбы едет... Потом зауниверсалились мы. Совхоз все на нас наваливает — и огород и ферму. Сейчас, например, хочет еще и прачечную спихнуть. Целый комбинат получается! А для этого мы не приспособлены. Ну, какой я огородник? Я пять лет инструктором губсоюза работал; торговать — это мы умеем...

Он говорил еще долго, — и опять по-своему был прав и он. За его словами вставали бесконечные трудности, преодолевая которые приходится пускаться на головокружительные фокусы, — видно было, что и здесь идет ожесточенная борьба за каждый паевой рубль, за каждую бочку масла, за каждую повариху... Но все же, слушая его, я невольно вспоминал ленинградца и своеобразную точность формулировки: «а мине от этого не легче».

И действительно: грош цена даже самым героическим усилиям, если результаты их никуда не годятся. Что борисовцам до суб'ективной правоты кооператоров, если вполне устранимые недостатки остаются не устраненными?..

Впрочем, делать выводы еще преждевременно.

14 мая.

За последние дни побывал почти на всех участках. Сев повсюду в полном разгаре.

Размах работ, прекрасно слаженные ударные бригады, поля, чернеющие до самого горизонта, тракторные колонны, засевающие по тридцати гектаров в час, и наглядные, бесспорные преимущества этого механизированного труда заразили меня особой «совхозной психологией», которая, как кажется мне, присуща каждому борисовцу.

Ее впору назвать **гигантоманией**: приглядевшись к работе участков, втянувшись в ее темпы, невольно начинаешь вести счет на тысячи. Даже колхоз в добрую сотню семей кажется кустарной мастерской. И уж вовсе невозможно поверить, что существуют еще единоличные дворы, кое-как вспахивающие два-три гектара и тратящие на это всю весну. То есть невозможно поверить в осмысленность подобного хозяйства, ибо самих единоличных дворов сколько угодно тут же, рядом с совхозом... Они еще существуют, но в то же время их как бы и нет. Они обречены. Соприкоснувшись с Борисовским, это не только понимаешь, но и чувствуешь всем телом, до ломоты в костях.

По этому поводу у меня записан довольно любопытный рассказ Косько, касающийся истории Борисовского:

— В первый период, когда мы приступили к организации, здешнее население над нами издевалось — знаем, дескать, эти совхозы, видали, все равно провалитесь! Потом прибыли первые машины, и по деревням распространились слухи: «Американцы приехали, на американские деньги работают, всю нашу землю заберут». Одним словом — агитация, дело известное. А как выехали мы в степь, да запустили плуги по целине — толпами повалили смотреть. И ко мне приходили целыми делегациями: «Берите нашу землю, скотину, а мы к вам пойдем в работники». Я говорю: «Организуйте колхоз, мы вам будем помогать, то же на то же и выйдет». А они: «Колхоз дело маленькое, подавай нам машины хотим, чтобы все было по-новому, чтобы на одних тракторах работать». Смеются, конечно, не серьезно это. Но если сравнить с началом, разница колоссальная. Сейчас казаки — и те в артели идут, а ведь они еще год назад не знали оседлого хозяйства...

Все это так. И все же великолепная с виду работа участков попрежнему не ладится. Суточные планы выполняются самое большое на 60—70 процентов.

Это самый настоящий прорыв, и самое худшее в нем — неясность конкретных причин его, а стало быть, и способов борьбы. Организационные недостатки еще не найдены, и борисовцы стараются возместить их количеством своего труда. Люди — и рулевые, и бригадиры, и техперсонал — отдают севу все свои силы и до того измотались, что буквально валятся с ног. Заведующие участкам, как правило, спят три-четыре часа в сутки.

Само по себе такое упорство — качество отличное. Но далеко не всегда оно на пользу делу. Я убедился в этом сегодня, во время своей поездки с заместителем директора Быстрых на Южный Джалтырь.

Колонна Южного уже перебралась на новое место. Клетки здесь сухие—утром в виде опыта пробовали пустить трактор не с одной сеялкой, а с двумя, и затея эта вполне удалась. Что бы, кажется, могло помешать перевести на две сеялки всю колонну? Однако это не сделано до сих пор. Когда же Быстрых насел на заведующего участком Шурыгина, тот стал

приводить всяческие резоны, до смешного пустяшные, — и видно было, что он нарочно придумывает их, лишь бы хоть немного отсрочить возню и хлопоты, с которыми неизбежно связана подобная перестановка.

Переутомленное тело оказалось сильнее разума. Шурыгин едва ворочал языком, с трудом смотрел опухшими, красными от недосыпу глазами... А проспи он как следует хоть одну ночь, и на него не пришлось бы наседать, он сам сделал бы все, что нужно.

7. Встречный бытовой

15 мая.

Сегодня, наконец, закончил свои «обследования». Весь добытый материал сжал в несколько тезисов.

Вооружившись этими тезисами, я отправился в директорский кабинет — вечером, когда утихла обычная дневная толчея.

Разговор получился жаркий.

Я говорил на память, не заглядывая в листки, и потому кое-что пропустил. Кроме Косько, слушателями моими были Быстрых и предрабочкома Кралько, случайно зашедший в кабинет и засидевшийся до самого конца.

Сначала никто мне не возражал.

— По-моему, все дело в людях, — сказал Кралько, мрачно поглядывая своими блестящими глазами. — Какие могут быть порядки в общежитиях, если за ними нет настоящего контроля? Приходят на усадьбу никому неизвестные личности, без всякого спросу направляются по комнатам — где найдут свободное место, там и устраиваются, а администрация зевает. Получается проходной двор и больше ничего. Вот такой факт: уборщица пустила в общежитие девчонку одну — та за это вместо нее все комнаты убирает, полы моет, а она сама с ребятами кобелирует. Допустимо?.. А с кооперацией что получается? В столовой кассиршу новую поставили, она еще неопытная, проканителилась с талонами, создала очередь, а повар заявляет: «Мой рабочий день кончен». Так человек сто без ужина и остались! То же кусочники... И откуда, спрашивается, столько их завелось? Хлеб воруют со столов, чуть ли не в рот тебе залезают, а кто они — неизвестно. Форменный проходной двор!.. Или на Москаленках... Какой тут к шуту рабочий актив, если повар сам затевает бузу? Факт. Отпускает обед, а сам кричит: «Тпру!» или ржет по-жеребячьи—смотрите, дескать, овес едим. Один раз совсем не стал каши варить. Мы, говорит, не лошади, давайте пшена требовать. Хорошо ребята нашлись сознательные...

Потом заговорил Быстрых:

— Нет, тут другое... Люди с луны к нам не свалятся, уж какие есть, с такими и будем работать. Дело тут, брат, в другом — в безалаберности, в безответственности, вот в чем. Вот ты мне скажи, кто у тебя персонально за культработу отвечает? Ага!.. А кто должен был этот самый конфликт с ужином уладить?

— Так я же и говорю, что все от людей зависит.

— Опять от людей!.. Когда человек свои обязанности знает, что вот здесь они начинаются, а вон там кончаются — тогда будь он хоть лодырь, хоть рвач, а дело свое исполнит... Да, да, исполнит! А нет — будем знать — кто виноват, кого греть, кого с работы снимать...

— Вот ты бы это по своей линии и завел!

— И по моей линии... Разве я говорю? Но у нас хоть то оправдание, что дело у нас все силы забирает. Каждый день по участкам носишься, а вернешься — бумаг одних соберется чортова пропасть... А вот твое дело как раз всяких бытовых вопросов и касается.

Косько, молчавший до сих пор, старательно сворачивавший махорочную папироску, прервал этот спор:

— Так мы, товарищи, ни к чему не придем... Вопрос серьезный, а вы спорите, кто больше виноват.

Он зажег свою крученку и повернулся ко мне — резким, угловатым движением подростка:

— Я вот о чем думал... Нового, собственно, вы ничего не сообщили, все эти неполадки мы сами знаем, каждый день видим — а внимание на них, действительно, не мобилизовано. Или предложения ваши... Чего уж проще? А в жизнь мы их не провели. Это я записываю нам всем в минус! Но сейчас меня другое интересует: в чем же здесь дело?.. Так вот, я думаю, что вся суть в привычке — ведь к окопам и то привыкаешь, понимаете? С одной стороны, видишь — тут плохо, там нехорошо, а в то же время, будто бы так и нужно. Из-за этого многое просто в голову не приходит... Да и некогда. Ну, как тут о культработе думать, когда ни один из участков плана не выполняет? Тут совсем другая психология вырабатывается...

— Деляческий подход у тебя, — буркнул Кралько.

Директор искоса посмотрел на него, зажег потухшую папиросу и, сплевывая набившиеся

в рот табачинки, заговорил с большей еще живостью:

— Нельзя же забывать условия, в которых мы работаем! Когда сидишь, как сейчас, например, и разговариваешь, все кажется просто — и планы строительства пересмотреть, и активность пробудить, и что еще у вас там... А вот как за это взяться? Мы из кожи лезем, чтобы активность на сев повернуть...

Он сам, быть может, того не замечая, стал оспаривать все мои тезисы, один за другим, — и его тотчас поддержали:

— Очередность в столовой у нас давно установлена, а кто ее соблюдает?

— Достижения тоже нельзя забывать!.. Ясли, например, — другие совхозы от них отказываются, а мы свои четыре тысячи рублей в это дело вложили.

— Насчет единого органа совсем зря, очень уже как-то по-бюрократически выходит...

— Киноустановка весь наш бюджет с'ест!

— Важней всего сейчас сев. Если разбивать внимание, так, пожалуй...

Возражений и резонов было столько, что, помнится, я и сам усомнился — мне даже совестно стало, как если бы я действительно отвлекал внимание от сева. Вспомнился рассказ о том, как в одном из сибирских совхозов директор, стараясь улучшить жилищные условия рабочих, поселился сам и поселил других ответственных работников в деревне, за несколько километров от усадьбы — и как Калманович распекал его за это... потом вспомнилась излюбленная шутка товарища моего о том, что обязательно находится, на самом даже ответственном заседании, где обсуждаются основные вопросы политики, такой назойливый человечишко, — попросит слова и заведет, назидательно потрясая пальцем: «Выступавшие здесь товарищи ничего не упоминали о работе Автодора. А на этот вопрос нужно обратить сугуб-бое внимание!..» Все это меня удручало. Однако спорил я усердно, и дело дошло даже до резкостей. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы Косько не угомонил нас шуткой:

— Вот вы об организации быта и отдыха говорите, а я с утра ничего не ел. Как это, по-вашему?

Вышли мы из конторы вместе. Прощаясь со мною, Косько сказал:

— А выводы у вас есть интересные, мы постараемся их использовать...

Слово «постараемся» звучит совсем погребально. Но для начала неплохо и это. Поглядим... Сегодняшний спор, видать, не последний.

8. Европеец

16 мая.

С утра ездил на Славянский участок — с заместителем Косько по производственной части Пештой.

Я уже давно присматриваюсь к этому человеку. В Борисовском его ценят, — по гиперболическому выражению Косько: «на нем все держится». По образованию — он агроном, по происхождению — чех, родом из-под Пильзена. Во время империалистической войны попал в плен и с тех пор безвыездно живет в Сибири, начиная с 21 года работает в Омском округе, главным образом в совхозах. Между прочим заведывал он и «Элитой», еще недавно самым крупным хозяйством в Союзе, площадью в 19 тысяч га.

За пятнадцать лет он совсем обрусел. Европейца в нем можно угадать только в те редкие часы, когда он, свеже выбритый, в чистом белье, молчаливо сидит у себя в кабинете — прямой,несколько торжественный, точно в поклоне опустив над бумагой стриженную голову с глубокими залысинами со лба... А когда он, как сегодня, раз'езжает по участкам, весь обросший густой черной бородищей, одетый в теплое, позеленевшее под солнцем пальто, с надвинутой на брови шапкой из рыжеющего каракуля — его не отличить от местного старожила, и разве только постоянная спокойность, методичность, молчаливость напомнит того аккуратного человека, что еще недавно сидел за письменным столом.

Спокойствие — его главная отличительная черта.

Я научился угадывать характеры борисовцев по тому, как они управляют автомобилем. Быстрых, оправдывая и фамилию свою и темперамент, развивает скорость, запрещенную в совхозе вообще,—с дребезгом и грохотом несется даже по межам и замедляет ход своей раз'ездной полутонки только на самых крутых поворотах. Косько ездит иначе — внимательно и несколько угловато; ему случается заезжать в канавы, завязать в грязи... Пешта же с такой уверенностью держит волосатые руки на ободе рулевого колеса, так осторожно тормозит перед каждой кочкой или выбоиной и так точно выдерживает на лучших дорогах тридцати-

километровый ход, что невольно думаешь тургеневскими словами: «Сквозь сережку проедет, разбойник!..» Спокойствие его почти переходит в угрюмость, и он мог бы показаться неприветливым, если бы не улыбки, часто меняющие его облик.

Улыбок у него две — так думал я до сегодня. Одна короткая и сухая: тонкие, крепко замкнутые губы криво, углом ползут вверх. И другая — когда улыбаются глаза, приходит в движение все лицо и сверкают необычайно массивные, белые зубы.

За разговором я спросил — что именно удерживает его в СССР и почему он не вернулся на родину?

Он ответил:

— Разве на родине лучше? Имущества у меня никакого нет, а работать можно везде. Здесь работать интересней.

И тут он улыбнулся третьей улыбкой, такой мимолетной и неожиданной, что ни забыть, ни описать ее невозможно:

— Недавно получил письмо от сестры и фотографию. Помню, уезжал на фронт, сыну сестры было несколько месяцев, а сейчас настоящий верзила...

Вернулись мы на усадьбу к обеду. День ветреный, теплый. На вечер назначено экстренное производственное совещание — с'едется народ со всех участков.

9. Северный Джалтырь

17 мая.

Вчера вечером неожиданно столкнулся с Вагиным и Николаем Николаевичем. Они приехали с участка с попутным автомобилем, уже успели побриться, помыться в бане и благодушествовали на веранде конторы.

Друг другу мы обрадовались. Как водится, начались взаимные расспросы, шутки,—и Николай Николаевич первым делом рассказал, что сегодня утром Мария-Тереза хлебнула по ошибке мочи, приготовленной для анализа... Их группу прикрепили к Северному Джалтырю, и мы тут же условились, что отправимся туда вместе; я, кстати, еще ни разу не был на этом участке.

Производственное совещание, затянувшееся до часу, задержало машину Северного,— когда мы под'езжали к табору, первая смена уже собиралась на работу. Мы разбудили Никанорыча, Марию-Терезу и проговорили до рассвета.

Сейчас около полудня.

Пишу в вагоне. Он одновременно служит жильем для группы, лабораторией и приемной, в которой осматривают взятых под наблюдение трактористов. Широкая, положенная на два ящика доска, еще недавно служившая для расклейки на ней приказов и об'явлений, заменяет стол. За ним работает над анализами Мария-Тереза. Она нисколько не загорела, попрежнему поражает мертвенной бледностью своего лица. Рядом, на краюшке, пристроился Вагин — записывает сведения о проходящих осмотр.

Их собирается человека по три, по четыре зараз. Они тут же раздеваются, сбрасывая с себя ватники, до-тла заношенное белье, и нагишом, как рекруты на призыве, дожидаются своей очереди. У большинства ноги, плечи, грудь совершенно черны, расчесаны до крови: грязь наросла коростой. Они проводят по десять часов на тракторе, в густой пыли, и уже больше месяца не были в бане.

Вагин взвешивает их, измеряет рост, с фамильярной грубоватостью военного фельдшера бросает отрывистые вопросы:

— Имя?.. Женат?.. Водку пьешь?..

И они коротко и точно отвечают:

— Не пью.

— Мало.

— Один раз пробовал, не могу.

Я просмотрел все заполненные Вагиным тетрадки—из двенадцати человек, уже осмотренных и опрошенных, нет ни одного пьющего. Курящих тоже не больше половины.

— Характер у тебя какой? — спрашивает Вагин широкоплечего, грязного парня, смущенно поглядывающего на Марию-Терезу.

Тот отвечает:

— Характер сердитый.

У него порядочная белокурая борода, но лет ему всего двадцать пять. Так же молоды и товарищи его. В графе «год рождения» неизменно проставлено — 1904, 1906, 1909... Ответив на все вопросы, они попадают к Николаю Николаевичу. Николай Николаевич обстоятельно, солидно, с нескрываемым удовольствием мнет их, выстукивает, выслушивает, разрисовывает грудь синим карандашом — и приговаривает:

— Тифом не хворали? Не хворали... Кашляните.

Вся работа медицинской группы пока что ограничивается этим предварительным осмотром. Закончив его, перейдут к систематическому наблюдению и к проработке отдельных исследовательских вариантов, — а столь же

подробный осмотр осенью покажет, какие изменения произошли в организме трактористов за лето.

Группа Никанорыча должна тем временем собрать материал о производительности труда заправщиков, рулевых и ходоков, в зависимости от производственных условий — от длины загонов, от рельефа и т. д.

Эта работа целиком построена на хронометражных записях. Записи ведут две хронометражистки. Они живут тут же в вагончике — угреватая девица, прежде, чем отправиться в поле, повязывающая лицо красной вуалеткой, и пожилая толстуха, похожая на деревенскую лавочницу, очень суетливая и словоохотливая. Сегодня утром она уже успела мне рассказать, как неделю назад, во время перекочевки табора на новое становище, со стены вагона свалился огнетушитель, взорвался и стал извергать неимоверное количество пены. Кто-то, по традициям российской паники, заорал: «Пожар!», кто-то на ходу выпрыгнул в окно...

— Страсть едучая она, пена-то, мне все лицо завалила, шубу испортила, до сих пор пятна на ней. Хорошо еще рабочий один эту штуку в окошко выбросил. А что, если бы вся опорожнилась?

Кроме медиков и группы Никанорыча, в вагончике — в изолированном купе с отдельным ходом из сеней — живет заведующий участком Барсук и член Омского окружкома союза сельхозрабочих Гельферт. Он прикреплен к Северному для работы среди трактористов, — участок, при общем отставании Борисовского от посевных планов, идет на последнем месте, выполняя в день не больше 50 проц. программы.

Барсука я вчера увидел впервые, и мне так крепко запомнилась угрюмость, худоба его черного от пыли лица и воспаленный блеск глаз, тяжело глядящих сквозь стекла очков, что я узнаю его из тысячи людей. Вчера на производственном совещании о нем много говорили, резко обвиняя его в неумении организовать и поставить дело, но у него хватило мужества ни словом не ответить на обвинения. Он приехал с центральной усадьбы ночью вместе с нами, а на рассвете отправился со сменой в поле и с тех пор не возвращался.

Зато часто наведывается к нам Гельферт, веселый черноглазый еврей. Аккуратные черные усики, как приклеенные, топорщатся над его тщательно очерченным ртом, аккуратная круглая лысинка светится на темени, — и, в полном несоответствии с этой аккуратностью, он ходит босиком, в голубой ситцевой рубашке распояской.

Утром, увидев его, Вагин сказал:

— Ты бы уж и штаны снял, чего там...

А через час сам не выдержал жары, снял сначала пиджак, потом сорочку и, кажется, рад бы снять последнее — открытую гребную фуфайку без рукавов... Так же постепенно раздевались и остальные. Николай Николаевич остался в сетке; утирая пот с круглого лица, говорит с неудающимся раздражением:

— Вот жарища адова, чорт...

В вагончике и впрямь нечем дышать. Это первый жаркий день за всю весну. Степь сразу ожила. Множество желтых цветов на коротких мохнатых ножках высыпало на каждом невспаханном клочке. Деревья распускаются на глазах, и за несколько часов колки, обильно испещряющие степь, подернулись явственной, с непривычки еще ненатуральной зеленью.

Стан нашей колонны разбит на чистом месте. Как и на всех остальных участках, здесь нет никаких построек — все имущество колонны передвижное, приспособленное к частым кочевкам: шесть одинаковых, выстроенных в ряд вагонов, кухня, палатка-мастерская, перед которой сцеплены в короткий поезд только что отремонтированные сеялки, — и это все, чем располагают для оседлой жизни 15 тысяч гектаров Северного.

Издали доносится жужжание тракторов, — во всем совхозе не найдешь такого места, куда бы не доносился этот напряженный, не умолкающий ни днем ни ночью рокот моторов.

Тракторы жужжат невидимо; колки заслоняют клетки, на которых они работают сегодня. Виден только небольшой участок, отведенный под огород, весь усыпанный разноцветными пятнами, фигурками поденщиц, сажающих картошку, — да и то некому смотреть на них...

Но вот приближается время обеда. Через час вторая смена должна выезжать на работу.

Колонна медленно просыпается. Из вагонов и из-под вагонов, где в тени, на голой земле не так жарко спать, вылезают осоловелые трактористы. Кудрявый парень с коротким лицом, на котором как бы вовсе отсутствует подбородок, долго моется, обливает голову. Весь распухший от сна, в розовой расстегнутой до пупа рубашке, с полотенцем через плечо, он первым усаживается за стол и начинает есть..

(Окончание следует)

Балахна

Бригада ВССП

I

Балахна—конечный пункт Сормовской железнодорожной ветки, или, — как ее именуют вензелевые обозначения на вагонах, — «Сормовского под'ездного пути». Мало приглядное станционное строение, грязный перрон, не слишком обильное скопление порожняка на запасных путях и скудный уездный пейзаж вместо фона. Из зелени назойливо торчит неизбежная белая колокольня, застилающий горизонт хребтик облепили серые одноэтажные домики, дорога к ним доплетается среди унылых картофельных полей. Что здесь определяет местонахождение большого строительства?! Что здесь от горячки обгоняющих самих себя трудовых будней?! Почему наконец название этого захудалого провинциального городка стало синонимом строящегося, уже выстроенного, уже работающего гиганта бумажной промышленности? Непонятно. Однако все это раз'ясняется довольно скоро.

Та Балахна, которая стала еще одним синонимом победы строящей социализм страны, Балахна, производительной мощностью занявшая первое в союзной, второе в европейской и четвертое в мировой бумажной промышленности, эта Балахна находится совсем не в Балахне.

К товарному составу прицепили два пассажирских вагона. Составитель в замасленном рабочем платье, он же кондуктор, он же начальник поезда, — по крайней мере в вагоне его просили: «Товарищ начальник, на по[illegible]ме ход задержите маленечко».

— Ладно. Задержим, — начальник поезда, как в трамвае, обошел вагоны.

— Граждане, возьмите билеты!

И билеты совсем, как трамвайные. Напечатано на них: «Ж.-д. ветка ЦБТ. Билет на проезд Балахна — Курза». ЦБТ — это Центробумтрест, ныне уже не существующий, зачинатель и бывший хозяин Волжского бумажного строительства. Курза — это название приволжской деревни, пять-шесть лет назад только и бывшей, что деревней, а теперь... Впрочем, о том, что представляет собою Курза теперь, об этом потом, сейчас о поезде.

Так уже заведено, что каждый производственный, даже совсем современный очерк должен начинаться с поезда, с парохода, с почтовой тележки, с тарантаса. Сюжетные построения, освященные полуторавековой традицией, неистребимы. В том, что ждет путешественника, ориентировали обычно, как правило, извозчик, сосед по вагону, случайный попутчик. В сроки сегодняшних поездок, в размеры газетных очерков-отчетов не укладываются эпические повествования спутников. Бездельников-старожилов, которым ничего и не уделено, кроме как рассказывать, не только не встретишь, но их нельзя и выдумать. Знакомство с об'ектом описания осуществляется теперь иным путем. Организуют внимание, подготовляют к восприятию вещи, факты.

В поезде — «Сормовского под'ездного пути» — в составе из дряхлых, давно выслуживших свой срок вагонов на-

бито, как во времена гражданской войны. Поезд призван обслуживать рабочих Красного Сормова. Ежедневно не одна сотня их едет на завод и с завода в поселки и деревушки, разбросанные в десяти, пятнадцати, тридцати верстах, а ходит этот поезд так часто, что, опоздав к одному, нужно по крайней мере четыре часа ждать следующего, и ходит с такой быстротой, что пассажиры без всякого риска могут соскакивать на ходу. И это в дни жестокой борьбы с потерями! В дни наступательных боев за ударные большевистские темпы! Сколько тысяч часов заслуженного трудового отдыха бесцельно пожирает каждый день черепашьим ходом своим поезд? Во сколько раз понижает он ежедневно трудовую зарядку вступающей на работу смены?!

В вагоне вступающая смена — от Канавина — досыпала недоспанные минуты, сменяющаяся — от Сормова — с боя разбирала верхние полки, располагаясь спать. Пыльный вагон снова забивался духотой и людьми. На нижней полке примостившиеся люди вытащили засаленные карты. Кто-то, свисая с верхней полки, развернул газету. Внизу, читая ее с изнанки, воскликнули: «Смотрите-ка, ребятки». Над фото, изображающем спящего человека, жирная надпись: «Сормовичи, вот ваш позор!» Подпись под рисунком раз'ясняла: «Те, которые срывают промфинплан. Машинист нефтекачки, спящий на дежурстве».

Позор или не позор? Преступление или «так и должно быть»? Странным, до неловкости, может, неуяснимым покажется в пересказе, что по такому поводу завязался спор. Но право на сон ожидающего подхода следующего паровоза машиниста аргументировалось поездом, в котором пребывали спорщики, который терпеливо ждал подходящих ли пассажиров или чего другого. Аргумент не очень веский, но «крыть его», как говорится, нечем.

К Балахне поезд подошел уже значительно опустевшим, в закатную золотившуюся пыль ушли последние пассажиры — сормовичи, в Курзу на бумажную фабрику едут немногие. Здесь расстояние всего шесть километров, но и эти шесть километров поезд ЦБТ одолевает чуть ли не целый час. Курза, поселок Бумстроя и Балахнинского бумкомбината, начинается возле самого полотна, или вернее, железная дорога проходит по самому поселку. Поселок, как и полагается быть поселку при крупном промышленном строительстве, с широкими по линейке вытянувшимися улицами, с неокрепшей еще порослью молодых древесных насаждений, с аккуратными стандартного типа домиками, со стадионом и трибунами в духе стандартизовавшегося тоже провинциального конструктивизма. Поселок носит название Балахнинского бумажного строительства. Балахнинское бумажное строительство по своей конструкции и по своей мощности уступает лишь двум бумажным предприятиям в Европе и одному в Америке. К концу пятилетки оно должно стать первым в Европе. Воля перестраивающейся страны вооружила это строительство последними достижениями техники. Стаккеры, выше балахнинских колоколен поднявшие огромные свои рукава, из которых, как в сказке, днем и ночью сыплются дрова, дефибреры, на глазах жующие древесное масло, слешера, зубьями вылавливающие из Волги бревна, цепи американских конвейеров, разносящие их по всей фабрике, огромные турмы — они от воли революции, от реконструкции нашего быта, от наступающего этими стаккерами, шлессерами, конвейерами, турмами социализма, а поселок рабочих водителей этих машин: стаккеров, дефибреров, шлессеров—весь, целиком, от той самой истории русского уездного города, который революцией упразднен.

Правда, дома в новом рабочем поселке (а сегодня поселок этот — город) поставлены в ряд, а не по принципу — кому как удобнее, — и улицы возникли в нем раньше домов, а не дома прежде улиц, как в Балахне, но принцип индивидуального мещанского строительства — с коньками, которые профаны еще и теперь готовы посчитать за исконный русский стиль, с крылечками, с кладкой стен в лапу и в обло, с палисадами, с замызганными подсолнечной шелухой лавочками возле домов,

мещанский этот принцип строительства, по какому испокон веков строились уездные русские города, остался неизменным. И словно вступая в дерзкий спор с конвейерами, в одно целое вяжущими усилия отдельных бригад, отделов, цехов, собственнически разгорожены деревянными изгородями палисадники двухквартирных блокированных домов. Дань новому отдана лишь этажами: дома встречаются и двухэтажные,— но если присмотреться ближе к крылечкам их — тем, что в истории русской избы выродились в дачную террасу, к коникам, к чердачному окну, которое в той же истории переродилось в верхний, второй этаж, — чем же отличаются они от двухэтажных же, купецких домов в соседней Балахне, тех самых домов, что степенно рассаживались вокруг незамысловатого уездного торжища: по первому этажу — лавка с красным товаром, по второму — занавески, фикусы, киоты во всю стену, одуряющие перины, жены в четыре обхвата. В палисадах Бумажного комбината не растет ничего, ибо не хватило мещанской смелости насадить в них сирень, так же, как не хватило чьей-то сообразительности развести в них огороды с картошкой и капустой, которая очень бы пригодилась кооперативу. Выстроив фабрику, которой по праву может гордиться класс, своей борьбой утверждающий на земле социализм, не сумели выстроить при ней ее достойного, социалистического города, имея все к тому предпосылки. В развернувшееся под ее боком грандиознейшее строительство тесовая, в покосившихся дворах Курза ухитрилась пролепетать свое слово.

Четыре года назад здесь, возле Курзы, было голое поле. Первая строительная контора помещалась в кривобокой избушке. Тут за черным, промаслившимся, как деревенский пирог, столом, на прижатых к бревенчатым стенам скамейках совещались строители будущего мирового комбината. Тогда, весною, заместитель главного инженера А. В. Кайяц убеждал вышедшего на посев мужичка:

— Зря сеешь, отец! Не нынче, завтра начнем здесь строить фабрику, кругом во все стороны поползет поселок, склады, лесная биржа...

Мужичок стоял, слушал, не вынимая из кошолки зажатой с семенами горсти, и когда городской, надоедливый человек смолк, сказал равнодушно: «Много вас здесь ходит, да вот толку что-то не видать...» И пошел по черным колеям, не оглядываясь, продолжать тысячелетнее свое дело.

II

Кажется, самою природою определено рождаться бумаге в Балахне!

Удобный для выкатки и причала древесины берег; отличные затоны для леса у островов; прекрасная площадь для рабочего поселка в здоровой местности, на песчаной почве, среди соснового леса; обилие пригодной для производства воды из Волги; близость Москвы— главного потребителя — все голосует за Балахну.

Самый же главный и неоспоримый довод за постройку фабрики у Курзы, под Балахной — ее расположение в 157 км ниже устья Унжи, впадающей в Волгу у Юрьевца. По Унже и ее притокам находятся главные массы елового леса. Эти леса, с площадью в полтора миллиона гектаров, обеспечивают сырьем фабрику навсегда или во всяком случае до тех пор, пока бумага будет делаться из дерева.

Близость Н.-Новгорода, наличие железнодорожной связи с ним через Сормово и строящаяся в Балахне мощная электростанция решили вопрос окончательно еще четыре года тому назад. Тогда здесь, возле тесовой, черной от половодий и волжских туманов деревеньки, было ровное, голое поле...

Теперь на этих полях, под боком у той же темной, тесовой Курзы, похожей на архитектурный пейзаж Ноаковского, высятся, как минареты, не виданные нигде еще турмы, лежат горы деревянного сырья, скрипят американские слешера, выкатывающие древесину на окаменный берег, дышит облаками отработанного пара бумажный зал, сеет рыжую пыль кислотный завод, гудят подсобные цехи, и за воротами греется на солнце поселок: прямые улицы, по-

чаные дорожки, домики в палисадниках, и прямо — Волга, а позади шумливый бор.

Вот зеркало избяной Руси, перестраивающейся в индустриальный СССР!

Балахнинская фабрика имени Дзержинского начала работать 26 августа 1928 года. Тогда была пущена ее первая гигантская машина немецкой фирмы Фойта. Летом нынешнего года вступила в работу вторая, американская, машина Баглей-Сьюл. Эти машины, самые быстроходные и самые мощные в мире, дают бесконечную шестиметровую ленту бумаги. Шесть метров — ширина шоссейной дороги. Это бумажное шоссе выходит из машины со скоростью 225—285 метров в минуту. Скорость американской машины может быть доведена до 360 метров; сейчас она работает уже 225. На немецкой машине достигнута скорость в 265 — 285 метров в минуту, на много превышающая скорость таких же машин в Европе.

Третья машина, также американская, уже лежит на складах фабрики. Она привезена на 140 платформах. Зал для нее готов. Конечный путь Балахны — 110 000 тонн бумаги в год. Она будет по мощности своей первой в Европе.

Сейчас две машины дают в среднем по 175 тонн в сутки. Одна только вторая машина, с ее, далекой от предельной, скоростью, давая по 80 тонн в сутки бумаги, полностью обеспечивает тираж таких газет, как «Правда» и «За индустриализацию». И если согласиться со старым немцем Динглером в том, что «количеством потребляемой бумаги определяется культурный уровень народа», надо Балахнинской фабрике, конечно, присвоить название фабрики культуры.

Эта фабрика культуры работает в три смены, беспрерывно круглый год. Майскими и октябрьскими праздниками она пользуется для чистки и ремонта. Каждый час простоя стоит нам золотых рублей: мы еще ввозим бумагу из-за границы для наших ни с чем несравнимых потребностей в ней.

День и ночь с ранней весны до поздней осени в водяные дворы фабрики загоняется из затонов сплавщиками при-[illegible] с Унжи лес.

Из воды, скользкие, как рыбы, брусья выволакиваются механическим оборудованием; круглые визжащие пилы тут же режут их на четырехфутовые бруски. Этим брускам принесено вместе с оборудованием из Америки свое собственное имя б а л а н с. Он идет сейчас же в огромные стальные вечно вращающиеся барабаны, наполовину погруженные в воду. Здесь несколько минут бруски бьются об острые ребра барабана и очищаются от коры. Голые и скользкие они выпадают из этого водяного ада на пластинчатый конвейер и с него перегружаются далее. Стальные канаты с крепкими кулачками через каждые 130 сантиметров—длина баланса — меж которыми укладываются бруски, несут баланс через всю территорию фабрики к стаккеру по узким смачиваемым водою для скользкости жолобам.

Стаккер — гигантская железная рука, поднятая над землею. Стальной конвейер взбирается по ней, подавая баланс к пальцам. Из горсти стаккера он сыплется, как спички на пол, образуя целые горы деревянного сырья. Этих гор однако едва-едва хватает на зиму.

И затем уже круглый год — и день и ночь — такие же стальные конвейеры разносят по фабрике выветрившийся и потерявший излишнюю смолистость баланс.

Они несут его в древомассный завод, к дефибрерам, дающим древесную массу. И они же несут его через рубильные машины в силосные чаны целлюлозного завода. Из смеси древесной массы и целлюлозы получается та самая бумажная масса, из которой делается бумага.

И древесная масса и целлюлоза представляют собой древесину, превращенную в тонкие, как у ваты, мелкие волокна. Разница между той и другой заключается в способе приготовления и в качестве волокон. Древесная масса приготовляется механическим путем; целлюлоза — химическим. Первый способ дешевле, второй дороже и длительнее. Волокна целлюлозы зато длиннее, чище и лучше свойлачиваются. Смесь из 65% древесной массы и 35% целлюлозы является наиболее выгодным материалом для газетной бумаги. Она обладает способностью свойлачиваться и [illegible]

ет бумажное полотно более дешевое, чем из других смесей.

Конвейеры, неуклюже посапывая, делают свое дело без отдыха, день и ночь, день и ночь. Машины фабрики прожорливы, а каждый час простоя — этого здесь не забывают никогда — стоит валютных рублей.

Мы идем возле конвейера, следом за ползущим балансом, узкими тропинками возле стен, поднимаемся по лесенкам и попадаем в древомассный завод. Он похож на опростанный от воды продолговатый бассейн огромных размеров, вышиною в два больших этажа обыкновенного дома. Здесь помещаются черные, лоснящиеся дефибреры. Они приготовляют древесную массу.

— Почему дефибреры? — интересуется кто-то из нас. — Откуда это название?

— Это французское название...—отвечает заведующий заводом.—В Германии они называются по-своему, в Америке по-своему... Русского названия для них нет.

— Что они делают, эти машины?

— Перетирают дерево в волокно...

— «Древотеры» вот наше русское название! — определяем мы.

Этих древотеров здесь восемь. Они сидят на крутых задах своих, как пары поднятых на дыбы бегемотов. Наверху, на балконе, словно с барьера бассейна, в разинутые пасти их загрузчики-рабочие укладывают подаваемый конвейером баланс. Внизу, из вспоротых их брюшин, пышнее свежего крема ползет пережеванная в жидкую кашицу древесина. Она разбавляется водою и уходит под пол, оттуда в решета, затем после отсева — на отжимальные машины и с них опять в преисподнюю, в огромный чан-смеситель.

В чугунных желудках этих чудовищ, скованных попарно величавыми электромоторами, вращаются круглые, как катушки с нитками, тысячепудовые камни. Они делают до 360 оборотов в минуту. Поверхность их насекается, как напильник. Они шлифуют наседающий на них сверху, поддаваемый цепями баланс, и из-под раскаленных катушек выходит горячий волокнистый крем.

Черные звери эти изрыгают в день по 16 тонн древесной массы каждый. Но бумажные машины, обгоняющие в быстроте хода своих сестер в Европе, требуют не менее 17!

— Семнадцать тонн — это наш промфинплан... — говорят нам. — Во что бы то ни стало — семнадцать тонн...

И бегемоты снятся всем ночью, мерещатся наяву: каждый думает, ходит и думает, как бы выжать из этих черных чудищ семнадцатую, победоносную тонну...

Мы возвращаемся обратно на площадку, где сортируется прибывающий по конвейеру из сырьевых запасов баланс. Отсюда часть его направляется в древомассный завод, а часть — в рубильные машины.

Теперь мы идем по второму пути.

Рубильные машины, приготовляющие из баланса щепу для целлюлозного завода, пожирают дерево еще быстрее, чем дефибреры.

Когда по скользкому, выложенному железом жолобку, как по канавке, катится вниз к воронке, где сверкают, точно зубы хищника, стальные ножи, четырехфутовый брус, с ведро толщиною, кто-то из нас взглядывает на часы. Машина втягивает брус в железную пасть, ножи начинают точить его, со стоном и лязгом он бьется о стенки канавки, как пойманная рыба, и исчезает в тот же миг...

Мы вопросительно смотрим на нашего товарища. Он отвечает:

— Четыре секунды!

В четыре секунды брусок в 128 см длиною и толщиною не менее 25 — превращается в мелкую, как четырехугольные копейки, щепу. Ее тут же просеивают решета, и отсеянную несут конвейеры в целлюлозный завод.

Мы идем следом за нею. В узком коридоре, на сетчатой дорожке конвейера щепа идет сплошным, пахнущим смолою потоком. В полумраке чудится, что она идет по бегущему ручью.

У входа в целлюлозный завод наши пути расходятся. Она подымается в закрытых элеваторах на высоту шестого этажа и льется в силосные чаны. Мы поднимаемся по лестнице. Чанов — три. Они стоят в ряд и занимают в выс...

все шесть этажей насквозь, а в диаметре — площадь обыкновенной комнатки. Тройка рубильных машин едва поспевает работать на три таких котла.

Дефибрерные камни в этих мертвых желудках заменяет сернистая кислота, приготовляемая тут же недалеко на особом кислотном заводе. Ее накачивают в силосные чаны, загруженные щепою, и через 18 часов щепа превращается в волокнистую массу. Это и есть целлюлоза, почти чистая клетчатка. Она идет на сцежи, а оттуда в тот же смеситель, что и древесная масса. Сюда, как по венам, стекается с двух основных заводов бумажная сила.

— Ваша производительность?—справляемся мы у мастера.

— Семьдесят тонн в сутки... Часть целлюлозы — об'ясняет он, — мы отжимаем на пресс-пате и в таком виде отправляем на другие фабрики... Когда заработает третья машина, мы будем вырабатывать как раз столько, сколько нужно будет только нам...

Мы спешим покинуть этот неживой дом, где все неподвижно, где все точно мертво и где только жуткий запертый гул напоминает о совершающейся в котлах работе. Они наглухо завинчены, толщина стен их непомерна. Но давление изнутри так велико, что едкий запах серы сочится в воздух и с непривычки тут трудно дышать.

— Вредное производство? — замечает кто-то из нас.

Мастер смеется.

— К нам иногда присылают рабочих лечиться от чахотки... — уверяет он. — Ничто так не действует хорошо на легочных больных, как воздух нашего завода...

Среди нас, к счастью, нет ни одного туберкулезника, и мы уходим без сожаления.

Сердце фабрики бумажный зал. Отсюда идет в ротационные машины «Правды» и других газет белый поток бумаги. И вся фабрика, как человек к биению своего сердца, прислушивается к методическому гудению бумажного зала. Деятельностью его определяется вся жизнь комбината, работа заводов, подсобных цехов и даже настроение людей.

Мы видели, как проходившие мимо рабочие совсем другого отдела остановились на минуту у гудящих стен центрального корпуса, чтобы осведомиться о самом главном.

— Работают... — заметил один.

— Обе! — подтвердил другой.

И они пошли своею дорогою, как будто бы улыбнувшись. Мы посмотрели им вслед, и нам показалось, что плечи их стали шире, шаг тверже.

Мы открываем двери. Сквозняк впихивает нас в полусумрачный нижний этаж корпуса. Затем мы поднимаемся наверх по чугунной лесенке и видим: рабочие были правы, — гиганты работают оба. Белобрюхие тамбуры, как коконы шелк, сматывают с себя под ножи бумажную ленту. Разрезанные ролы снимают с вала. Их откатывают к двери, ведущей в упаковочную.

В огромные окна льется сплошным водопадом желтое, осеннее солнце и заливает светом весь зал. По длине он равен трем залам Большого театра в Москве. Две машины только едва-едва вместились в нем. Длина каждой из них — 75 метров. Нижние ярусы их находятся в нижнем этаже здания; верхние здесь. Система машин почти одинакова. По внешнему виду они сильно разнятся. Американская изящнее, проще, компактнее. Она — красива. Немецкая — грубее, мрачнее. Она аляповата, обвисла какими-то рукавами и конструктивно очень сложна.

Но, разумеется, в ней все прочно, добротно и надежно.

Мы идем горячим коридором между этими гигантами, вытягивающими из жидкой древесной кашицы шестиметровую ленту бесконечной длины. По пути нам встречаются дежурящие у машин рабочие. Многие из них, как летом на пляже, в одних трусиках или майках. В большинстве это молодежь: юркие, ловкие парни, каких требуют эти дьявольские машины. Машина не нуждается в их помощи до тех пор, пока не случится разрыва ленты. Но лента капризна: достаточно упасть на нее капле пота с потолка, или дать на машину плохо промешанную массу, или не соразмерить быстроту хода отдельных валов (а они идут на разных скоростях и приводят-

ся в движение разными моторами), как она рвется. В одно мгновение машина забивается браком. Каждая секунда промедления — лишний брак, от которого потом нужно очищать машину... И потому, как только раздается тревожный свисток заметившего разрыв бумажника, вся полуголая армия бросается на штурм гиганта с акробатическим проворством. Пожилым рабочим здесь нечего делать. И во всем зале мы замечаем только одного бородатого человека. Это — сеточник. Он находится в самом начале машины, и он одет. От сетки веет прохладой, как от холодного ручья в жаркий день. Здесь рождается лента.

Из преисподней, где день и ночь в огромных чанах железные лапы перемешивают древесную массу с целью с целлюлозой и однопроцентной долькой глинозема, насосы подают бумажную массу в бассейны машин. Отсюда, разбавленная водою, она идет на вечно движущуюся, тонкую и частую, как дамская вуаль, медную сетку и разливается на ней тонким слоем. К концу ленты — это уже бумага, насквозь влажное, еще отдающее сетке воду полотно, но уже бумажное полотно. Оно перебирается на бесконечные сукна, бегущие по вращающимся валам; сукна прессуют и отжимают его. Потом оно идет дальше между вереницей таких же валов. Из них одни гладят его, другие, раскаленные изнутри паром, сушат, третьи — полируют. Каждое мгновение внутри машины находится в работе четверть километра бумажной ленты; каждую минуту у выхода машины наматывается на бумажный патрон, как на шпульку, 265 метров готовой, еще теплой бумаги.

Каждые сутки с обеих машин сходит бумажное шоссе, которого было бы достаточно для того, чтобы связать Москву с Ленинградом.

Менее чем в два месяца они ткут шестиметровый бумажный пояс, которого хватило бы опоясать по экватору земной шар.

Несколько минут мы стоим молча. Гиганты внушают к себе уважение. Потом нам становится неловко оставаться в зале. Мы боимся кого-то развлечь, кому-то помешать и с неохотой уходим, но еще раз останавливаемся у порога, чтобы оглянуться на залитый солнцем зал.

В воздухе запах горячей, подсыхающей смолы: запах воска и меда. Машины журчат ровно и методично. Люди недвижны. Недвижным кажется и белое полотно, бегущее по валам из этажа в этаж... И только у выхода из машины, отглаженное и высушенное, как накрахмаленное белье, накручиваясь на белопузый тамбур, похожий на гигантский белый кокон в две тонны весом, оно поражает вас быстротою своего рождения.

Гиганты работают без устали. Краны поднимают тяжкие тамбуры. Шестнадцатилетняя девушка управляет ими, и двухтонновые чудища повинуются ей легко, словно надутые воздухом пузыри. Она отводит их к резательному станку, и снова, как коконы шелк, тамбуры сматывают с себя под ножи бесконечную ленту...

III

И вокруг этих грандиозных корпусов, под белыми облаками пара, в стенках их, в залах шумящих машин и в тихих помещениях химической обработки дерева, в конторках цехов, у транспортеров на берегу Волги, в домиках поселка и в ветхих хатах окрестных сел, по всей округе, тяготеющей к фабрике, развертывается классовая борьба, имеющая наименование: выполнение промфинплана. Ее содержание известно: переделаться ли нашей стране в индустриальную и социалистическую, или быть аграрной и капиталистической. Но формы, которые принимает эта борьба, многообразны, как бы ни были они отвлечены от темы, замкнутой в сфере технических вопросов.

Философствует инженер:

— Всякая машина имеет свою оптимальную производственную скорость и производительность. Дефибреры в Канаде дают четырнадцать, четырнадцать с половиной тонн древесной массы. Мы от них требуем семнадцать. Та же, что и у нас, бумажная машина фирмы Барлей-Сьюл идет там со скоростью двести двадцать пять метров в минуту, при максимальной технической триста пятьдесят. Нельзя насиловать машину.

Страшной угрозой работе Балахнинского бумкомбината нависает нерегулярная подача тока с Нижегородской государственной районной электростанции, работающей сейчас на торфе едва ли не 70%-ной влажности, проще говоря, — торфяной грязи. Торфяная грязь — «об'ективная причина» для Нигрэса. Как велико искушение для бумкомбинатских работников обратить самый Нигрэс в «об'ективную причину». Нигрэс почти ежедневно выключает древомассный завод, дефибреры которого поглощают огромное количество энергии. Каждое такое выключение нарушает производственный режим предприятия, рассчитанного на безукоризненное снабжение током: ведь вся фабрика—конвейер высокого совершенства. Бедствия от этих остановок неисчислимы. И вот для того, чтобы иметь возможность не останавливать каждый раз с остановкой дефибреров изумительный ход бумажных машин, который так трудно наладить, техническая мысль Бумкомбината выдвигает идею запасных для древесной массы баков.

И мужик, который не верил в то, что на его поле построят величайшую в Европе фабрику, и инженер, который находится в плену американских оптимальных скоростей, и прожектер запасных цистерн, — все в разной степени, в разных оттенках исповедуют одну и ту же «веру неверия». Да, в канадских условиях принята скорость двести двадцать пять метров готовой бумаги в минуту. Но ведь там промышленный рост не достигает 40—50% в год. Там нет голода на бумагу. Там боятся будущего года, несущего все большее ожесточение конкуренции. Там иное использование основного капитала, а мы должны дать хлеб культурной революции, для нас р е н т а б е л ь н о с т ь — сократить срок службы машин, использовать их мощность до предела, но удовлетворить потребности самых острых годов пятилетки.

С баками для древесной массы вопрос более запутан, а потому спор вокруг них значительно тоньше и извилистее проводит эту границу, по которой проходит борьба мыслей, отражающая еще более глубокую борьбу.

— Баки ставить? — восклицает коммунист, руководитель профработы на Бумкомбинате. — А тогда почему нам не расширить паросиловое хозяйство? Не поставить еще две турбины и не отделиться вовсе от Нигрэса? Ведь с точки зрения нашего производства это будет даже выгодно; а с государственной точки зрения каково это будет? Что такое ваши баки? Это нарушение принципа конвейера, самого выгодного, самого скорого, самого совершенного производственного метода. Это есть паника и хвостизм, ваши чаны и цистерны!

Так прямолинейно, разумеется, нельзя решать сложные мероприятия. Но в прямолинейности тех, кто защищает выполнение промфинплана в напряженнейших условиях, слышна вера класса молодого и победоносного.

Недавно на фабрике прошли выборы нового фабкома, последнего угла треугольника. Старое руководство оказалось насквозь оппортунистическим, именно в плену идейки, что «рабочий при таких совершенных машинах является лишь разумным придатком». И действительно, когда вы взглянете на эти изумительные создания технического гения, вас возьмет оторопь: откуда же тут извлекать какие-то сверхамериканские мощности, да еще с нашим-то молодым рабочим, да еще при безусых-то инженерах, только что оставивших школьную скамью?! Но и эта оторопь имеет глубокие корни, в особенности, если она попытается оправдать прорыв в размере нескольких тысяч тонн бумаги, недоданных за прошлый хозяйственный год. В числе кандидатов от производственного отдела был выдвинут в новый фабком рабочий Григорьев. Он снял свою кандидатуру: «Как я замазан в старом оппортунистическом фабкоме, то и несу ответственность и сам отвожу себя». И никто не стал вежливо отговаривать. Решают просто: «Согласиться с доводами т. Григорьева». И собрание принялось снова обсуждать возможности ликвидации прорыва. Почти нигде, ни на одном цеховом собрании не было слышно «потребительских» разговоров. Больше того, рабочие резко прерывали тех, кто пытался выдвинуть главным виновником прорыва и

тот же злополучный Нигрэс: «Обгадишься сам, на другого сваливать неудобно!» И тут же приводили случаи нарушения производственной дисциплины, плохой организации работ, случаи несознательного отношения к своим обязанностям, но приводили и примеры повышения производительности труда в результате соцсоревнования. Рабочие зорко высматривают всякую возможность закрепиться на достигнутом, продвинуться вперед, взять следующую позицию. Эти позиции надо отвоевывать иногда в собственном сознании, которое подчас затуманено страхом крестьянина, испуганного машиной. И ненависть кулака к машине: поля так близко подступают к социалистическому гиганту; река бурлацкая, купецкая несет свои волны под самыми стенами фабрики; лес идет из староверческих, кержацких, унженских лесов; в стандартных домиках поселка не изведена плесень мещанского уездного быта. Надо сберегать и себя и товарища от враждебных влияний. Рабочий Балахнинского бумажного комбината бдителен, зорок и горяч. Спросите у теперешнего руководства, чем лечить прорыв, — вам ответят: «крепкой постановкой массовой работы».

Мнение это, на первый взгляд случайное, если вдуматься, раскрывается, как единственно правильное. Полуторатысячный коллектив Балахнинского бумкомбината далеко еще не раскачался. Его огромная воля в сущности подремывает. Основная масса превосходной молодежи (молодежь преобладает на предприятии) окажется громадной силой, когда не только переварится в фабрично-заводском котле, но и поймет великий, всемирно-исторический смысл этого котла.

Бригада ВССП:

Глеб Алексеев
Конст. Большаков
Сергей Буданцев
Лев Гумилевский

Социальные корни и социальная функция творчества Ф. М. Достоевского

София Нельс

I

Советская общественность второй раз отмечает юбилей Достоевского.

В момент обостренной классовой борьбы, в момент резких социальных сдвигов особенно остро стоит вопрос о значении творчества художника прошлого для современности. Поэтому большинство юбилейных статей 1921 года выдвинули тему «Достоевский и революция». Проблема определения социальной функции Достоевского — главная задача и нынешнего юбилея.

Но вопрос о социальной функции какого-либо писателя разрешается тогда, когда точно установлен его социальный генезис. Только уяснив — психологию какой социальной группы и на каком ее этапе выявляют образы данного писателя, — можно решить вопрос, насколько чужды или родственны нам эти образы, какую роль должны они играть для современности, бороться ли с ними или принять их должно сознание борющегося пролетариата.

Юбилейный «марксизм» 1921 года решил эту задачу чрезвычайно просто. Не дав новых исследований Достоевского, не пересмотрев и не изучив его творчества в целом, а только выдергивая те или иные высказывания Достоевского, в юбилейном порыве провозглашали Достоевского одни — величайшим революционером, другие — не менее великим реакционером.

«Говорить о Достоевском для нас все еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни. Захваченные вихрем великой революции, вращаясь среди поставленных ею проблем, страстно и болезненно воспринимая все перипетии революционной трагедии, мы находим у Достоевского себя самих (разрядка моя. — С. Н.). Находим у него такую болезненно страстную постановку проблем революции, как будто писатель вместе с нами переживает революционную грозу». (Переверзев — «Достоевский и революция» — Творчество Достоевского, Госиздат, 1928 г., стр. 4.)

Конечно, помимо юбилейного увлечения, все эти суждения в своей основе имели недостаточное укрепление марксистской мысли на литературном фронте. Ведь в 1921 году слово Переверзева считалось верхом марксистской премудрости.

Но, каковы бы ни были ошибки тех или других исследователей, как бы ни затемняли они часто истинный смысл творчества Достоевского, ясно только одно: вопрос о Достоевском и революции звучал страстно и волнующе. Он настойчиво — как, может быть, не по отношению ни к одному из наших писателей-классиков — требовал своего разрешения.

II

И это неудивительно. Наше время особенно интересуется тем писателем, который с такой остротой и настойчивостью на протяжении всего своего творчества ставил социальные вопросы. Мы не говорим здесь о том, как в тех или иных произведениях, в ту или иную эпоху Достоевский их разрешал, мы говорим о том только, что социальная проблема (точнее, проблема социальной неустроенности его класса) — основная проблема Достоевского.

Каждый пишущий о Достоевском, не преминет заявить о том, что Достоевский больше всего занимается изображением страданий, надрывов, мучений людских. Но что такое то страдание человеческое, о котором без устали говорит Достоевский? Это страдание, порожденное социальным злом и насилием.

В проблему социального зла упирается у Достоевского и вопрос о боге, который обы-

но считают основным в его творчестве. Бог нужен Достоевскому, как ответ на несовершенство земной жизни, на неустроенность социального бытия. Вопрос о боге для Достоевского есть обратная сторона тех вопросов, которые ставят анархисты и социалисты, «все те же вопросы, только с другого конца». И те и другие нужны ему для разрешения проблемы «переделки всего человечества по новому штату». В этом отношении чрезвычайно характерны рассуждения Ив. Карамазова, который приходит к тому, что не бога не принимает он—пускай существует бог, — его вопрос не о боге, а о «мире божьем», и этого мира божьего он не может принять. Точнее, Ив. Карамазов не принимает существующего социального порядка из-за страданий, на которые он обрекает человечество. Он подбирает целый ряд фактов, говорящих о страданиях истязаемых детей. Страдания детей кажутся ему наиболее доказательным аргументом его основного тезиса — неприятия мира.

Иван Карамазов видит зло в его исключительных проявлениях. Во сне Мити Карамазова дано воплощение зла, как бытового явления. И через свою социальную типичность этот сон приобретает характер символа. Снится ему: «русская деревня, погорелые избы, бабы на дороге, и у одной из них плачет на руках голодный ребенок.

— Что они плачут? Чего они плачут? — спрашивает, лихо пролетая мимо них, Митя.

— Дите, — отвечает ему ямщик, — дите плачет...

— Нет, нет, — все будто еще не понимает Митя, — ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дите, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не накормят дите?» (т. X, стр. 178.)

Так формулируется в последнем произведении Достоевского основной вопрос его творчества.

И не менее остро ставит вопрос Раскольников о социальном порядке, посылающем на проституцию Соню Мармеладову. Ему посвящены покаянные речи Версилова. Все страницы «Бесов» только и трактуют этот вопрос. Но четкую постановку социального вопроса мы находим уже в ранних произведениях его. Именно в этих первых произведениях дана основная установка Достоевского, в позднейших она осложнится рядом других проблем, которыми он будет пытаться разрешить, а иногда и подменить основную социальную проблему.

Уже Макар Девушкин, смиренный и робкий, пытается говорить о том — «Отчего же это так случается, что вот хороший-то человек в запустеньи находится, а к другому кому счастье само напрашивается?»

Бунтует Голядкин против жизни, «которая затирает его, как ветошку», и в нелепых усилиях стремится восстановить свою подавленную социальным порядком амбицию. Погибает Вася Шумаков, «слабое сердце», которому машина переписки не оставила уголка для личной жизни. В страхе потерять свое маленькое место — «а вдруг канцелярия сгорит?» — мечется Прохарчин.

Гнет тяжелой материальной нужды, одуряющей механической работы, подавленность и приниженность вызывают у всех этих героев Достоевского все один и тот же вопрос: за что, почему так устроена жизнь, что одни страдания приходятся на их долю?

Бесконечный ряд образов людей, замученных и обездоленных социальным строем, проходит в произведениях Достоевского. Все эти Мармеладовы, Снегиревы, Лебядкины и др. И дети их бледные, бескровные, худенькие дети, с детства узнают социальный гнет. «Папа, — спрашивает, — папа, ведь богатые всех сильнее на свете?» «Да, — говорю, — Илюша, нет на свете сильнее богатого». «Папа, — говорит, — я разбогатею... и тогда никто не посмеет»... (205 стр.)

Правда, эти фигуры мелких чиновников, уволенных со службы, опустившихся на городское дно, стали второстепенными в позднейших произведениях Достоевского, как бы фоном, на котором развертываются размышления, переживания и действия более сложных героев.

Но вопрос их — за что? — продолжал так же настойчиво звучать и требовать ответа. В самом деле, что же составляет сущность бесконечных размышлений и диалогов, философских pro и contra Версилова, Раскольникова, Ив. Карамазова? Опять-таки — страдающее человечество.

Не материальная нужда и гнев давят этих людей, их страдания более сложны. Это страдания за тех, кто этот гнет испытывает, это боль за человечество. Не личные страдания, болезнь, смерть, не такие же страдания близких людей являются аргументом неприятия мира. И, может быть, знаменитая формула Достоевского о невозможности любви к ближнему — любовь возможна только к дальнему, к отвле-

ченному человеку, и в этом Достоевский видел ужас падения человеческой души — по существу является выражением того, что не о человеке, а о человечестве его основной вопрос, о человечестве таком, каким оно пред ним предстало из пореформенной российской действительности.

Здесь очень любопытно сопоставление Достоевского с Толстым. Толстой тоже много говорит о страданиях человечества, но для него основной источник страдании — смерть. Смерть основной аргумент против жизни, смерть уничтожает смысл жизни. В свете близкой смерти Андрей Болконский, Иван Ильич и др. видят ничтожность жизни, всех ее усилий, всех ее радостей. Мудрость смерти — последняя мудрость Толстого — отрицание жизни.

Не то у Достоевского.

Основной вопрос Достоевского — о страданиях человека в жизни, а не в смерти. Это определяется тем, что ужасы социальной жизни — главный вопрос для него и для его класса. Смерти, как таковой, вообще, нет в его творчестве. Смерть у него всегда дана в плане убийства или самоубийства, т. е. как проблема социальная, а не биологическая. Биологических проблем он не знает. Эротика у него тоже всегда дана своей социально заостренной, а не биологической стороной.

Не зная страха смерти, Достоевский сквозь все муки, на которые осуждено человечество, призывает к жизни, к утверждению жизни. Гимн жизни поет Дмитрий Карамазов, проходя сквозь все свои мытарства. Радость жизни утверждает Иван Карамазов, несмотря на «все ужасы человеческого разочарования».

Об этой огромной жажде говорит Версилов подростку, говорит Ипполит Терентьев в «Идиоте» и многие другие.

Последняя мудрость Достоевского — есть призыв к жизни, несмотря на ее страдания.

Эти две предпосылки, устремленность к разрешению социальных вопросов при особо повышенном чувстве жизни, дают возможность установить, что Достоевский представитель не класса погибающего, как Толстой, а класса, переживающего глубокий кризис.

То обстоятельство, что он писатель группы, переживающей глубокий социальный кризис, что все его творчество предопределено социальным кризисом, направлено на его преодоление, делает его особенно близким нашему времени. И неудивительно, что Достоевский наиболее читаемый из классиков, наиболее волнующий и увлекающий читателя. Неудивительно и то, что ряд современных писателей поднял снова проблему Достоевского о маленьком человеке и целый ряд произведений по своей тематике и оформлению идут под знаком Достоевского.

Эти факты, свидетельствующие об особой широте социальной функции Достоевского, с особой настойчивостью ставят вопрос истолкования его творчества, вопрос принятия или непринятия этого творчества.

Каков же социальный генезис Достоевского?

III

В литературе по этому вопросу существуют два противоположных мнения. В. Ф. Переверзев считает, что Достоевский представитель мелкой буржуазии, городского, ремесленного и чиновного мещанства. В его дворянских образах он видит лишь переодетых мещан.

Другие до и после В. Ф. Переверзева отвергали взгляд на Достоевского как на писателя мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия в эпоху Достоевского была, — говорили они, — силой прогрессивной. Она дала Чернышевского, петрашевцев, позднее народовольцев. Что общего между этими фигурами и упадочническими образами Достоевского? Достоевский по их мнению является выразителем класса упадочного, именно погибающего дворянства.

Но прикрепление писателя к тому или иному классу часто мало говорит нам о социальной сущности писателя.

Класс включает в себя различные группы и подгруппы. Класс — выражение целой социальной формации.

Между тем писатель чаще всего выражает конкретную группу данного класса на определенном его этапе.

И многие ошибки и споры часто определяются этим неправильным недиференцированным подходом.

Переверзев определяет Достоевского, как писателя мелкой буржуазии,—«городской группы трудящихся в одиночку, от ремесленника до людей интеллигентных профессий включительно».

Дальше он поясняет, что область изображения Достоевского, главным образом,—упадочное мещанство. Но это ограничение ни в чем не отражается на анализе творчества Достоевского: Достоевский дан, как художник мелкой буржуазии в целом. А в статье «Достоевский и революция» это привело Переверзева к утверждению, что Достоевский дал исчерпывающе

изображение революционной мелкобуржуазной России. «И прямо поражаешься, как глубоко постиг художник психологию мелкобуржуазной революционности» (стр. 11).

Оставляем пока в стороне вопрос о том, насколько Достоевский действительно дал изображение революционеров своего времени; нас сейчас интересует вопрос о том, прав ли Переверзев в самой социальной дефиниции Достоевского.

Достоевский начал с изображения определенной группы мещанства, маленького забитого жизнью чиновника, продолжая в этом отношении традицию Гоголя. Это главный персонаж раннего периода творчества Достоевского — до каторги.

Но не только униженность и забитость воплотил он в этих образах, но и протест против социальной униженности. В этом его коренное отличие от Диккенса. Персонажи Диккенса подавленные, но не протестующие. Положительные социальные идеалы Диккенса — гуманистическая вера в торжество добра. Он видит в жизни лишь угнетенных, униженных, но добродетельных, смиренно ждущих прихода справедливого благодетеля, который у него неизменно к концу и является.

Достоевский строит свои произведения поиному. Его персонажи не ждут избавления извне. Они сами в той мере, в какой это возможно, борются, протестуют, всячески отстаивают свою «амбицию».

Правда, борьба эта принимает нелепый, уродливый характер. У Голядкина — это борьба с двойником, занимающим его место. Его протест воплощается в манию, видящую везде врагов. Это то страшное фантастическое «все», та слепая сила, которая отнимает у него невесту, его маленькое положение в жизни. Прохарчин из боязни этой слепой силы — «а вдруг канцелярия сгорит?» — уходит в идею накопления.

Для успеха социального протеста мелкой буржуазии нет никаких об'ективных возможностей. Тенденции исторического развития не сулят мелкой буржуазии под'ема по социальной лестнице. Поэтому-то социальный протест этих маленьких людей принимает такие уродливые формы, становится основным источником комического у Достоевского.

Маленькому чиновнику не только не удается отстоять амбицию, но и свое маленькое место в канцелярии. Он лишается службы и почти нищенствует. Вот тот путь, который проделал этот персонаж Достоевского от ранних произведений к зрелым.

Центральный персонаж произведений докаторжного периода, — он занимает второстепенное место в произведениях зрелого периода. Здесь он уже дан на дне. Его жизнь не в тяжелом труде, не в департаменте, а в трактире. Единственное, что ему осталось — философствуя по кабакам, стремиться осознать, что его привело к такому положению.

Тут при невозможности осознать сложные социальные вопросы («На медные деньги учились») маленький человек должен был бы, казалось, притти к тем, кто является идеологом его группы. Мы ждем, что на сцене появятся великие идеологи мелкой буржуазии, героические борцы за освобождение «униженных и оскорбленных», укажут им истинных виновников их бедствий и путь к избавлению. Они, таким образом, организуют их протест и придадут ему активную социальную направленность. Так направленный протест поможет им преодолеть их униженность и забитость.

Но вместо Чернышевского и Некрасова на сцену выступают Ставрогин и Иван Карамазов. Мещанство, потерявшее свое маленькое положение и не знающее, как его восстановить, сталкивается на дне с теми, кто все имел, но все утратил, из вершин первого сословия спустился в социальное подполье и не имеет никаких исторических возможностей вернуть себе свое прошлое.

П р о и с х о д и т с в о е о б р а з н а я с м ы ч к а д в у х г р у п п: м е щ а н с т в а, п е р е ж и в а ю щ е г о г л у б о к и й к р и з и с, и у п а д о ч н о г о д в о р я н с т в а. Общность настроений создает их временное идейное смыкание. Отсталостью определенной части мещанства определяется эта перестановка точки зрения, когда оно отождествляет свои стремления, стремления социальной группы, которой хотя и не предстоит главенствовать, но которая является жизнеспособной, со стремлениями группы, социально вырождающейся.

Это стало возможным благодаря особому положению мелкой буржуазии в русских условиях. Вследствие особенностей русского экономического развития мелкая буржуазия никогда не могла играть той значительной роли, какую она играла на Западе. Западно-европейские страны знали длительный период, когда параллельно с распадом феодального строя шло процветание ремесленничества и мануфактуры, которые только впоследствии родили из себя крупно-капиталистическое производство.

Этот период и был периодом наибольшего благополучия мелкой буржуазии. Являясь классом промежуточным, не могущим занять господствующее положение, мелкая буржуазия все же имела на Западе свой период относительного материального процветания и распространения ее гуманитарно-демократических идеалов.

Не то было в России. Здесь падение феодально-помещичьего строя (крепостничество), долго искусственно задерживаемое, сразу привело к крупнокапиталистическому производству. Благодаря такому социальному сдвигу создалась огромная масса обездоленного городского мещанства, не знавшего, где найти себе применение. Сюда входили и разоренные владельцы мелких усадеб, перешедшие из своей усадьбы в департамент, и бывшие крепостные, потерявшие связь с землей, и отставные мелкие военные. Брошенные в большой город, они не находили себе там места. Первое место занимали другие, — не те, которых благодаря консервативности своего сознания они привыкли считать верховными властителями жизни, а другие — шла новая сила.

Таким образом начало жизни класса мелкой буржуазии с его всегда неустойчивым положением было сразу омрачено сознанием невозможности укрепления своего класса, невозможности занять господствующее положение. Это создало упадочнические настроения. Это создало возможность смыкания с деградирующим дворянством.

Достоевский изобразил таким образом определенную часть мещанства (мелкой буржуазии) на одном конкретном исторически узко ограниченном этапе, приняв особенности этого ограниченного существования за вечное. Он дал один момент, остро пережитый мещанством в эпоху резкого социального сдвига, когда отчаяние в возможности удержать какое бы то ни было социальное равновесие и неумение разобраться в социальной обстановке привели к контакту, к смыканию с упадочным дворянством. Это выдвинуло на первый план социальный вопрос в творчестве Достоевского и определило характер его решения.

Социальный диапазон Достоевского по существу очень узок. Он дает небольшую социальную группу на небольшом отрезке времени. Острота социального момента создает необычайную остроту переживания. Недостаток социальной широты возмещается глубиной. Не имея возможности итти в ширину, захватывать все большие области жизни в сферу своего изображения — он шел вглубь, стремясь дать предельную глубину каждого явления, каждого образа. Это же обусловило и то, что явления теряли для него свой исторический облик и получали характер вневременный, вечный.

Впоследствии мещанство давал Чехов, но мещанство уже на другом этапе, мещанство, приспособившееся, пошедшее на услужение буржуазии.

Чеховское мещанство уже поняло, как устроить свое личное благополучие, и узнало, что, не гонясь за большим, оно всегда может рассчитывать на подачку со стороны буржуазии. Оно создало культ малых дел и стало олицетворением всяческой пошлости и самодовольства, изобразителем которого и был Чехов. В это время термин «мещанство» получил тот свой обычный, обывательский смысл, как обозначение пошлого самодовольства, а не как обозначение известной классовой категории.

Сложный социальный состав произведений Достоевского выразился главным образом в зрелых произведениях. Образы его социально не однородны. Это образы двух групп: упадочного дворянства и мещанства, причем он дает образы мещан как массу, как низы, образы дворян как их идеологов. За исключением «Бесов», о котором речь у нас будет особо, он не дает разночинных интеллигентов.

В. Ф. Переверзев тоже делит персонажей Достоевского на две группы. Но он в них видит низших и высших представителей одной и той же группы мещанства: массы и ее идеологов. Дворяне для него — переодетые представители высшей группы мещанства, переодетые идеологи мещанства. Между тем текст Достоевского никаких оснований для таких заключений не дает. Речь идет об опустившемся дворянстве, которое в городе, конечно, глубоко отлично от дворян Толстого или даже Гоголя. Мы не имеем возможности здесь остановиться подробней на критике мнения Переверзева о переодетых образах у Достоевского. Укажем лишь, что у Достоевского имеются неоднократные непосредственные указания на внутренний антагонизм этих двух групп. Дворянство в упадочном состоянии сохраняет привычки повелевающих, которые в не-дворянах не признают чувства собственного достоинства, считают возможным над ними измываться и ими повелевать.

Такие указания мы встречаем неоднократно и в разговоре Ракитина с Алешей Карамазовым («Нет, вы, господа Карамазовы, каких-то великих и древних дворян из себя корчите»... 86);

и в отношениях Верховенского к Ставрогину, и в том, как реагирует группа молодых людей (Ипполит и др.), пришедших к Мышкину на встречу с его высокопоставленными гостями, Епанчиными, и много других эпизодов.

С своими горестями и недоразумениями мещане Достоевского идут к этим культурно более высоко стоящим, но обреченным людям: Мармеладов исповедуется Раскольникову, Снегирев — Алеше Карамазову, Лебедев у князя Мышкина ждет разрешения и подтверждения своих мыслей (графиня Дюбарри).

Мармеладовы и Снегиревы—страдают. Иван Карамазов возводит их страдания в идею, в философскую категорию, и так утверждает необходимость страдания. Признание необходимости страдания есть выражение незнания путей для освобождения от него. Отсутствие социально-действенных путей для преодоления зла приводит к богу.

Это — одна сторона философской концепции Достоевского. Другая сторона — протест мещан против своей ненужности, жажда отстоять ценность каждой личности, право каждой личности на известную долю жизненных благ, приводит к утверждению Иваном Карамазовым, Ставрогиным и Кирилловым своеволия и бунтарства, к идее человекобога. Религия человекобога у Ивана Карамазова является философским оформлением тщетных попыток мещанства отстоять свою амбицию.

Наконец отсутствие крепких связей со своим коллективом — у дворянства вследствие классового разложения, у мещанства из-за социальной отсталости — ведет к крайнему индивидуализму с его аморальностью, с его стремлением стать «по ту сторону добра и зла», с его провозглашением: «все позволено».

Таким образом, социальный генезис Достоевского сложен, как сложна та социальная группа, которую он изображает. Ее составные элементы — наиболее отсталая часть мещанства и упадочническое дворянство, которые в один определенный узко-ограниченный исторический момент сталкиваются на городском дне.

Испуганное мещанство, растерявшись в момент больших социальных сдвигов, не зная, как утвердиться посреди взволнованной социальной стихии, искало помощи у той более культурной группы, которая, утратив былые блага и привилегии и очутившись в одном с ним положении, была приведена к уровню жизни этих часто нищенствующих мещан, к их быту и привычкам. Дворянство выступает здесь как ниспадающая, сливающаяся с нищенствующим мещанством группа. Поэтому при значительности персонажей дворян в произведениях Достоевского ведущая роль принадлежит мещанской стихии. Но самое мещанство выступает не в тех своих качествах, которые характеризуют жизнеспособность мелкой буржуазии, ее путь к Чернышевскому, а в тех качествах, которые характеризуют ее упадочничество, ее путь к смыканию с погибающим дворянством.

При таком толковании Достоевского совершенно иное значение получает образ двойника, считающийся многими основным образом в его творчестве. В. Ф. Переверзев всю свою работу о Достоевском строит на анализе психологии двойника, который для него является типическим воплощением психологии мещанства. Считая все образы Достоевского однородным выражением мещанства, он ставит знак равенства между Голядкиным («Двойник») и Иваном Карамазовым. Качественной разницы между ними—по его мнению—никакой нет. Разница только количественная— в степени культурности.

Эта явная натяжка результат того, что Переверзев творчество каждого писателя, как известно, стремится свести к единой классовой системе образов, не допуская того, что писатель может изображать и образы из другой социальной группы.

Какое содержание Достоевский, по существу, вкладывал в понятие двойника?

Если мы это раскроем, то увидим, что образ двойника покрывается другим образом большой значимости в творчестве Достоевского.

Впервые Достоевский дает образ двойника в повести под тем же заглавием «Двойник».

Яков Петрович Голядкин, маленький чиновник, занимающий незначительное место, но стремящийся сохранить свое достоинство, подчеркнуть значительность своей личности, с ужасом узнает, что у него есть двойник — Яков Петрович Голядкин — младший — точная его копия по наружности, костюму, фамилии.

Зачем Достоевскому понадобился двойник? Какова его психологическая сущность?

В то время как «настоящий» господин Голядкин, несмотря на свое тяжелое положение, сохраняет достоинство, старается его отстоять, «фальшивый» Голядкин—«легок на язычек и на ножку», «семенит», «юлит» около начальствующих, без конца унижается перед ними, льстит и заискивает. Не останавливается и перед всякими шутовскими фокусами, чтоб до-

биться теплого местечка. Шутовское самоунижение становится источником добывании средств к жизни в среде городского мещанства и приводит к созданию характера приживальщика. Трагический надрыв и комический выверт — две основные стороны этого образа. Таковы по существу Ползунков, Ежевикин, Снегирев, Лебедев, Лебядкин, Фома Опискин, Петр Верховенский, Федор Карамазов и многие другие. Ту же сущность приживальщика выражает собой и чорт Ивана Карамазова.

Если в таких образах, как Ползунков, Ежевикин, дан бытовой тип приживальщика, то в Фоме Опискине и Федоре Карамазове раскрыта психологическая сторона образа приживальщика, Петр Верховенский дает социальный тип приживальщика, чорт Ивана Карамазова — философию приживальщика.

Маленьший чиновник Ползунков, лишившись службы, добывает себе пропитание шутовством, потешая тех, у кого можно выпросить взаймы. Под видом шутки, он повествует о самом затаенном и интимном, — но самым болезненным образом ощущает обиду своего шутовства. «Это был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик» (т. I, изд. Маркса, стр. 407). «Странное дело. Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутом и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом». Его паясничанье поистине «смех сквозь слезы». Все, что наиболее тяжело ранит человека, выставляется напоказ в комическом виде, через шутку. Но, юродствуя так, он в то же время сознает, что он ничуть не хуже тех, кого он потешает. И оттого «сознание собственного достоинства и полнейшее сознание собственного ничтожества всегда боролись в нем». (Там же, стр. 405—406).

Обремененный большой семьей, потерявший службу Ежевикин («Село Степанчиково») тоже отстаивает свое положение через шутовство, которым он забавляет более сильного шута и приживальщика—Фому Опискина и его домочацев, «Фортуна заела, благодетель, оттого я и шут», — говорит он о себе.

Как все шуты-приживальщики, он вознаграждает себя тем, что мстит сарказмом всем, кого он забавляет и перед кем унижается своим шутовством.

Фома Опискин, который, «когда-то где-то служил» и занимался литературой, и Федор Карамазов — «маленький помещик» — бывшие шуты и приживальщики. Фома Опискин у генерала-самодура, для развлечения которого э «изображал собой по генеральскому востребованию различных зверей и иные живые картины». «Не было унижения, которого он бы не перенес из-за куска генеральского хлеба» («Село Степанчиково», стр. 8). Федор Карамазов «был у дворян приживальщиком и приживанием хлеб добывал. Я шут коренной, с рождения»,—говорит он о себе («Братья Карамазовы» стр. 43). Теперь ни тот, ни другой не нуждаются в своем ремесле шута. Первый утвердился в доме Ростанева и через истерическую генеральшу стал главным лицом в доме, чуть ли не святым, на которого молятся и которого боготворят, второй сколотил всяческими торговыми операциями капиталец и, следовательно, стал независим.

Не имея необходимости потешать других, Фома Опискин все же остался приживальщиком. Если комическая сторона образа приживальщика уничтожена в нем, то другая сторона особенно развилась: обидчивость, стремление везде видеть оскорбление. Мучаясь сам, он естественно мучает других. «Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры»... («Село Степ.», стр. 18).

Так долго придавленное самолюбие выросло до гипертрофированных размеров. Он стал мнить себя великим ученым и литератором.

Опыт шутов-приживальщиков резюмируется в авторском вопросе. «Однако, позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, — уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?» И Достоевский отвечает на этот вопрос образами своих «униженных судьбою скитальцев, шутов и юродивых», самолюбие которых «безобразно вырастет» от унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства вечно вынуждаемой подчиненности и безличности.

Федор Карамазов уже не нуждается в шутовстве, но осталась психология приживальщика, так хорошо выявленная в сцене у старца Зосимы: «Мне все так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, так вот «давай же я в самом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня. Вот потому я и шут, от стыда шут, старец.

великий, от стыда. От мнительности одной и буяню» (т. IX, стр. 45). Он знает, что, чем серьезнее то переживание, которое облекается в шутовскую форму, тем острее, гротескнее выявляемый через нее комизм. Потому в шутовской форме он рассказывает о самом интимном, с удовольствием «разыгрывая смешную роль обиженного супруга» (стр. 11), точно «чин новый получил», — замечали окружающие. «О полученных пощечинах сам ездил рассказывать по всему городу» (стр. 17).

Так же без надобности паясничает отставной штабс-капитан Снегирев. Да полноте вы, наконец, паясничать, ваши выверты глупые показывать, которые никогда ни к чему не ведут («Бр. Карамазовы», стр. 200), — унимает его дочь, когда он разыгрывает себя перед Алешей Карамазовым, пришедшим по поручению Екатерины Ивановны: «Я Илюшечку возьму, да сейчас и высеку перед вами для вашего полного удовлетворения. Скоро вам это надо-с».

Здесь паясничание — результат унижения, страха перед людьми, которые об'ективно для него не страшны. Оно вызвано стремлением заранее обезоружить всякую возможность зла со стороны людей.

Лебядкин — «искусившийся в роли шута» («Бесы, стр. 221) перед Ставрогиным, подачками которого он живет; Максимов — «скитающийся приживальщик» (Бр. Карамазовы, стр. 231); Лебедев — вечно кривляющийся и обдумывающий во время своих кривляний, как бы надуть собеседника, — таковы эти персонажи, ряд которых можно бы продлить.

Наконец либерал сороковых годов, ученый Степан Трофимович Верховенский, который в горькую минуту сознает: «Je suis un простой приживальщик et rien de plus. Mais r-r-rien de plus» (т. VII, стр. 24). Но даже эта трагическая истина облечена в комическую форму полуфранцузской фразы. Правда, слово приживальщик здесь имеет более широкое значение, чем то, которое вкладывает в него Степан Трофимович: не приживальщика генеральши Ставрогиной хотел Достоевский изобразить, а русского либерала — приживальщика западных идей.

И наконец видоизменение уже знакомого нам «легкого на язычек и на ножку», «прыгуна», «лизуна», господина Голядкина-младшего, но уже в образе русского революционера. Петра Степановича Верховского.

Так же, как и Голядкин-младший, он семенит за Ставрогиным, юлит около него. «Бисер вечно готовых слов вечно сыпется». И так, «сыпля словами, как горохом», вечно суетясь, торопясь (что Достоевский непрестанно подчеркивает такими описаниями: «в л е т е л в кабинет», бросился было в заседание, л е т е л по дороге», «влетел в гостиную», «быстро п о д л е т е л к ней», «п о д с к о ч и л»), он играет свою роль наивного простачка, человека «хоть и со способностями, но который с луны соскочил». Роль шута нужна ему не для поддержания своего материального благополучия, а для осуществления своих планов революционера-заговорщика. Паясничая, он добивается того, что выведывает все необходимое ему у губернатора, становится близким человеком в его доме, прибирает к своим рукам всех так или иначе нужных ему людей. Хотя Ставрогин и говорит про него: «...есть такая точка, где он перестает быть шутом и обращается в... полупомешанного» (стр. 201, изд. Гиз, т. VII), он на всем протяжении романа дан исключительно в плане комического выверта. Образ его Достоевский всегда выявляет через комические его движения, комически-бессвязную речь и ряд комических положений. Другая сторона шута и приживальщика — сторона трагического самосознания воплощена в Ставрогине. Верховенский на всем протяжении романа непосредственно связан со Ставрогиным. Без него он ничто. Это он повторяет неоднократно. Все, что он ни делает, он связывает с планами Ставрогина. Он всячески перед ним унижается и заискивает потому, что то, что он считает главными для себя — свои заговорщические планы, — он осуществить без Ставрогина не может. В этом отношении очень знаменателен его разговор со Ставрогиным. Ставрогин: «Если бы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь: да... если бы только хоть капля умнее...» Верховенский: «Я-то шут, но не хочу чтобы вы, главная половина моя, были шутом. Понимаете ли вы меня?» Ставрогин понимал. Один только он, может быть». (Там же, стр. 434.)

Один ли только он понимал это — неизвестно. Но что Вяч. Полонский не понял соотношения образов Верховенского и Ставрогина — это ясно. Для него «встреча Ставрогина и Верховенского случайна». Копанье в творческой истории романа, который явился результатом соединения двух творческих замыслов Достоевского, привело его к утверждению, что связь между этими двумя главными персонажами случайна, «искусственна», нужна только для композиционной спайки двух замыслов. Но он игнорировал самый текст романа, который говорит, конечно, гораздо больше, чем воссозданная им творческая история. А в тексте ро-

мана их связанность везде подчеркивается тем, как они экспозируются автором. С первого их появления—они вместе и неожиданно приезжают — комической суетливости Верховенского противопоставляется серьезность и сосредоточенность Ставрогина. И так же не «лучайно» то, что Верховенский является «оруженосцем», Ставрогина, по выражению Полонского. Их отношения продиктованы зависимостью мещанина-приживальщика, задумавшего путем социальной смуты, «раскачки» выйти из своего униженного положения, от того, кто для мещанина-приживальщика является олицетворением спокойной и уверенной в себе силы аристократа, кто единственно может стать знаменем восстания, героем социальной смуты — «самозванцем».

И наконец последнее выражение сущности приживальщика — чорт Ивана Карамазова, воплощение того пошлого и ничтожного, что есть в Иване Карамазове — в его философии, сведенной с ее теоретических высот, от «касания мирам иным» к реальной жизни. Оттого Иван Карамазов так и негодует: «Нет, я никогда не был таким лакеем. Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты». (т. X, стр. 313). «Ты» — я, сам я, только с другой рожей» (т. X, стр. 303).

Представляя нам новый персонаж, чорта Ивана Карамазова, Достоевский прежде всего подчеркивает его мещанскую сущность — в его наружности «приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым», в его костюме «шиковатого русского джентльмена». Это не гордый дух «с опаленными крыльями», «в красном сиянии», как иронизирует он сам, не Люцифер или Мефистофель, а обыкновенный пошлый русский чорт — «ты глуп и пошл», — возмущается Иван Карамазов. Это мещанин-приживальщик при «русском барченке» с чисто приживальщицкой уступчивостью и желанием «быть приятным».

«Сплетничай, ведь ты приживальщик, сплетничай».

«C'est charmant, приживальщик. Да, я именно в своем виде. Кто же я на земле, как не приживальщик?» (т. X, стр. 302).

Если Иван Карамазов мечтает о вечной гармонии, философствует о приятии и неприятии бога и его мира, то другая его половина в приживальщике-чорте имеет более определенные земные идеалы. «Моя мечта — это воплотиться, но чтоб уже окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал— войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-богу так. Тогда предел моим страданиям» (т. X, стр. 303).

Но это мещанин, хорошо усвоивший все философские истины, которые, пройдя горнила сомнений, утверждает его идеолог Иван Карамазов. Он не только хорошо их усвоил, но и продумал их практическое применение, потому что для него это вопросы практического существования, в то время как для Ивана Карамазова это теоретические блуждания, ничего не определяющие в реальной жизни или в лучшем случае ведущие к экспериментам со Смердяковым.

Здравый смысл мещанина видит в великом инквизиторе иезуитского патера, назначающего свидания в исповедальной будочке. Все сомнения Ивана Карамазова, все глубины его отрицания для него сводятся к «отделению критики в толстом журнале». Это отрицание ему, по существу, не нужно: «Я искренно добр и к отрицанию совсем не способен». Ему нужно не великое отрицание, — а уют семипудовой купчихи.

Он иронизирует над «великим решением» Ивана Карамазова признать себя на суде убийцей отца. Для него «все дозволено» Ивана Карамазова практически есть разрешение всякого мошенничества. Приводя те философские доводы, через которые Иван Карамазов приходит к этому своему утверждению «Для бога не существует закона...» и т. д., он говорит: «Все это очень мило, только если уж захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человечек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...» (т. X, стр. 314).

Чорт — философский приживальщик Ивана Карамазова, сводящий в своем шутовстве все глубины философского мировоззрения его к лакейской пошлости, его идеализм к «материализму» Смердякова. Оттого так негодует Иван Карамазов на то, что он философствует: «Опять в философию в'ехал». «Лучше бы ты какой анекдот» — возвращает он его к обычной роли шута.

Здесь мещанин-приживальщик, усвоивший философию своего идеолога-дворянина, приходит к осознанию ненужности, непригодности всех этих идей, которые не помогут ему из «икса в неопределенном уравнении» превратиться в реального человека с каким-то определенным реальным жизненным показателем, с определенным положением в жизни. Отсюда его иронический тон в отношении Ивана Карамазо-

ва, который раньше был для него образцом и идеалом. Здесь сказывается и известная эволюция мещанского образа у Достоевского.

Его основной мещанский образ — образ человека, утверждающего свое право на существование, в своей крайней принужденности стремящегося отстоять свою независимость,— сменяется образом мещанина, идеалом которого является известная сумма материальных жизненных благ и который за них готов продать и свою личность и свою независимость. Это уже образ Гани Иволгина в «Идиоте», который переносит всяческие унижения, чтобы жениться на Настасье Филипповне и стать таким образом обладателем семидесяти пяти тысяч, это — символический образ чорта с его идеалом семипудовой купчихи.

Достоевский сам подчеркивает появление в его творчестве этого нового образа — людей «ординарных», которые стали таким частым явлением, что романист вынужден включить их в сферу своего изображения и посвятил им несколько страниц рассуждений в «Идиоте».

Здесь намечается та эволюция мещанского образа, которая привела от образов мещан Достоевского к образам мещан у Чехова.

Таким образом основной мещанский персонаж у Достоевского — приживальщик в настоящем или в прошлом: обреченный на постоянную материальную и духовную зависимость, он только через шутовство может осуществлять себя в жизни, завоевывать в ней свое положение, но в то же время в нем живет трагическое сознание своего унижения и горечь шутовства. Таким образом, приживальщики, все эти «комические мученики», являются по существу своему характерами двойственными. Но они очень далеки от тех, кого Переверзев причисляет к «двойникам».

Что общего между ними и Свидригайловым, который говорит: «Видите ли, хотя бы что-нибудь было; ну помещиком быть, ну отцом, уланом, фотографом, журналистом... н-ничего, никакой специальности. Иногда даже скучно. Право, думал, что вы мне скажете что-нибудь новенькое» (г. V, стр. 381—82).

Скука — основное мироощущение этих людей, совершенно оторванных от жизни, не представляющих себе психологически возможным принимать в ней какое-либо участие. От скуки Свидригайлов ищет спасения в различных притонах. Ставрогин бросается то в революцию, то в славянофильские идеи о народе-богоносце, то в анархический индивидуализм Кирилло-ва. Все эти его идеологические метания так же бесцельны и бесплодны, как те испытания воли, которым он себя подвергает, женясь на хромой Лебядкиной, об'являя потом о своем браке, снося пощечину Шатова, пускаясь в разврат. Все это для него простой эксперимент. Все это только средство как-нибудь занять себя, избавиться от скуки.

Что общего все эти настроения имеют с теми хотя маленькими, но очень определенными идеалами мещан Достоевского, с их желанием хоть минимального благополучия и своего маленького места в жизни?

Так представлял себе Достоевский судьбу своего класса. Его мещане всегда приживальщики— материально и идейно. Достоевский глубоко осознавал, что иное положение невозможно для его класса, как бы ни менялись социальные ситуации. Никакая революция не выдвинет его на положение господствующего класса. Следовательно, революция вообще не нужна и бесполезна. Ее кровавые жертвы ничем не оправданы. Чтоб доказать это, он ставит художественный эксперимент: что было бы с мещанами, если бы они стали революционерами, какую революцию они сделали бы? Он пишет «Бесы».

В письме к Страхову, в период создания романа «Бесы», он и указывает на особый характер своей работы — на его экспериментальность, он подчеркивает, что роман ему нужен для воплощения определенной тенденции, которая ему важнее самой художественности романа.

В «Бесах» даны не только «революционеры» 60-х годов, но и те, кто подготовил их приход — либералы 40-х годов. Относясь заранее отрицательно к первым, он должен был выставить в карикатурном виде последних. Это было тем более легко, что люди 40-х годов в то время уже были анахронизмом. Беспочвенность их либерализма под натиском критики «реалистов» уже для всех обнажились. Эта задача еще более облегчалась тем, что метод Достоевского чужд историзма, он брал явления не в их историческом аспекте, а как вневременные категории. Отсюда те положительные стороны, которые этот либерализм в свое время имел, легко скрадывались. Поэтому у него Степан Трофимович Верховенский—праздный болтун, воображающий, что имеет большой политический вес, а на деле не имеющий никакого реального значения.

Некоторые критики посвящали целые рассуждения доказательству того, что в образах

Степана Трофимовича Верховенского и Кармазова Достоевский окарикатурил Грановского и Тургенева. Но вопрос о прототипах имеет значение лишь для тех, кто видит движущий нерв литературы в самой литературной жизни. По существу дело сложнее.

Здесь важно то, что портрет либерала дан идеологом мещанства, смыкающегося с упадочным дворянством, а для этой группы дело либералов 40-х годов и их продолжателей не нужно, подчас кажется даже вредным и вызывает только отрицательное отношение.

Чернышевский тоже третировал Тургенева, либералов. Но, стоя на исторической точке зрения, он сознавал их положительное значение для 40-х годов. Отрицая претензии либералов на исключительную роль, он сознавал то ограниченное, но положительное значение, которое они имели.

Для Достоевского все их дела и речи лишь «милый, умный, либеральный старый русский вздор».

И так же отрицательно относится к ним у Достоевского то новое поколение революционно настроенной молодежи 60-х годов, которое наряду с ними изображается в романе. Что исторические отношения между этими двумя поколениями интеллигенции, которые являлись идеологами двух различных классов, не были таковы, — мы уже указывали на примере Чернышевского. Но дело-то в том, что Достоевский и не давал в своей революционной молодежи представителей радикально-демократической интеллигенции.

Революция у Достоевского представлена не «величайшим представителем утопического социализма в России» (Ленин) — Чернышевским, выразителем революционных устремлений русского крестьянства. Революцию делает Петр Верховенский — паяц и шут, «вроде Хлестакова», как называет его Достоевский в не опубликованных черновиках к «Бесам» (Центрархив, тетрадь № 10, стр. 29), на побегушках у «барченка» Ставрогина, который является для него каким-то венцом человеческим, идеалом человека. Петр Верховенский более развитой вариант мелкого интригана Голядкина-младшего; в минуту большой откровенности он сам сознается: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха» т. VII, стр. 343).

Дважды для большей убедительности повторяет он эту фразу в разных контекстах. И только Мережковский может разрешить себе назвать Петра Верховенского «гениальнейшим з русских революционеров» (Мережковский— «Пророк русской революции». (Собр. соч. т. XIV. М. 1914.)

Совершенно ясно, что психологически образ Верховенского ничего общего не имеет с образами великих революционеров-просветителей, что они никак не могли быть прототипом того, кто, стремясь к революции, в то же время только «пока еще не из высшей полиции».

Это можно было утверждать, лишь поставив знак равенства между революционной разночинной интеллигенцией и упадочным мещанством, между соратниками Чернышевского и хлопочущими о теплом местечке в жизни Голядкиным и Верховенским.

Революционер Верховенский, имеющий связи с Internationale, стоящий во главе революционного движения, — чистейшая выдумка, результат художественного экспериментирования Достоевского.

Но откуда взялась эта выдумка? Она — результат той абберации, вследствие которой Достоевский, видя в жизни лишь Голядкиных и Верховенских, счел возможным их опыт распространить на всех мелкобуржуазных революционеров и увидеть в их свойствах извечные свойства всякого революционера.

Таков источник этой реакционнейшей клеветы на русских революционеров.

Образ Верховенского может быть воспринят как гениальное провидение Голядкиных из Второго интернационала. Но какой инсинуацией являются разговоры об их связи с Интернационалом, во главе которого стоял Маркс или даже Бакунин, ибо при всех своих теоретических грехах и политической путанице Бакунин и после своей «Исповеди» ни в какой мере не может быть поставлен рядом с Верховенским.

Этим об'ясняется то, что образ Верховенского по существу неправдоподобен. Он выдержан только в одном направлении; в показе Верховенского, как «лизуна», «хохотуна», Голядкина-младшего. Здесь он действительно никогда не изменяет себе. Но его революционность и все, что связано с революционной работой, плохо вяжется с этими чертами образа.

Отсюда те противоречия, которые мы находим в этом образе.

С одной стороны, он энтузиаст революции, с другой — сознается: я мошенник, а не социалист. С одной стороны, старается обойти губернатора для своих революционных планов, с другой — сам чуть ли не «из высшей полиции». С одной стороны, проповедует те же идеи, что и Шигалев: «я за шигалевщину», с другой: «я себе не противоречу. Я только филантропам и

шигалевщине противоречу, а не себе» (т. VII, стр. 344).

Оправдывали фигуры революционеров из «Бесов» тем, что в эпоху Достоевского еще не было научного социализма. Но то, что Достоевский выдает за революционную теорию, — «шигалевщина» так же мало имеет общего с утопическим социализмом, как далек от него их революционный руководитель и вождь Петр Верховенский в своей практике и в теории.

Что такое его практика? Это всяческое мошенничество для достижения своих целей. Это— донос и клевета, шпионство. «У него хорошо в тетради, — говорит он о Шигалеве, — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом... В крайних случаях клевета и убийство, а главное равенство» (т. VII, стр. 341). Не борьба с классовым врагом, а борьба друг с другом, друг против друга — движущий мотив. Потому, что не большие социальные идеалы вдохновляют и сплачивают тех, кого вербует Верховенский: они идут в революцию, каждый, чтоб защитить свои личные материальные интересы, свою амбицию.

Верховенский, стремясь побудить членов кружка к революционному действию, к активной борьбе, со своим обычным цинизмом так и формулирует: зачем, мол, вам терять те «жареные куски, которые вам сами в рот летят и которые вы мимо рта пропускаете».

А один из активных участников при обсуждении вопроса о мерах революционной борьбы дает ту же мотивировку: «А во-втором, в быстром-то разрешении (революционном. — С. Н.)... мне-то собственно, какая будет награда? Начнешь пропагандировать, так еще, пожалуй, язык отрежут» (т. VII, стр. 332).

Вопрос о награде лично для Верховенского разрешается очень просто. Если «фанатик человеколюбия» Шигалев приходит в отчаяние от своих выводов, то «политический честолюбец» Верховенский играет на том, что для обеспечения «равенства» у рабов должны быть правители, и заранее готовится к этой роли. Он знает, что в результате той революционной раскачки, которую он стремится вызвать, «заплачет земля по старым богам», и этих богов заранее уже приготовляет про запас в лице Ставрогина, «красавца, гордого, как бога», с которым он разделит власть. А под ними «шигалевщина». При такой установке неудивительно, что «в революционной пятерке» оказывается мошенник Липутин «фурьерист, при большой склонности к полицейским делам», и искренно верующий в революцию Виргинский, ничтожество Лямшин и фанатик Шигалев.

Теория Верховенского — это шигалевщина. Это чисто отрицательный идеал. Всеобщее разрушение, уничтожение существующго порядка. «Мы провозгласим разрушение... эта идейка так обаятельна. Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Ну-с и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал»... (т. VII, стр. 344).

Но во имя чего это разрушение? Этого «во имя» нет у мещан Достоевского. Они в сущности очень плохо разбираются в том, что такое тот социальный порядок, который их принижает и который они хотят уничтожить. Их критика современного им социального строя так же беспомощна, как их попытка протеста против этого строя. Они не видят социальной механики, они видят лишь свое ущемленное этой механикой существование. Узко эгоистический, индивидуалистический подход ко всем явлениям социальной жизни, эгоцентризм мещанина— вот предел их мышления и их устремлений. У них нет больших социальных идеалов. Им тяжело в жизни — нужно уничтожить тот порядок, при котором они страдают. Во имя чего? «Чтобы мне чай пить» — услужливо подсказывает им подпольный человек.

Вопрос Макара Девушкина о том, почему одному все дано, у другого все отнято, приводит к тому, что надо уничтожить все то, что дает одним их преимущества: знания, таланты. «Первым делом понижается уровень наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами» (т. VII, стр. 341).

Личное счастье, семья недоступны мелкому чиновнику. Не надо личного счастья и семьи. «Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, доносы, мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство» (т. VII, стр. 342).

Таким образом, равенство, к которому стремятся эти мещане-революционеры, есть равенство отрицательное: равенство в ничтожестве, в жалком уделе. Идеал:

«Все рабы и в рабстве равны».

Получается исключительный парадокс: начав со стремления разрушить старый мир, чтобы утвердить свое благополучие, право личности на счастье и социальное равенство, они пришли к тому, что признали неизбежность всеоб-

щего горя, равенства в несчастьи и в ничтожности. Тогда как для подлинного революционера социальное равенство — путь к развитию совершенной личности, путь к материальному благополучию, путь к преодолению противоречия личности и общества.

Шигалев, в толстой тетради которого заключаются все основные выводы революционных мещан Достоевского, излагая свою систему, прежде всего сознается: «Я запутался в собственных данных: и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» (т. VII, стр. 329).

Так стремление мещанства сбросить с себя иго принижающего их социального порядка превращается в стремление к такому порядку, при котором рабство и повиновение властвующим деспотам станет беспредельным и превратит их в одно безличное и покорное человеческое стадо. Заключение это приводит Шигалева в отчаяние, и это отчаяние всего мещанства, попавшего в заколдованный социальный круг шигалевщины. Но в то же время Шигалев прав, что другого решения «общественной формулы», кроме его решения, не может быть для упадочного мещанства. Его фантастическое утверждение правильности своих мыслей — логически-неизбежное завершение мыслей мещанства, его отчаяния в возможности революционного выхода.

VI

Остро чувствовал Достоевский боль своего класса. И страстно и напряженно искал для него выхода. Чем утолить эту боль? Как переделать жизнь? И в своих метаниях не раз возвращался к мысли о революции, к показу ее возможностей — и отвергал ее.

Эта страстная постановка вопроса о революции часто заставляла исследователей говорить о революционности Достоевского, или о двух полюсах его творчества — реакционности и революционности, но это было только подменой понятий. Постановка вопроса революции не дает права называть писателя революционным. Страстная боль социальная не делает писателя социалистом.

Достоевский отвергал революцию, и со своей точки зрения он был прав. Революция в той форме, в которой она ему рисовалась, — бессмысленное разрушение, и революционеры его — поистине — «бесы».

Отвергнув для обездоленного мещанства путь революции, Достоевский показал нам его в контакте с упадочным дворянством, которое о революции не думает, для которого революция не нужна. Для него уж нет действенных путей. Его мятежные бунтарские порывы бесцельны и бессмысленны, они ничем не могут изменить его положения. Так бесцельным является бунтарство Раскольникова, выразившееся в убийстве старухи, бунтарство Кириллова, выразившееся в самоубийстве, все «подвиги» Ставрогина. Тем более все рассуждения Ивана Карамазова — его гордое неприятие мира.

Этой погибающей группе остается только религия страдания, вера в того, кто является апофезом страдания — идеалом страдальца — в Христа, пафос смирения и послушания.

Все те идеалы, которые политически приводят к формуле: православие, самодержавие, народность.

Так мещанство, смыкаясь на определенном этапе с дворянством, становилось на путь реакции. Здесь разгадка реакционности Достоевского — писателя этой группы мещанства.

Наряду с отсутствием действенных путей у класса социально немощного живет всегда вера в изменение социального строя не путем активным, не путем борьбы, а путем примирения социальных противоречий, путем любви к врагу. Эти настроения в той или иной мере всегда приводят к социальному утопизму типа раннего христианского коммунизма.

Не даром Достоевский тянулся к кружку петрашевцев: его влекли туда утопические, социалистически-христианские настроения. В пору зрелости его положительные социальные идеалы вылились в форму утопии о земном рае, о царстве счастливых и мудрых людей, о которых он рассказал в «Сне смешного человека» (Дневник писателя).

Что основа Достоевского—в его поисках христианской революции, путей к осуществлению морального христианствующего социализма, отметил уже Д. Мережковский. Именно в этом смысле он его назвал «пророком русской революции». Для Мережковского Достоевский был пророком русской православной христианской революции, а не революции 1905 года; как наивно истолковывает Мережковского В. Ф. Переверзев.

Истинные «революционеры», по Достоевскому,—старец Зосима и церковники, его окружающие. Единственная революция, которая сможет преобразить мир—революция религиозная. Ее идеологи, старец Зосима и другие,

мирно и безболезненно через революцию в сознании приведут человечество к благополучию, к «земному раю».

Осуществленную картину «земного рая» Достоевский дает в своей утопии «Сон смешного человека» (Дневник писателя, 1877 г.).

Эта картина счастливого человечества не впервые появляется в творчестве Достоевского. Она буквально в тех же выражениях дважды повторяется в «Бесах» — сон Ставрогина, в «Подростке» — сон Версилова. И эта повторяемость и буквальность этих повторений говорят о том, как дорога была Достоевскому мысль-утопия о счастливом человечестве и как важна она в общем контексте его произведений.

Утопия Достоевского рисует греческий архипелаг, где живет счастливое человечество. Ласковое, изумрудное море, повсюду разлита радость и счастье. Основа жизни — «любовь всечеловеческая», всеобщая влюбленность, единение друг с другом, единение с природой, с космосом. В утопии Достоевского устранены все элементы социальной вражды. Любовь правит миром. Она дает совершенное знание, и поэтому не нужна этим людям наука. Они понимают язык животных, они умеют говорить со звездами. Любовь для них источник чистой радости. Они не знают ревности и связанных с ней жестокости и вражды. Счастливые в жизни, они не знают тоски смерти, ибо самую смерть принимают как возвращение к высшему единству.

Утопия Достоевского лишена всяких конкретных черт, мы не знаем, чем занимается это счастливое человечество, на чем строится его благосостояние, каков его культурный уровень, его быт. Это какая-то отвлеченная идея, будущее счастливого человечества, которая дана через отрицание и уничтожение социального зла, господствующего в современной действительности. И потому так непрочен этот земной рай даже в представлении его автора. Он в том же рассказе говорит, как быстро «развратилось» человечество, и дает картину человечества, раздираемого социальными противоречиями.

Первая пролитая кровь ведет к раз'единению. Раз'единение, индивидуалистические устремления, ведущие к социальной вражде, есть, по мнению Достоевского, главный источник человеческих несчастий. Оно создало науку, которая служит целям вражды. Для преодоления зла появились идеи гуманности и братства, появились религии, появился социализм. И снова за четыре года до смерти дает Достоевский характернейшую для него формулу социализма, как начала разрушительного и аморального, разоблачая этой формулой свою сущность христианствующего мещанина: «...стали появляться люди, которые стали придумывать, как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе, как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи»... «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее».

Отвергнув для своей социальной группы путь революции и не зная вообще действенного выхода, Достоевский в своей утопии апеллирует, главным образом, к моменту моральному, всечеловеческой любви, в которой видит панацею от всех бед. И счастливое человечество рисуется ему в духе первых христианских общин, построенных на началах христианского коммунизма.

Так гениальнейший выразитель антиреволюционной мысли в итоге пришел к плоскому трафаретному перепеву христианствующих реформаторов. Великое отрицание привело к ничтожным и жалким утверждениям.

Социализм для Достоевского возможен лишь как христианское перерождение человека, всякая иная революция для него по самой своей природе безыдейна, аморальна. Революционеры—люди, которые только пока «еще не из высшей полиции», но они могут в любую минуту стать причастными к ней, ибо они морально ничем от нее не отличаются.

Как далеки друг от друга революция Достоевского и революция Чернышевского, а тем более наша революция. Поэтому, если не юбилейным вздором, то меньшевистской ограниченностью является утверждение Переверзева: «То, что сказал Достоевский о революции, является для нас до сих пор самым глубоким постижением ее сущности, поскольку она плод мелкобуржуазного бунтарства» («Творчество Достоевского», стр. 12).

Утверждение Переверзева является, с одной стороны, результатом его меньшевистского понимания нашего революционного прошлого, а тем более нашей революции, с другой стороны, результатом неправильной трактовки револю-

ционной стихии у самого Достоевского, что в свою очередь является следствием его неправильного толкования творчества Достоевского.

Уже в дискуссии против Переверзева указывалось на меньшевистский характер таких его заявлений: «Переживаемая нами революция в значительной мере движется силами революционной мелкой буржуазии», или, что наша «революция густо разбавлена мелкобуржуазной революционной стихией», или, наконец, что «пролетарская волна сильно растворилась в мелкобуржуазной стихии». Говорить в 1928 году (статья «Достоевский и революция» была перепечатана в 1928 году, как предисловие в книге «Творчество Достоевского»), когда мы вступили в реконструктивный период, когда мы приступили к осуществлению пятилетки, о том, что «пролетарская волна сильно растворилась в мелкобуржуазной стихии», или что наша «революция в значительной мере движется силами мелкой буржуазии», можно было, или сознательно защищая меньшевистскую позицию, или ровно ничего не понимая в нашей социальной действительности. Но и в 1921 году, когда эта статья впервые была опубликована, эти рассуждения тоже были плодом «мелкобуржуазной стихии» ее автора. Вся история Октябрьской революции является историей торжества революционной организованности, пролетарской целеустремленности, выдержанности над стихией, над бунтарством, над левыми загибами и правым страхом перед мелкобуржуазной стихией.

И когда Переверзев пишет: «В мощных взлетах революционной волны и ее падениях, в неровно колеблющемся ритме нашей революции мы увидели бы отражение социальной и психологической раздвоенности мелкобуржуазной стихии», то как мало в этом толковании понимания действительных сил революции! Ее «колеблющийся ритм» определяется не ее мелкобуржуазным характером, а различными условиями борьбы пролетариата с другими классами в СССР и в капиталистических странах на различных этапах революции.

Не менее ошибочным является заявление Переверзева, что Достоевский «глубоко постиг психологию мелкобуржуазной революционности». В данном случае Переверзева подвел его наивно реалистический эмпирический подход к писателю.

Достоевский, рисуя своих «Бесов», думал, что дает всю мелкобуржуазную интеллигенцию в ее типических проявлениях, в то время как она, по существу, оказалась вне его поля зрения. Рисуя Голядкина, ставшего революционером Верховенским, он представлял себе, что дает Чернышевского; свойства первого он механически перенес на второго, и механист Переверзев на сей раз и не заметил переодевания и принял Верховенского за мелкобуржуазного революционера школы Чернышевского. Точно так же стремление к своеволию, к бунту Раскольникова, Ставрогина или Ивана Карамазова имеет очень мало общего с подлинной революционностью, и ставить знак равенства между этими бунтарями и революционерами их современниками никак нельзя. И «суровый завоеватель власти» по Переверзеву — Петр Верховенский — лишь политический интриган и приживальщик, но не революционер, расплачивающийся за свое восстание против самодержавия годами Шлиссельбургской крепости или сибирской каторги. Мы говорили о генезисе образа Верховенского. Ясное дело, что с психологией двойничества, с психологией приживальщика, с психологией аморального своеволия нечего делать, когда мы подходим к подлинным революционерам, как Петрашевский, Чернышевский, Бакунин, а ведь они именно являются типическим выражением мелкобуржуазного революционера эпохи Достоевского.

В. Ф. Переверзев пишет, что в отношении мелкобуржуазных революционеров «все сбылось по Достоевскому, даже их разочарование предвидел он, рисуя революционных бунтарей, «собственного своего бунта не выносящих» (стр. 11). Здесь Переверзев совершенно покидает исторические позиции. Своего собственного бунта испугались не Чернышевский и Бакунин, а их исторические выродки—Черновы и левые эсеры, у которых по существу-то никакого революционного бунта уже и не было. Для Переверзева понятие «мелкобуржуазный революционер»—не историческая, а абсолютная категория. Он не учитывает, что одно дело мелкобуржуазные революционеры эпохи Великой французской революции на Западе или эпохи Чернышевского у нас, а другое дело мелкобуржуазные революционеры эпохи диктатуры пролетариата. На первых — революционеры Достоевского являются реакционнейшим пасквилем, в отношении вторых его «Бесы» являются изумительным предвидением, ибо эти Черновы суть потомки и продолжатели не Чернышевских, а Верховенских и Шигалевых.

VIII

«Революция» Достоевского никаких положительных лозунгов не имеет. Разрушение — ее основа. Это скорее бунт, чем революция.

Революционеры Достоевского — это приживальщики. Достоевский дал момент, когда они были приживальщиками дворянства. В наше время они были бы приживальщиками в революции. Мещанство в эпоху Достоевского должно было или итти за «всероссийским демократом революционером Чернышевским» (Ленин) и подготовлять революцию, или, капитулируя перед реакцией, стать подобно мещанам Достоевского приживальщиком дворянства.

Та же дилемма стоит перед мещанством сейчас: или преодолев свое социальное вчера, свои мелкособственнические инстинкты, выйти на дорогу коллективистического строительства и слиться таким образом с пролетариатом, или, цепляясь за свое прошлое, отстаивая свои классовые навыки и стремления, культивировать в своей среде глубоко-враждебные революции тенденции. Прикрываясь тогда защитным цветом внешнего отстаивания генеральной линии партии, оно становится по существу лишь приживальщиком революции.

Приживальщики Достоевского превращали Грановского и Чернышевского в «бесов», советский упадочный мещанин, становясь приживальщиком революции, стремится наше социалистическое «сегодня» сделать возможно более похожим на их мещанское «вчера».

Приживальщик всегда готов забавлять и услужить хозяину. Но внутренно с ним не связан. Всегда легко уйдет к тому, кто богаче и щедрей. Его порядкам следует, но их смысл ему чужд. Под него подкрашивается, но всегда может вскрыть эту личину.

Приживальщик в наши дни марксиствует, рвется в пролетлитературу, на собраниях левее левых, но по секрету первый передает всякую контрреволюционную чушь.

Достоевский прекрасно вскрыл природу тех слоев мелкой буржуазии и интеллигенции, которые в наши дни стремятся примазаться к революции, но не сумели переродиться. Его образы говорят нам о том, что для группы промежуточной, если она не переходит всецело на позиции класса передового, — для нее один удел — стать приживальщиком, своим приживанием добывающим хлеб, но из кармана всегда показывающим кулак.

В наше время острой классовой борьбы, борьбы именно с мелкой буржуазией, творчество Достоевского важно для познания этого врага, а следовательно, для более успешной борьбы с ним. Этим определяется актуальность творчества Достоевского. Если так брать Достоевского, то совершенно ясна будет особая значительность его творчества для нашей современности. С другой стороны, это даст возможность борьбы с «достоевщиной», со всякими надрывами и надломами, столь культивировавшимися в течение десятилетий писателями-декадентами различных оттенков. Все они, считавшие себя его учениками, брали у него его упадочнические тенденции. Это, конечно, неудивительно: писатели деградирующих классов брали у него то, что им было созвучно.

Об'ективные условия царской России содействовали тому, что мещанство эпохи Достоевского в своем выборе между Россией «самодержавия и православия» и Россией Чернышевского отдали преимущество первой. Социальное бытие мещанства поэтому определило приход Достоевского.

Наши об'ективные условия в пользу преодоления мелкой буржуазией ее мещанско-упадочнических тенденций, за ее включение в социалистическое строительство. Поэтому наша литература знает лишь эпигонские вариации на темы Достоевского.

Достоевщина — явление быта тех непролетарских групп, перевоспитание которых является одной из основных задач революции.

И тем более необходима правильная постановка изучения и правильное понимание творчества Достоевского, которое дает возможность преодолеть «достоевщину».

Творчество Достоевского, сложное по своему социальному генезису, является обоюдоострым оружием; вскрывая природу упадочного мещанства, оно помогает положить «конец мелкому человеку». Но в то же время, стирая грани между Голядкиным и революционером, между обывателем и гражданином, строящим будущее социалистическое общество, он питает «достоевщину» и становится источником реакционнейших настроений.

Переверзев в юбилейной статье 1921 г. рекомендует перечитать страницы, посвященные психоанализу «революционной России».

В наше время страницы Достоевского, посвященные революции, нужны не для познания по ним революционной России, а для познания тех приживальщиков, примазавшихся к революции, которые, внося повсюду свое разложение, стремятся построению революционной России противопоставить Россию «Бесов».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Леонид Лавров.— «Уплотнение жизни». «Федерация». М. 1931. Тир. 3000. Стр. 95. Цена 1 р.

Книжка Леонида Лаврова впервые демонстрирует перед читателем творческое лицо замечательно-талантливого, но столь же порочного по своему творческому методу поэта.

Центральная вещь сборника Лаврова — поэма «НОБУЖ» (наука об уплотнении жизни, как это раз'ясняет автор в заключительных строках поэмы) — задумана и построена чрезвычайно интересно. В поэме контрастируют два диаметрально противоположных образа: деляга-доктор, идеалом которого являются точно выкроенный, по математическим формулам, мир и сам автор лирической поэмы-монолога. Уравновешенность, геометрическая точность, линейность, организованность мира, по мнению доктора, и составляют то, что он именует «коммунизмом».

«Это проверенный минимум,
Навсегда заведенная мера:
Кило, и ни грамма больше,
Метр, и длинней ни капли, —
Рецепт — и никаких историй».

Доктор Лавров — это символ бизнесменства, делячества, казенщины. Критику этих действительно чуждых коммунизму начал Лавров развертывает в подлинно художественной, необычайно высокой по своему эмоциональному тонусу форме. Но критика эта ведется Лавровым с принципиально неверных позиций. Мертвому деляческому рационализму доктора противопоставлено эмоциональное, гуманистическое восприятие мира во всех тонких сложностях его запахов, звуков, цветов, вибраций и пульсаций, ветра и дыхания. Лавров демонстрирует свое тонкое умение наблюдать «резиновый шелест мака, огуречный мохнатый шорох, словно кожаный — хруст капусты». Мир действительности предстает перед поэтом сложнейшей чувственной гаммой. Рационализму противопоставлена развернутая программа сенсуализма:

«Я сажусь у себя на постели
Думать об том и об этом,
Слушать биение пульса
У этой огромной ночи...
... Мгновенье и мир наполнен
Простором летящих красок...»

И, в противовес узколобому бизнесменству докторского» понимания коммунизма, Лавров разворачивает свою собственную программу мирочувствования. «Коммунизм», в понимании Лаврова, лишен тех его качеств, которые проповедует доктор: плановости, слаженности, математичности. «Коммунизм» строится у Лаврова по закону прямой антитезы бизнесменства. Здесь мы приводим довольно длинную цитату, необычайно полно и выразительно характеризующую лавровский «коммунизм:

«Это не только мясо
У каждого в каждом супе, —
Это уменье трогать,
Слышать, любить и видеть
Сердце у каждой вещи,
Это — черта за нормой:
Кило — и чуть-чуть добавок,
Метр—и немного лишку,
Доктор—и капля чувства
Для пузырька больного.
Коммунизм—это там, где слышат
Самый неслышный шорох,
Там, где умеют видеть
Невидимый оттиск света».

В чем же порочность этого лавровского антитетического противопоставления деляческого рационализма доктора своему собственному чувственному сенсуализму? Без сомнения, — в том, что само противопоставление дано, как абсолютное. Правильное разрешение проблемы — синтез рационализма и сенсуализма, где оба они существуют в «снятом», «растворенном» виде. Не отрицая чувственно-созерцательного начала всякого (в том числе и художественного, образного) познания действительности, мы подчиняем его нашим «плановым», «рационалистическим» (отнюдь не деляческим) устремлениям. Всякое животное сенсуалистично, т. е. способно к чувственному познанию мира. Но человек не просто животное, а животное общественное, умеющее поэтому сознательно регулировать и координировать посредством рассудка свои чувственные впечатления, получаемые из внешнего мира. Иначе — опасность погружения в стихийную эмпирию чувственного, откуда недалеко уже и до суб'ективного идеализма, рассматривающего мир, как самодвижение чувственных категорий своего собственного я. Художественный метод Лаврова — еще не идеализм, но опасность ската к нему — для поэта реально ощутима: от этого его необходимо предостеречь. В ряде стихов Лаврова декларировано чувство устойчивого жизненного оптимизма, жизнелюбчества:

«Жук по дорожке ползет в конец, —
С насекомого людям какая же польза!
— А, впрочем, ползешь,—весьма молодец!
Валяй, если нравится, — ползай».

Здесь поэт уже совсем прямо заявляет о своем внеутилитарном, биологическом оптимизме, никак рационально не использованном, взятом самим по себе, оторванно от целеустремленной человеческой практики.

В книжке Лаврова есть целый отдел, названный «Школа бодрости», где поэт неоднократно варьирует мотив большой любви к строительству нашей республики, к жизни, полной пафоса созидания. Но «странным» образом из всей этой системы выпадает классовая борьба, противоречий которой Лавров совсем не замечает.

Оптимизм и жизнерадостность Лаврова не подкреплены в его стихах конкретным классовым содержанием. Поэтому оптимизм Лаврова выглядит, как оптимизм внесоциальный, «биологический».

Характерно, что в стихотворениях «Хитрость» и «Тик-так» Лавров пытается преодолеть на время овладевающее им чувство тоски, грусти, путем нахождения «точек опоры» внутри своего собственного сознания. В результате Лавров умеет бодро разрешить выход из противоречий, утвердить радостное, жизнеутверждающее начало. Но опять-таки — никак социально не подкрепленное — оно повисает в воздухе.

Социальная природа творчества Лаврова,—природа, несомненно, мелкобуржуазная,—на это указывают пассивистские черты его художественного метода, его механистическое мышление, его неумение в какой-либо мере подойти к диалектическому разрешению проблемы.

Но суб'ективная устремленность у Лаврова к коммунизму в данном случае — не средство защитной окраски, а фактор большой идейной и художественной силы. Другой вопрос, что эта суб'ективная устремленность Лаврова вступает в резкое противоречие с об'ективной природой его творчества. Движение образной системы творчества Лаврова — это движение на базе указанных выше противоречий. Это движение может окончиться крахом художественной системы Лаврова, особенно перед лицом тех новых задач, которые выдвигает реконструктивный период революции. Однобокая механистичность метода Лаврова должна быть им сознательно преодолена путем более глубокого проникновения в существо диалектического взаимоотношения рационализма и сенсуализма. Незаурядный поэтический темперамент и талант Лаврова должны быть учтены.

Жестокая, но товарищеская критика ошибок Лаврова должна послужить делу его органической перестройки и его творческому росту.

Ан. Тарасенков

«Новинки пролетарской литературы». Альманах татарской литературы». Под редакцией татарской секции МАПП. Общая редакция А. Фадеева и Э. Багрицкого. М. 1930 г. Стр. 184. Цена 1 р. 75 к.

Литературное творчество восточных народов СССР все еще остается незнакомым широкому кругу советских читателей. Несмотря на не раз уже поднимаемые кампании и всякого рода декларации, плохо ладится дело с переводом на русский язык произведений писателей-националов.

Татарская литература одна из наиболее сильных и богато представленных тюркских литератур, разделяет общую судьбу. О ней знают и говорят больше по наслышке. Лишь за самое последнее время замечается как будто некоторое движение воды. Так, в госиздатовской серии «Творчество народов СССР» вышли недавно небольшая книжка рассказов Шамиля Усманова и роман М. Галяу — «Муть», в скором времени в том же издании появится в русском переводе роман Галиджана Ибрагимова «Глубокий корень». Само собой разумеется, что для подлинного знакомства с художественным творчеством Татреспублики этого далеко не достаточно.

Можно вполне приветствовать включение в серию «Новинки пролетарской литературы» особого сборника, посвященного пролетарским писателям Татарстана. Октябрьская революция оживила и освежила татарскую литературу, не только дав новые импульсы и темы, но и создав новые кадры писателей, вышедших из рабоче-крестьянской среды. Наряду с беллетристами, поэтами и драматургами, выступавшими на литературную арену в дореволюционную эпоху и теперь, в новых условиях, разворачивающими свое творчество, все большую и большую роль играют пролетарские писатели, вскормленные самой революцией и закаленные в классовых боях. Непрестанно растет молодняк, выдвигающий все новых и новых писателей. Этот быстрый и успешный рост пролетарской литературы, бодрое и активное настроение тех старых писателей, которые безоговорочно примкнули к революции, являются положительными симптомами дальнейшего развития татарской художественной литературы. Понятно, что в связи с обострением классовой борьбы происходит и будет происходить дальнейшая диференциация писательских рядов. Те элементы попутничества из среды современных беллетристов и драматургов, которые лишь приспосабливались или примазывались, естественно должны отмереть. Со всякими националистическими и шовинистическими тенденциями, нет-нет да дающими себя знать, со всяким проявлением султан-галиевщины на литературном фронте ведется беспощадная борьба. Перед татарской литературой наших дней открываются громадные возможности отображения хозяйственного строительства и широко разворачивающейся культурной революции реконструктивного периода. Пролетарской литературе в Татреспублике должна принадлежать ведущая роль.

В разбираемом альманахе, к сожалению, небольшом по размерам, представлены наиболее выдвинувшиеся современные пролетарские писатели Татарстана, прозаики и поэты. Самый подбор образцов их творчества сделан в общем довольно удачно. Конечно, не все, быть может, в должной степени выявлено. Но тут уже дело за самостоятельными и цельными публикациями произведений каждого заслуживающего внимания автора в отдельности.

Переходя теперь к содержанию альманаха, отметим прежде всего яркий и запечатлевающийся отрывок из поэмы в прозе Кавы Наджми «Самое последнее». Незамысловатый сюжет, поездка старика-татарина на свидание с раненым в бою сыном, умирающим в лазарете,— дан в интересном и образном оформлении. Кавы Наджми вообще заметно выделяется за последнее время своими остронасыщенными и оригинальными рассказами. Выступив на литературное поприще имажинистом, Наджми перешел к реализму, однако с сильным акцентом экспрессионизма.

Крестьянский революционный писатель Тулумбайский, давший ряд примечательных произведений из жизни новейшей татарской деревни, представлен любопытно построенным рассказом «Почему они не дикие утки». Здесь весьма небанально трактуется не стареющая тема об «отцах и детях», на этот раз в условиях современной татарской действительности. Рассказ «Митинг» Шамиля Усманова очень типичен для этого автора, певца по преимуществу боевых действий Красной армии. В его произведениях, насквозь публицистических, мемуарист определенно берет верх над беллетристом. Рассказ, опубликованный в альманахе, насыщен как бы не остывшими воспоминаниями о предоктябрьской борьбе партий.

Абдулла Ильясов, берущий сюжеты из жизни индустриальных рабочих, в своем рассказе «Получка» останавливается на все еще дающих себя знать уродливых искривлениях рабочего быта. Рассчитанный на пропагандистский эффект, рассказ отличается некоторой наивностью и достаточной художественной элементарностью. Впрочем, здесь приходится считаться и с тем обстоятельством, что сама тема о рабочем, пропившем получку, уже достаточно заезжена. Зарисовки татарского деревенского обихода, где старая косность неохотно уступает место новым началам, даны в рассказе Гуммер Гали «Горе Галимы-абстай», написанного в тонах бытового реализма.

Автор стихотворений в прозе М. Максуд представлен двумя характерными образцами своего творчества. Удачно звучит стихотворение в прозе «Сестре».

Наряду с прозаиками в альманахе фигурируют и поэты. Тут, прежде всего, характерны основные мотивы их творчества. Не романтику или сусальную экзотику с национал-шовинистическими уклонами (как это встречается часто у татарских буржуазных поэтов) мы находим в этих стихотворениях, — нет! Пролетарские поэты поют гимны трудовой жизни, вспоминают о днях битвы и побед, ярко отображают в своих произведениях строительство сегодняшнего дня. Бодро звучит «Заводская песнь» Мансура Крымова, воспевающего мартены. О первом полете пишет С. Батал. Урал вдохновил двух поэтов Нура Баянова и Хасана Туфана. Интересно звучит стихотворение Мусы Джалиля «Весна», удачно переведенное Багрицким. Конечно, татарская литература находится еще в стадии роста. Некоторая примитивность в выборе сюжета, развитии действия и чисто художественном оформлении определенно дают себя знать.

В настоящей краткой заметке мы не исчерпали всего содержания альманаха. Не можем не поставить недоуменного вопроса по поводу включения А. Кутуя в число пролетарских поэтов.

Альманаху татарской литературы надо пожелать распространения, серьезным препятствием к чему может послужить высокая цена.

И. Бороздин

Николай Успенский.—Собрание сочинений.— Редакция, вступительная статья и примечание Корнея Чуковского. Гиз. М. и Л. 1931 г. Стр. XLVII + 512. Тираж 5 000 экз. Цена 3 руб. (переплет 35 коп.).

Нельзя не приветствовать переиздание одного из замечательнейших народнических писателей раннего периода народничества — Н. В. Успенского. Пусть многое у него устарело, частью по «старомодности» изображения, частью просто по небрежности исполнения, но картины, типы, факты крепостной и полукрепостной старины нередко и до сих пор действуют, так сказать, «освежительно». Редко у старых писателей столь резко-наглядно дается весь кулачный гнет того времени как со стороны помещика-кровопийцы и его приказчика (рассказ «Обед у приказчика»), и со стороны крепостнической власти (знаменитый в свое время рассказ «Поросенок», также «Проезжий»), и в беспросветно отчаянном быту самих крестьян (рассказы: «Хорошее житье», «Старуха»). А рассказ «Так на роду написано», где мужик убивает сынишку за поджог стогов из детской шалости, кажется, не превзойден в этом смысле никем. Недаром Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» так высоко поставил первые опыты писателя. Надо прямо сказать, что Успенский вносит в свои изображения деревни новую, ярко-революционную по существу ноту, вместо «мягкого», «филантропического» протеста помещиков-писателей: Тургенева, Григоровича и пр.

Совершенно неправильно, однакоже, преувеличивать эту черту художественной образной революционности писателя до того, чтобы выставлять его самого, его характер, его психологию, как образец левого или по-тогдашнему «бурого» нигилиста. Такую ошибку делает редактор издания К. Чуковский, настаивая в частности на том, что прототипом нигилиста Базарова в «Отцах и детях» Тургенева послужил, мол, именно Н. Успенский. Если последнее может быть отчасти и верно, то гораздо вернее противоположный факт: факт крайней личной неустойчивости писателя в тогдашней острой классовой борьбе, вплоть даже до настоящей измены разночинско-революционному лагерю под конец жизни. Сам редактор «в хронологической канве» отмечает факт разрыва с «Современником», т. е. с тем же Чернышевским и Некрасовым, лидерами народнической революции. Но чего он при этом не подчеркивает, это даты разрыва, а именно 1861 г., т. е. как раз момент, когда разорвали

с «Современником» из-за Чернышевского и Добролюбова все писатели-либералы: Тургенев, Григорович, Гончаров, Л. Толстой и пр. Хорош «бурый» нигилист! Прибавим, что тут-то и начинается особая поддержка Тургеневым и Л. Толстым писателя в течение многих лет. Н. Успенский и землю получил от Тургенева и денежные пособия, и даже роман имел с его двоюродной сестрой. У Л. Толстого он был одно время учителем в Яснополянской школе. А в воспоминаниях Н. Успенского «Из прошлого», вышедших в последний год жизни писателя, — немало отравленных стрел по адресу революционной части писателей-народников, так что пользоваться сказанной книгой можно лишь с крайней осторожностью.

Отсюда видно, что, как характер, Н. Успенского следует скорей считать воплощением мелкобуржуазной классовой противоречивости, непоследовательности, бесхарактерности, чем типом левых «бурых», т. е. более последовательно-революционных народников. Тем не менее верной остается и другая сторона этого исторического противоречия: как литератор Н. Успенский и до сих пор дает очень ценные черты русской, в частности, крестьянской жизни в эпоху падения крепостного права и назревания настроений мелкобуржуазной, народнической революции (1860—70 годов). Здесь у него есть, как правильно указывает редактор, следуя, главным образом, Плеханову, — даже определенные преимущества. А именно, у него нет еще того возвеличения крепостной (по существу) деревенской общины, которое придавало экономически-реакционный оттенок писаниям даже его гениального двоюродного брата — Глеба Успенского, с его, например, «Властью земли». Картины Н. Успенского трезво-реальны, горько-правдивы, не затушевывают исторического бессилия крестьянства самого по себе, как класса, к совершению революции. Это и ценил в них особенно Чернышевский, глубокий экономист, пламенный, но трезвый в то же время революционер, не могший еще, однако, видеть роли пролетариата как будущего вождя крестьян в революции.

Нельзя не отметить в заключение досадной небрежности в издании. Читатель может подумать, судя по заголовку книги, что здесь перед ним, если не полное собрание сочинений писателя, то — отбор всех главных сочинений. Между тем на деле здесь только почти исключительно произведения первых лет его деятельности. Нет самых больших по размеру вещей, как упомянутые записки «Из прошлого»; нет большой повести «Издалека и вблизи»; нет замечательных «Записок сельского хозяина» и пр. Не сказано даже, будет ли продолжено издание. Между тем ясно, что продолжение в более или менее полном виде было бы крайне желательно.

Надо признать, что на редакцию, на сверку с первопечатными изданиями, сводку разных изданий и пр. положен большой и ценный сам по себе труд.

А. Дивильковский

СОДЕРЖАНИЕ

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография

Редакц. коллегия: Л. Горохов, Вс. Иванов, Л. Леонов, А. Фадеев

Издатель: Государственное Издательство Художественной Литературы

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский, 7, тел. 5-63-12

Цена 1 р. 10 к.

РАССКАЗЫ

М. Алексеева, Ник. Анова, Вл. Бахметьева, А. Бибика, С. Буданцева, В. Вересаева, Артема Веселого, Вс. Вишневского, М. Габриловича, Б. Горбатова, М. Громова, А. Демидова, А. Долгих, И. Евдокимова, Вс. Иванова, Бела Иллеш, М. Карпова, В. Катаева, В. Кина, М. Казакова, Дм. Лаврухина, И. Кофанова, Л. Леонова, Ю. Либединского, Н. Ляшко, С. Малашкина, И. Малышкина, И. Микитенко, Х. М. Мугуева, П. Низового, Г. Никифорова, А. Новикова-Прибоя, И. Новикова, Н. Огнева, Ю. Олеши, Острова, П. Павленко, Ан. Платонова, С. Под'ячева, Я. Рыкачева, Б. Савранского, Дм. Сверчкова, С. Семенова, А. Серафимовича, Л. Сейфуллиной, Л. Славина, М. Слонимского, А. Соболева, Н. Тарасова-Родионова, Ю. Тынянова, А. Фадеева, К. Федина, М. Шагинян, Шалва Сослани, Я. Шведова, М. Шолохова, Р. Эйдеман, Бруно Ясенского, А. Яковлева и др.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Н. Асеева, П. Антокольского, Э. Багрицкого, Д. Бедного, А. Безыменского, И. Бехера, Н. Брауна, М. Герасимова, А. Гидаш, А. Жарова, Веры Ильиной, В. Казина, В. Кириллова, С. Кирсанова, В. Луговского, С. Обрадовича, П. Орешина, Б. Пастернака, Н. Полетаева, А. Подчерткова, А. Решетова, И. Садофьева, Г. Санникова, В. Саянова, М. Светлова, И. Сельвинского, Н. Суркова, Н. Тихонова, И. Уткина, Н. Ушакова, С. Щипачева, М. Юрина и др.

СТАТЬИ

Л. Авербаха, И. Анисимова, И. Беспалова, В. Бонч-Бруевича, И. Бороздина, А. Бубнова, Вл. Васильевского, И. Виноградова, Б. Волина, Я. Ганецкого, М. Гельфанда, М. Григорьева, И. Гроссмана-Рощина, Гурштейна, А. Динильковского, С. Динамова, М. Добрынина, В. Ермилова, . . Ефремина, А. Енукидзе, К. Зелинского, Н. Иезуитова, С. Ингулова, С. Канатчикова, П. Керженцева, Феликса Кона, Г. Корабельникова, Н. Крупской, В. Киршона, П. Лебедева-Полянского, А. Лозовского, А. Луначарского, Д. Мануильского, Маркова, И. Маца, Н. Мещерякова, А. Михайлова, Л. Мышковской, С. Нельс, Новича, Р. Пикель, Н. Осинского, М. Н. Покровского, Н. Пиксанова, Ф. Раскольникова, В. Ральцевича, Ф. Ротштейна, М. Савельева, А. Селивановского, М. Серебрянского, Ю. Стеклова, В. Ставского, А. Стецкого, В. Сутырина, А. Тарасенкова, Л. Тимофеева, Е. Трощенко, Н. Феоктистова, А. Халатова, Ем. Ярославского и др.

НА 1931 ГОД ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНА

В 1931 г. журнал «Красная новь» будет давать наиболее современный материал и привлекать к участию художественно выявившихся пролетарских писателей.

Журнал рассчитан на партийный, комсомольский, профсоюзный и колхозный актив и советскую интеллигенцию.

Ввиду закрытия подписки на первое полугодие (за исчерпанием тиража) — подписка принимается только на 2-е полугодие.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: с номера 7 до конца года — 6 руб.

Ввиду того, что настоящий журнал печатается в строго ограниченном тираже, аккуратное получение журнала гарантируется исключительно подписчикам, своевременно внесшим полностью подписную плату.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ Периодсектором Книгоцентра ОГИЗа (Москва, центр, Ильинка, 3), в отделениях, магазинах, киосках и на почте.